

ВИКТОР
СОСНОРА



ВЛАСТИТЕЛИ
И
СУДЬБЫ



Литературные варианты
исторических событий



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Ленинградское отделение
1986

Художник Михаил Новиков

Соснора В.

С 66 Властители и судьбы: Повести. — Л.: Сов. писатель, 1986. — 296 с.

«Властители и судьбы» — первая книга прозы ленинградского поэта Виктора Сосноры. Жанр произведений, включенных в книгу, можно определить как вариации на исторические темы. Первые три повести написаны на материале истории России XVIII века. «Где, Медея, твой дом?» — вариация на темы древнегреческого мифа об аргонавтах.

С $\frac{4702010200-260}{083 (02)-86}$ 145 — 86

ББК 84 Р7

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

К какому жанру принадлежит то, что предлагает нам в этой книге Виктор Соснора? Вопрос не теоретический. Ибо от ответа зависит характер наших требований к книге. А от характера требований — наше восприятие.

Знаменитое пушкинское положение: «...Писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным», столь часто употребляемое всеу, здесь — на месте.

Если это историческая проза, то почему люди, носящие исторические имена, выглядят как-то непривычно, а события пугающе отличаются от усвоенных нами моделей?

Соснора предлагает нам нечто на первый взгляд весьма странное. Если это чистый вымысел, то почему мы видим исторические имена и узнаем исторические события?

Что это — мистификация? Вызывающее пренебрежение к научному знанию?..

Знаменитый швейцарский драматург Фридрих Дюрренматт одну из самых известных пьес — «Великий Ромул» — снабдил подзаголовком «исторически недостоверная». Все в пьесе поставлено с ног на голову — мальчик-император Ромул, последний римский принцепс, предстает зрелым умудренным человеком, владыка Восточной Римской империи, сидевший в Константинополе, оказывается в одном доме с Ромулом, вожди враждующих варварских племен — Одоакр и Теодорих — рекомендуются читателям и зрителю дядюшкой и племянником. Но при этом умный и образованный Дюрренматт тончайшим образом анализирует причины распада и крушения имперского организма. И добивается на этом пути куда большего успеха, чем многие академические историки, писавшие на ту же тему.

Одна из повестей В. Сосноры — «Где, Медее, твой дом?» — выводит нас и к еще одному выразительному примеру неортодоксального жанра — пьесам Жироду. По своевольности использования того же античного материала Жироду в пьесе «Троянской войны не будет» не уступает Дюрренматту. Гектор и Одиссей предстают перед нами мудрыми дипломатами-миротворцами, а реальной причиной войны становится убийство троянцами пьяного Аякса. И, однако же, эта более чем вольная обработка великой «Илиады» исполнена глубокого и весьма современного смысла. Почему определенные группы людей хотят войны? Почему политическая мудрость оказывается бессильной перед милитаристским безумием? Какова роль слепого случая в историческом процессе?

В обостренном, гротескном, метафоризированном мире Дюрренматта и Жироду «проклятые вопросы» истории выступают особенно крупно и внятно. В этом сила и необходимость жанра «псевдоисторических», «исторически недостоверных» произведений.

Этим приемом жадно пользовалось не одно столетие искусство классицизма, опираясь на мифологические и исторические ситуации для решения вечных проблем. Столь любезный В. Сосноре русский XVIII век является нам множество примеров того, начиная с трагедий Сумарокова и кончая «Димитрием Донским» Озерова, популярнейшим сочинением начала XIX века. «Димитрий Донской», в котором исторический материал интерпретировался с безоглядной свободой, был последним мощным всплеском русского классицизма.

Если, как видим, повесть о Медее естественно примыкает к определенной традиции и сомнений не вызывает, то с повестями о Державине, Екатерине II и Мировиче дело обстоит несколько сложнее. Хотя вышесказанное имеет и к ним непосредственное отношение.

Если бы можно было назвать повести «псевдоисторической прозой», то все затруднения снимались бы механически. Увы, этот легкий выход в данном случае неправомерен. Мы имеем дело с жанром, существующим на границе между «псевдоисторической» и исторической прозой. Жанром, существующим по своим законам.

В исследовательских работах все чаще появляется мысль о принципиальной многовариантности исторического процесса. Для понимания прозы В. Сосноры это чрезвычайно важно. Он и не стремится выстроить худо-

жественный эквивалент события. Ему хочется увидеть, что же там — за событием? Он, в некотором роде, ребенок, пытающийся заглянуть за зеркало. Но в этой кажущейся наивности оказывается немалый резон. Во тьме «зазеркалья» Соснора видит бесчисленные лики-варианты события, на его взгляд более осмысленные, чем парадное отражение. Тынянов советовал заглянуть за документ. Соснора воспринял этот совет (иногда слишком буквально).

Проза Сосноры историческая по своей исходной точке — он отталкивается от конкретного и серьезного знания. Каждый, кто знаком с мемуарной литературой, описывающей послепетровский XVIII век, видит, как многообразно использует Соснора этот мемуарный пласт.

Проза Сосноры «псевдоисторическая» по своему главному методу — превращению события в метафору, процесса — в систему метафор. Соснору интересует не столько процесс как таковой, сколько заостренный — иногда до парадоксальности — образ процесса.

Соснора разворачивает перед нами фантастический и фантазмагорический мир политических бурь, заквашенных на низменных страстях, случайных ситуаций, от которых зависят в конечном счете судьбы миллионов, забавных нелепостей, оборачивающихся грозными событиями, чудачеств, за которыми стоят страх и бессилие.

тут встают два вопроса — почему и зачем.

Почему?

В нашей критике и литературоведении давно и закономерно употребляется термин — проза поэта. Термин этот вовсе не означает, что тот или иной текст написал человеком, который, главным образом, пишет стихи или раньше их писал. Повести Пушкина — отнюдь не проза поэта. Это проза великого прозаика. То же и с Лермонтовым. А проза Цветаевой — проза поэта и только поэта. Проза поэта — текст, существующий по поэтическим законам. В данном случае мы имеем дело с текстом принципиально ассоциативным — в том смысле, что связи отдельных ситуаций лежат на уровнях связей поэтических: от внешности персонажа зависят сюжетные повороты; стремление опровергнуть недобросовестные свидетельства или ретроспективный вымысел, реализуясь с истинно цветаевской страстностью, рождает полемические миражи — вымыслу недобросовестному противопоставляется не реальность, но другой вымысел — добросовестный, реабилитирующий героя; само движение сюжета часто

построено не по логике развития исторического действия, а по ломоносовскому принципу «сопряжения далековатых понятий».

В таких случаях многое зависит от того, сознает автор особенность своей позиции или нет. Честен он перед собой и перед читателем или нет.

Соснора никого не обманывает. Он не выдает свои повести за фотографический портрет событий и лиц. Он всячески подчеркивает своим стилем их неадекватность сырому материалу. Именно подчеркнуто заостренным стилем, демонстративно поэтическим построением текста он дает понять читателю, как нужно воспринимать его повести. Ведь никому не придет в голову воспринимать метафору в стихах как зеркальное воспроизведение бытового факта.

Зачем?

Какую цель преследует Соснора, идя столь непривычным для познания и изображения истории путем? Ту же, что любой добросовестный историк и писатель, — понять не видимость, но суть событий прошлого. По своей конечной цели проза В. Сосноры вполне исторична.

Прибегнув к «поэтическому методу», автор получает возможность свободного моделирования ситуаций. А это в свою очередь позволяет ему рассмотреть событие или характер с самых разных сторон, вывернуть его наизнанку, проверить самыми рискованными предположениями.

Разумеется, Соснора знает, что переворот, вознесший Екатерину II на вершину власти, был тщательно подготовлен и только в последний момент по воле обстоятельств превратился в импровизацию. Однако он предлагает читателю иной вариант — нелепую импровизацию с анекдотическими чертами от начала до конца. Он делает это для того, чтобы показать с самого начала, с самых корней «незаконность» екатерининского царствования, анекдотичность ее претензий на звание «спасительницы отечества». Можно с ним не соглашаться. Но нельзя же признать, что основания для подобной позиции есть. «Спасительница отечества» катастрофически увеличила число рабов в своей империи, а положение этих рабов сделала многократно тяжелее. Именно при Екатерине у крепостных крестьян были отняты последние человеческие права. И никакой гром побед, купленных солдатской кровью, не возместит России страдания и унижения миллионов русских мужиков. «Развратная государыня

развратила свое государство», — сказал о Екатерине Пушкин. И на эту глубокую и многосмысленную формулу опирается Соснора.

«Поэтический метод» исследования истории имеет свои издержки. Опровергать Соснору по конкретным фактам, по интерпретации конкретных ситуаций вполне возможно. И он это знает и на это идет.

Но, на мой взгляд, гораздо продуктивнее постараться понять общий пафос его повестей.

Виктор Соснора на стороне убитых, замученных, обогнанных. За истерзанным страшной участью Иоанном Антоновичем видятся сотни и тысячи жертв самодержавного лицемерия в разные эпохи империи. И потому не так уж важно — абсолютно ли доказал автор ясность

Можно оспорить точку зрения Сосноры на личность и деятельность Петра III. Но для меня куда важнее суть авторского замысла — доказать гнусность приема, примененного к незадачливому императору: убить, а потом оклеветать. Мы знаем, что это был любимый прием российского самодержавия в разные его эпохи. Мы знаем официальные документы о декабристах, которых представляли развратными и буйными мальчишками, а восставших солдат — пьяной толпой. Мы знаем, что говорили в придворных кругах о Пушкине после его гибели. И вот этот страшный механизм исторической клеветы Соснора показал со страстью убежденности.

Можно оспорить оценку Соснорой елизаветинского царствования, на мой взгляд, насыщенного идеями и важными государственными начинаниями. Но я понимаю, — для Сосноры утверждение, что при Елизавете ничего не происходило, а «жить было нестрашно и скучно», — образ-антитеза к екатерининскому карнавалу. Как человек, занимающийся русской историей, я не разделяю многих утверждений автора повестей. Но что из того? Даже если в отдельных случаях моя позиция сильнее и аргументированнее, Соснора, как и любой человек — и в частности писатель, взыскующий истины, — имеет право на ошибку. Редко кому из наших с Соснорой коллег удается достичь безусловной истины (и реже всего тем, кто исповедует историческую «умеренность и аккуратность»). Но достоинство писателя требует честно двигаться в этом направлении.

Я. Гордин

ДЕРЖАВИН ДО ДЕРЖАВИНА

1



искусстве существуют только Первые.

Державин — первый в русской поэзии поднял флаг и вышел в океан.

Он был один на корабле, сам штурман, сам капитан, сам рулевой.

Каким же нужно было обладать гением, какими мускулами, энергией, интуицией, чтобы бесстрашно вести одинокий корабль через неизученный, белый от бурь океан!

Командор никогда не опускал свои мясистые руки, никогда не смотрел своими маленькими оплывшими глазами мимо солнца.

Державин писал:

«Орел открытыми очами смотрит на красоту солнца и восхищается им к высочайшему парению; ночные только птицы не могут сносить без досады его сияние».

Это не повесть-жизнеописание.

Это попытка введения в биографию Державина.

2

У него тоже была комета.

Как в евангелиях Вифлеемская звезда.

Комета получилась так. Пропали все звезды, и пропала луна. В воздухе замелькали красные искры. Потом небо вспыхнуло, засияло. Потом в сиянии возникли шесть белых столбов. Столбы стояли вокруг дома, где родился Державин, пока не погасли.

Младенец не испугался. Он обрадовался. Он протянул указательный перст в сторону кометы и провозгласил:

— БОГ!

«БОГ!» — вот первое слово, которое сказал Державин, еще не научившийся говорить слова «мама» и «дай».

Все это он сочинит уже через пятьдесят лет, чтобы приписать провидению свою судьбу: божественная комета предсказала ему трудный путь бытия — огни, и воды, и трубы, и когда-нибудь он сложит оду «Бог», которая станет знаменитой, которую даже император Китая напишет китайскими иероглифами на сводах своего аудиенц-зала.

На самом деле:

Комета 1744 года зарегистрирована.

Комета пришлась кстати.

Державин любил знаки и числа. И восточные легенды.

Нищий потомок татарского рода Багрима, он родился даже не в Казани, как сообщает в «Записках», а в одной из самых захудалых деревенок, принадлежавших его матери, под названием то ли Кормачи, то ли Сокуры, верстах в сорока от Казани.

Он родился 3 июля 1743 года.

Отца «при исполнении служебных обязанностей» ударило копытом конь, отец заболел чахоткой и ушел в отставку. В чине полковника. Впрочем, при неблагоприятных обстоятельствах присвоение чина полковника уже означало отставку. Этот чин не давал ничего — ни пенсии, ни поместий, — последний этический реверанс военного ведомства.

Впоследствии в поэме с эллинским оттенком Державин напишет, как, прогуливаясь поутру по своим владениям, он «зрит наследственны стада».

Отец-полковник имел пятерых братьев, и каждый получил в наследство по десять душ крестьян.

Мать поэта владела пятьюдесятью душами.

Он был первенец. Он был мал, слаб и сух, и местная медицина предписала запечь его в хлебе: к больным местам прикладывали горячие лепешки сырого теста, чтобы хилому телу передавались мощь и хмель злака.

Подобно всем недорослям малого дворянства, его никак не воспитывали. Только что в четыре года обучили читать и писать. Ребенок хотел играть, а читал и писал

только тогда, когда давали конфеты в золотых и лазоревых фантиках, длинные, на весь вечер. Ничего в те зимы не происходило: воробьи на снегу да буквы на бумаге. Да и снега было не так уж и много, снежинки полетают и улетят. Солнце еле искрилось в мутных и мерзлых стеклах. Томились тараканы, посвистывали мыши в подпольях. Для мышей специально рассыпали зерно, чтобы меньше грызли мешки. Весной все ручьи были белые и не журчали.

Мать занималась младшими детьми.

Отец лежал в толстом халате и читал толстые книги. Пахло лекарствами и капустой.

Аптекарю Зелику Фришеру потребовались тарантулы. Ловля тарантулов — занятие увлекательное, но укусы паука смертельны. Державин уходил в степь, он знал норы и ловил так: выстругивается палочка (ветку нельзя, гнется) и к кончику палочки привязывается нитка; к нитке привешивается шарик смолы — такая своеобразная удочка, тарантулы очень любят вкус смолы. Нужно сидеть у норы (только на восходе солнца), опустив в нее «удочку», и ждать «клева». Не нужно при первом же «клевке» выхватывать удочку, паук сорвется и убежит в свои подземелья. Нужно подождать, когда он вгрызется в смолу и увязнет, и потихоньку тянуть, чтобы не сорвался. Потом его вместе с шариком нужно сбросить в тонкую сетку, ну и так далее. За двадцать пять тарантулов Зелик Фришер платил много: хватало на сироп, на фигурные пряники и на две-три лубочные картинки.

Не помнил он своего детства... Была вьюга, и он шел в шапке, но уши все равно мерзли, он слышал, как рассказывали, что, если уши мерзнут, нужно их хорошенько растереть снегом, и уши разгорятся, он тер и тер снегом, но уши были бесчувственны, тогда он просто напихал снега в уши и так явился домой... Потом всю жизнь ходил в теплых шапках и при малейших заморозках уши болели... Была еще черепаха с проломанным панцирем, которую он нашел в степи, она поползала в доме и умерла...

Первый смотр недорослей состоялся в Оренбурге.

В полутемных коридорах канцелярий, где горели свечи в металлических подсвечниках, отлитых на заводах, где на циклопических стеклах окон висели вечные балдахины из бархата, где паркетные полы были в оспинках

от каблуков чиновничьих и офицерских и паркет блестел, как вспотевший, — там собирал всех недорослей губернатор Иван Иванович Неплюев. Это он, резидент в Константинополе, губернатор Киева, а потом командир Оренбургской экспедиции, строил Оренбург на новом месте и новым методом: бесплатными силами воров и убойц, в прошлом купцов и мастеровых. Императрица Екатерина впоследствии возвела этот метод в принцип.

Мальчики стояли в домашних кафтанчиках с металлических пуговицами, маленькие варвары, от каждого шороха на глазах у них появлялись слезы. Никто ни о чем не спрашивал — смотрели детей, считали. Для большей красоты родители смазывали волосы недорослей свиным топленным салом и приглаживали щетками из свиной щетины.

Через пять лет всех отправляли «на экзамен в науках» опять-таки в Оренбург, а еще через четыре года, шестнадцатилетних, — в герольдию в Петербург или в Москву.

Нужно было как можно быстрее ехать в Петербург и «определить» мальчика, то есть приписать его к какому-нибудь гвардейскому полку, чтобы через пять лет он начинал службу хотя бы младшим офицером. Но для поездки в Петербург у отца не было денег. Можно было бы приписать к московскому полку, но и для поездки в Москву не было денег. А в 1754 году отец умер.

Он задолжал соседям пятнадцать рублей. Пустяки, но рублей не было. Соседи отобрали по суду межевые земли. Вдохновленные таким поучительным примером, другие соседи построили на своих землях мельницы и плотины и затопили державинские луга, то есть фактически присвоили их.

Мать пошла по судам. С тремя детьми. Мать брала детей, чтобы разжалобить судей, — пустое дело. Простаивали в передних часах, не осмеливаясь присесть. Ели втихомолку, из рукавов. Заискивали перед швейцарами: последняя степень унижения — заискивать перед холуями.

Так все свои «угодья» они отдали в кортому — в аренду купцу Дрябову за сто рублей. Там хватило места только для постройки сукновальной мельницы.

Дети, происходившие от знаменитого мурзы Багрима, должны были служить в армии простыми солдатами. Древность рода здесь оказалась ни при чем. Багрим протиснулся с Золотой Ордой еще при Василии Темном. В Бар-

хатной книге их род был записан с самыми знатными родами Акинфиевых, Нарбековых, Кеглевых. Но это нужно было доказать. А доказать это мог только родственник, подполковник Дятлов. А подполковник жил в Можайске. А пока Дятлов искал бумаги и приехал в Москву, зима прошла, дешевый санный путь уже никак нельзя было использовать, на летнюю дорогу денег не было.

И так еще тридцать семь лет.

Это уже через тридцать семь лет Державин научился живописи жизни: красиво одеваться, быть гурманом. Быть независимым от царей и получать от рабов все то, что можно получить от рабов. Потом он давал роскошные обеды. Держал хор девушек. Покупал мальчиков-музыкантов. Посылал в подарок преосвященному теоретику стихосложения Е. Болховитинову собольи шубы и замшевые сапоги с бахромой и персидским узором.

Вот как он позднее описывает свою жизнь:

Блажен, кто менее зависит от людей,
Свободен от долгов и от хлопот приказных,
Не ищет при дворе ни злата, ни честей
И чужд сует разнообразных!

Бьет полдня час, рабы служить к столу бегут.
Идет за трапезу гостей хозяйка с хором.
Я озреваю стол — и вижу разных блюд
Цветник, поставленный узором.

Багряна ветчина, зелены ши с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны,
Что смоль, янтарь-пкра и с голубым пером
Там шука пестрая — прекрасны!

Когда же мы донских и крымских кубки вин
И липца, воронца и чернопенна пива
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, —
Беседа за сладьми шутлива...

Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я соседей с вереницей,
То рыбу удами, то дичь громим свинцом,
То зайцев ловим псов станицей.

Стекл заревом горит мой храмовидный дом,
На гору желтый всход меж роз оснявая,
Где встречу водомет шумит лучей дождем,
Звучит музыка духовая.

Из жерл чугунных гром по праздникам ревет,
Под звездной молнией, под светлыми древами
Толпа крестьян, их жен вино и пиво пьет,
Поет и пляшет под гудками.

Но эта идиллия — после тридцати семи лет страшной службы. И эти тридцать семь лет научили Державина не защищаться самому, а защищать справедливые законы, то есть научили лишь неумению служить.

Он так и остался бесхитростным. Добросовестным.

Если бы он притворился политиканом, если бы ему чуть побольше хитрости и чуть поменьше совести, если бы он чуть-чуть потренировал свой характер тяжелого атлета при «просвещенном» дворе комедиантов и акробатов-эквилибристов, если бы он при докладах «вертелся во все стороны как Петрушка или как рулетка», если бы он фантазировал, как фантазировал в поэзии, а не читал по педантичной бумажке о государственных преступлениях — все, как есть на самом деле, спирепо глядя в рассерженные глаза трех императоров, если бы он не любил государственную службу для государства, а любил ее для своего благосостояния, если бы он защищал свою персону и свои интересы, а не защищал бы с непосредственностью прекрасного принца справедливые законы, если бы он хоть на минуту усомнился в элементарной истине, что законы написаны совсем не для людей, а только для тех, кто попирает их права, что законы Екатерины — всего лишь абстрактный текст, что обыкновенный человек в мире — только полузабытый апокриф, капля в море, что толкование справедливости намеренно поручено людям посредственным, потому что только посредственность, как жрущее и пьющее животное, предано хозяевам, если бы Державин определил для себя формулу холуйства, то на его председательском и министерском мундире заблестали бы все персидские жемчуга, все бразильские бриллианты и все три императора опирались бы на его мнение как на драгоценный костыль.

Ничего подобного не произошло.

Он служил не только из любви к службе (а служить он любил). Была еще инерция страха. Его преследовали кошмары скитаний и нищеты. Бросить службу и оклад и жить подачками за поэтические произведения, когда уже сорок, пятьдесят, шестьдесят лет!

Пушкин учился у Державина и потому не любил его. Пушкин подражал Державину, он перенимал его схемы и темы, но Пушкин не любил Державина. Пушкин восхищался молниеносными картинками Державина, его поэтическим мышлением, «когда в нем не было замысловатости», Пушкин признавал гений Державина и обрывал

П. Вяземского, когда тот пускался в иронию и переиначивал на свой лад творчество Державина.

Все великие поэты девятнадцатого века не любили Державина.

И не могли его любить.

Его космическая муза!

Ей сопротивлялась элегия Пушкина, ее ненавидела мнительная муза Лермонтова, космос-драма ничего не объясняла разночинной, «замученной кнутами» музе Некрасова. Державин был близок только Тютчеву, но Державин расхлябан и растрелан, Тютчев — концентрат мысли и чувства.

Символ-трагизм Блока далек от случайного трагизма Державина.

Поэтому никто из этих пяти великих художников не понимал Державина.

Но и никто из этих пяти великих художников не сумел с такой силой, в несколько строк написать:

Страха связанным цепями
И рожденным под железом,
Можно ль орльими крылами
К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлетали,
Чувствуем ярмо свое.

Это чувство тысячу лет витало над русскими поэтами.
Как Державин сумел сформулировать это чувство?
Как он стал его автором?

3

Как ни была стеснена мать, она все же хотела обучить детей хоть чему-нибудь.

Всю оренбургскую начальную школу представлял один человек: немец Иосиф Роза, отсидевший свой срок каторжанин.

Ни об одной из наук он не имел ни малейшего представления. Обучал только немецкому языку. Но без грамматики.

Гарнизонный школьник Лебедев, а потом артиллерии штык-юнкер Полетаев учили Державина арифметике и геометрии. Правда, арифметику и геометрию они знали понаслышке. Бесхитростные учителя, они зарабатывали небольшие копейки и небольшое уважение города.

В 1758 году в Казани открылась гимназия, где обучали официально языкам: латинскому, французскому, немецкому и наукам: арифметике, геометрии, а также танцеванию, фехтованию, рисованию, музыке.

Державин пытался играть какие-то роли в школьных трагедиях по Сумарокову, но без успеха. Он сравнительно неплохо рисовал, даже скопировал карту Казанской губернии, разукрасил ее виньетками, фигурами, пейзажами, и начальство пообещало определить его в инженерный корпус кондуктором (остальные шли лейб-гвардии солдатами).

Директором гимназии был тогда Михаил Иванович Веревкин. Этот непоседливый, умный, талантливый человек опубликовал сто шестьдесят восемь томов своих и переводных сочинений. Его серьезной карьере помешал донос преподавателей Оттенталя и Дювиллара. Через тридцать четыре года он писал своему сановному ученику: «О, если бы мне пансион, соответствующий летам, чину и служению моему пятидесятилетнему трем государям! Не годы, не месяцы, а дни, может быть, остаются мне на этом свете. Даже стыжусь самого себя обрисовать вам словами нищету мою».

А тогда это был весельчак и шутник.

Новеллист, он и судьбу свою играл, как новеллу.

Правительственные планы существовали, но города строили стихийно. Архитектура домов не предусматривалась, но объявлялась длина улицы и ее прямолинейность.

Вот как осуществлялись архитектурные ансамбли.

Нарушениями всех канонов градостроительства публично прославился город Чебоксары. В Чебоксары направили Веревкина. Веревкин захватил с собой самого способного ученика-копировальщика Державина, потому что капитан Морозов, единственный представитель науки геодезии в Казани, скоростно скончался от алкоголизма.

Двое приехали в Чебоксары.

Ходили пятнистые коровы, и головы у них колокольчатой формы. Дети без штанишек, в пестрых платицах носились толпами по зеленым берегам Волги. На деревянных скамеечках молодежь в кожаных картузах пила пиво. У девушек — косы в лентах. Коров поили прямо из переполненных колодцев. Кур ошипывали на центральной площади. На плетнях висели перины и горшки.

Инструментов не было. Только бумага, чернила и смехотворная грусть какая-то, — что же делать? Нужно было

не копировать мертвый план с отпечатанных схем, а снимать план с живого города. Некоторое время двое пили, закусывали и бросали камешки в воды Волги. Учитель бросал подальше, ученик поближе. Волга выбрасывала камешки обратно на песок. При ближайшем рассмотрении можно было определить, что это пирит и кремний. На деревьях шатались вялые пыльные листья. Бурлаки тащили баржи, мотая бритыми головами. Брили головы, чтобы меньше потеть и чтобы волосы не мешали.

Фабриканты города Чебоксар паниковали: Веревкин предъявил правительственные ордера. Фабриканты подозревали, что это — замаскированная ревизия, и потому знакомили со своими семьями. Геодезисты-инженеры знакомились охотно: блины, щи, семга, утки с мочеными яблоками, наливки и. . . дочери.

И вот Веревкин отблагодарил за гостеприимство.

По указу Сената ширина улицы должна быть не более восьми сажен. Веревкин приказал плотникам сделать деревянные рамы восемь на шестнадцать. Приказал оковать рамы железом, а на углы повесить железные же цепи. Оковали и повесили. Потом Веревкин с учеником пошли к водам Волги, и все подумали, что опять повторятся камешки. Но нет.

Веревкин остановил первое попавшееся судно и приказал судовладельцу отправить в город всех бурлаков. Бурлаки с большой радостью отправились. Пока геодезисты бежали за ними, бурлаки успели выпить фруктового вина и уже дышали, как фруктовые деревья. Их кое-как собрали и у магистрата торжественно вручили рамы. Это понравилось.

Труженики и бродяги Волги, буйные и бородатые, ослепляя обывателей бритыми башками, в сермяжных рубахах, подпоясанных чем попало, со смехом и свистом таскали теперь по всему городу рамы и примеряли их к улицам (надевали раму на улицу, как на лошадь хомут). Был гром, вопль и звон. Вспархивала черепица, падали трубы, осыпались стекла! Если через какую-нибудь улицу рама не проходила и задевала дом цепями, Веревкин волшебным жестом останавливал бурлаков. Они носили рамы, а он носил журнал.

Веревкин записывал дом в журнал, а Державин писал на воротах толстым брусом: «ЛОМАТЬ!»

Со дня на день геодезистов уважали все больше и больше, бурлаки вселяли ужас, а местные гранды сатадели от мысли, что их дома в ближайшее время сломают,

Понесли подарки. Но Вережкин подарки не принимал. Неслыханное поведение этого повелителя обсудили со всех сторон, но никаких выводов сделать не удалось.

И это еще не все. Фантазия Вережкина была неумна, а его вдохновенье только еще разыгрывалось.

Бурлаков он отпустил и позвал купцов. Купцы — владельцы маленьких кожевенных заводов. Вережкин красноречиво сказал купцам, что от этих гнусных заводов никакой радости и гигиены, зверское зловоние и у скольких граждан Чебоксар, если бы только подсчитать, из-за этого зловония плохое состояние здоровья.

Купцы пламенно отрицали эти тезисы. Хорошо. Тогда уже Державин доказал, что они жестоко заблуждаются.

Никакого переполоха. Просто собрали всех: чиновники воеводской канцелярии, магистрат и весь остальной люд, внушительная процессия, очарованные, спустились к Волге. В присутствии этих свидетелей двое провели такой эксперимент.

У заводов, там, где отходы стекают в реку, Державин приказал вынуть со дна реки немножко грунта. Этот грунт оказался не что иное, как ольховая и дубовая кора, применяемая для обработки кож, а также опилки и стружки самой кожи. Все это положили в бутылки и залили водой. Такие же веселые маневры произвели и выше по реке, там, где не было заводов. Все бутылки на глазах у недоумевающей публики запечатали сургучом и приложили печати воеводской канцелярии и магистрата. Державин и Вережкин, прославленные специалисты по геодезии Чебоксар, тут же написали ярлычки и повесили на бутылки: где, как и при каких обстоятельствах бутылки были наполнены.

Потом действие развивалось по принципу троекратности: на три дня бутылки выставили на солнце и поставили к ним три смены часовых с топорами и ружьями. Три дня граждане города мучились и спрашивали друг друга: «Что же это такое, на самом-то деле?»

Через три дня они узнали, что это такое. Державин стоял под палящим солнцем у воды, а Вережкин сидел на песочке и держал большие серебряные часы-луковицу. Часы заиграли, и раздался двенадцатый музыкальный удар пополудни, и бутылки — вскрыли!

Все ожидали чуда. И напрасно. Нет чудес. Особенно в запечатанном сосуде со всякой гнилью, который простоял на жаре три дня. Естественно и объяснимо, что в гнили завелись черви. С бутылками, в которые была

налита сравнительно чистая вода, в общем-то ничего не произошло.

Итак, резюмировали двое, в результате наших научных изысканий по поводу злоупотреблений мы делаем воеводской канцелярии и магистрату следующее хорошее предложение: в соответствии с указом Сената, действие всех вредоносных заводов немедленно прекратить, в таких ужасных условиях медицинской комиссией запрещается изготовление кож. Отныне и веки.

Купцы затосковали. Стали очищать лопатами дно Волги. Стали рыбачьими сетями вылавливать отбросы. Написали тайные жалобы в Казань и в Москву. Время шло, а мастера и рабочие не работали, но, по закону, им выплачивали деньги. А по Чебоксарам пошло такое пьянство, что, несмотря на свежее солнце, все ходили в тумане. Убивать не убивали, драки были, но так, неслышные, вору особенно не воровали, а вот у магистра Дмитрия Васильевича Королькова пропало стадо гусей, состоящее из тридцати восьми штук (и все — белые!). Их никто не пас, и они ушли в неизвестность. Расследование показало, что ни у кого из жителей гусей тех — нет, просто так уж получилось — белые гуси пропали сами собой. Вся полиция Чебоксар суетилась не меньше недели.

А при заводах поставили крепкие трехменные караулы. А на воротах заводов написали все тем же крупным кирпичным мелом: «ЛОМАТЬ»!

Дмитрий Васильевич Корольков прекратил наконец-то поиски куда-то канувших гусей и попросил у Михаила Ивановича Веревкина снисхожденья. К нему присоединился и воевода Чебоксар. К ним присоединились фабриканты. Кое-как они сумели умиловить предприимчивых геодезистов, и на этом страшная комиссия закончилась. Веревкин уехал в Казань, Державин — в Петербург.

4

В Петербурге играл снежок.

Деревья Летнего сада просвечивали паутинками. По саду ходили гвардейцы в мушкетерских шляпах. Высокие войлочные (гильзы!) шляпы еле держались на головах. Их прикалывали железными шпильками к парикам.

На мостах промокла древесина. Небольшие заморозки — и мосты (опять) станут как стеклянные. По мостам

ходили гренадеры. Сумы, перевязи, портупей — все (на них) лакированное.

Штукатурка дворцов завяла. Окна посветлели. Дворники в кожаных калошах сбрасывали снег с крыш. Снег падал и растекался во все стороны. Теплело; скакали кирасиры, драгуны, гусары, пикинеры. Кирасиры — в кирасах, пикинеры — с пиками, и все — в суконных плащах. Из-под копыт лошадей выскакивали собаки и бежали за лошадьми, лая.

Измайловский полк истреблял ворон — ходил по столице, стреляя.

С Ладоги в столицу шли телеги. Сквозь решетки рогож, закрывающих телеги, просвечивала и блестела свежая рыба — щука, судак, окунь, и на любителя — тюлень.

Свинцовое небо, свинцовая слякоть — Петербург!

Державин уже давно получил паспорт из канцелярии лейб-гвардии Преображенского полка за подписью лейб-гвардии майора князя Меншикова: приступить к исполнению воинской службы.

Мечта Петра I — все дворяне должны быть сначала солдатами, чтобы разузнать хорошенько на собственном опыте, «что есть служба», — не осуществилась. Состоятельные фамилии сговорились с послепетровским правительством: новорожденных младенцев за определенные деньги записывали солдатами в гвардейские полки. Шли годы — шли звания. Совершеннолетний вельможа поступал на службу в каком-нибудь подходящем офицерском звании.

Державину было восемнадцать лет, и он писал кое-какие стихотворения и кое-как рисовал.

Напрасно Вережкин старался устроить способного юношу в артиллерийский или инженерный корпус кондуктором. Напрасно Державин купил и уже носил инженерный мундир. Напрасно изучал топографию и вычислял фортификацию.

Гаврилу Державина причислили к третьей роте рядовым.

Никого не было у него в Петербурге. Его поселили в казарме. С пожизненными солдатами. В одном помещении с двумя холостыми и с тремя женатыми. А капрал еле-еле обучал его ружейным приемам и фрунтовой службе.

Гладкоствольное кремневое ружье заряжалось одной пулей. Нужно было: опустить пулю в ствол, шомполом

загнать ее на дно ствола, насыпать порох на полку замка, высечь большую искру кремнем, прицелиться — стрелять. Чтобы правильно зарядить ружье, нужно было выполнить пятнадцать команд. Солдат заряжал ружье в двадцать три приема. У ружей были прямые ложа. Когда солдат маршировал с ружьем на плече, это было живописно, стрелять же — мука. Приклад ломал плечо. Ложа прикладов были выдолблены и внутренности набиты стеклами и звучащими черепками: ружейные приемы — каждый удар прекрасно озвучен.

Гаврила Державин полюбил свою замысловатую службу и приплачивал флигельману полтинники: хотел поскорее получить следующий чин, пределов его служебным мечтаниям не существовало. Но, к несчастью, он прослужил простым солдатом еще десять лет.

Уже тогда у Державина было большое мясистое лицо, тяжелый нос и брови дугами, как у клоуна.

Он ютился на самой последней ступеньке общественной лестницы. Он паясничал перед товарищами, веселил казарму игрой на флейте и на кларнете. Это впоследствии он прославился бешенством. Деспот правды, вопль о справедливости в дворцовом хаосе, в российской пустыне, — это впоследствии Державин позволял себе устраивать сцены не только подчиненным сановникам, но и всем трем монархам.

Теперь Державин всеми стараньями и полтинниками добился высшего солдатского отличия: как образцовую атлетическую фигуру, как виртуоза экзерции, его показали самому императору Петру III, и царь его расхвалил.

Петр III совершенствовал ротные и батальонные учения. После смерти Петра I прошло тридцать семь лет. После царствования Петра сменилось четыре императора. Петр III был пятым — внуком Петра Великого. Солдаты распустились. Никакой военной науки, никакой дисциплины. Все и всё воровали.

Сын сподвижника Румянцева, Потемкина и Суворова, генерал-лейтенант С. А. Тучков писал, что ни полковые, ни ротные командиры, как это ни парадоксально, не повинны в воровстве. От них требовали пышности и великолепия в содержании полков, а денег — не давали. Под разными приличными канцелярскими предложениями они самостоятельно брали деньги из касс военной коллегии — и жили!

Тучков писал:

«Таково все российское правительство, вся военная и гражданская служба. Все нуждаются, от всех много требуют, и, наконец, все поставлены в необходимость обманывать один другого, а из-за этого столько несчастий! Это российское воспитание то же, что спартанское воспитание детей — тем не давали есть и заставляли красть, но если поймают — секут!»

На строевых смотрах стояли «от зари до зари». Под ливнем и под молниями. На мрачном морозе. Напомаженные и напудренные парики примерзали к волосам. Парики снимали сзади за косицу, как скальпы.

Смазка замерзала в замках мушкетов. Мушкеты не стреляли. Сабли вмерзали в ножны. На мундирах было много меди, и она окислялась тотчас, а офицеров бесило, что медь не сверкает.

Петр III бушевал: всему виной не мороз и не солнце, а солдаты России — ничего не умеют и симулируют бессовестно.

За симуляцию, за неуменье — били. Пока не палками — по морде.

Прошло первое мальчишеское удовольствие от военных игр.

Фехтованье, верховая езда, песни под флагами, барабаны, конвульсивная шагистика, уродливые упражнения с мушкетами. Это бессмысленное солдатское бытие — опротивело.

Никаких удовольствий не существовало. Из роты отлучаться не позволяли. От службы оставались считанные часы — Державин пытался рисовать или играть по нотам.

Какая там живопись! Какие флейты!

В гриппозной комнатенке мучились все вместе — пятеро солдат, три (чьих?) солдатских жены, Державин — девятый.

За несколько лет объединенной жизни Державин так и не узнал, кого как зовут, все называли друг друга кличками, а клички менялись в зависимости от обстоятельств. Кто чья жена — поэт не знал: все с одинаковыми голосами.

Солдаты пили домашний самогон из свеклы — красный.

Солдаты играли в карты. Хорошая игра «ерошка». Хороша тем, что не нужны деньги. Проигравшего таскают за волосы, пока бедняга не упадет без памяти. Это называлось «ерошить волосы».

Игра начиналась как заклинание. Банкомет исполнял роль шамана. Он хватал колоду карт и махал ею перед глазами очередного игрока. Махал и приговаривал:

— Тумана б тебе в глаза! Тумана б тебе в глаза! Тумана б тебе в глаза! Чего хочешь, того просишь!

То есть: хочешь такую-то карту — проси ее, солдат, проси хорошенько, — получишь.

Поскольку за «ерошку» садились в мертвецки пьяном состоянии, то уж чего-чего, а тумана хватало и в глазах и в мозгах. Проигравшего наказывали не только отделением волос от темени. Наказывали еще и так: проигравший вместе с женой и детьми заползал под стол, и все они кудахтали довольно долго.

Женщины матерились, все путали портянки, с похмелья дрались дисциплинированно и со вкусом. Потом лейб-гвардейцы носили свои ушибы с невозмутимостью верблюдов, а их жены все чаще и чаще смотрели на мир из-под повязок только одним глазом.

В казарме очень пахло детьми.

По беспамятству от пьянства или умышленно забывали выносить судно, хотя существовала очередность. Все советовали Державину, как еще неосвоившемуся новичку, выносить сегодня судно, — это, в конце концов, пустяковая домашняя работа. То же самое было и завтра. Он и выносил.

После ссор играли на грустных гармошках и молились.

Он затыкал больные уши ватой. Он надевал меховую шапку.

Он лежал за ситцевой занавеской с цветочками, на железной кровати, на соломенном матрасе без простыней, застланном какими-то тряпицами. По ночам ползала всякая мерзость и кусалась.

На табурете, на блюдечке, стояла свеча — малиновый огонек, купленный за полушку: Державин читал. . .

Он читал Геллерта и Гагедорна, сентенции и сантименты немецкого происхождения, он читал Ломоносова — римскую риторику русской Академии; он читал Тредиаковского «Мнения о начале поэзии», «Рассуждения об еде».

Солдаты были наблюдательны — Державин что-то писал. Угольные губы — от грифеля: грифель нужно слюнявить.

Его попросили написать письмо.

Пришла какая-то Наташа к кому-то из солдат и с восхитительным волнением рассказала общий смысл письма, какое бы хотелось написать, поцарапывая розовеньким ноготком его коленку, позванивая дешевыми стеклянными сережками. Наташа — дочь капрала!

Поэт почувствовал прилив сил и написал. Ждал ее. Плакала с чувством. Благодарила. Сказала что-то вообще про любовь. Сказала, кажется, спасибо — и ушла. В деревянном царстве казармы и пьянства прозвенели каблучки и мелькнул меховой платочек. В окошке. Мелькнул и пропал.

Нет, не все. О посещение узнали солдаты (подсмотрели, как это бывает в таких случаях). Попросили написать письмо в деревню. Попросили письмо написать для дедушки и маменьки, или, как бы получше сказать, не *для*, а — дедушке и маменьке. Написать про себя, то есть вот про меня, про того, кто попросил.

Поэт написал.

Это были его первые опыты письма на крестьянском диалекте. Просили еще — писал еще.

За окнами казармы уже пестрели весенние простые птицы.

Светился и угасал снег. Еще птицы и птицы колыхались над куполами церквей.

Он писал письма бесплатно. Ему перестали не только диктовать, но и не говорили — о чем писать, все равно небылицы про солдатскую жизнь, пусть хоть в письмах домой жизнь будет чуть-чуть получше.

Иногда спрашивали:

— Да, дружок, помнишь, на той неделе. . .

— Помню.

— Письмишко-то от маменьки нашей мы получили?

На той-то самой неделе?

— Получили.

— Никаких несчастий, надеюсь? Града не было? молний? живы?

— Всякое там. И живы и не живы.

— Но наши-то живы, надеюсь?

— Надейся.

— А ты что написал?

— Да написал.

— По-хорошему, как русский человек написал?

— По-русски написал.

— Орел и лев — вот ты кто! Ну и молодец, псина! Ну, как же не хвалить этого беса? Надо же, откуда силы

сильные у молокососа! И морда как у мясника — а взял и написал! Да, были и у нас не люди, а чудеса! Возьми для примера старика Сумина. Кто он был и кто он есть? И был сержантом, и остался сержантом! Вот как, дружок! И ни писать ничего не писал, и ни читать не читал ни бельмеса, но — как пил! Как пил — загляденье да и только, господа прости! — так говорили солдаты и курили глиняные петровские трубки.

Так Державин стал посредником в жизни восьми семей. Он уже писал сам и от имени солдат и от имени их родителей. И те и другие знали об этом: им нравилась такая переписка.

Еще он давал деньги. Так сказать — займы, солдатский заем — без возврата. По всему этому Державина полюбили самой большой любовью — как дурачка. Еще, несмотря ни на что, Державин платил за общий обед солдатским женам.

Но счастье счастьем, любовь любовью, а деньги есть деньги.

Денег не стало. А было-то их всего ничего: сто рублей, последние семейные сбереженья для солдата. Не стало денег, и любовь — поуменьшилась. Спрашивали теперь кратко:

— Как с письмами, дружок? Все пишешь, надеюсь?

— Ты побольше пиши, чтобы, знаешь, и смех там был, и слезы!

— Ты чем конверты склеиваешь? Ты конверты не склеивай слюной или мылом. Конверты нужно клеить голштинским клеем из аптеки — этот клей хорош!

Все милостиво примирились с тем, что новобранец на них работает. Его уже не спрашивали, что написала маменька про гусиный пух, что он ответил про петербургские магазинны. Само собой подразумевалось: она написала, он ответил.

Не стало денег, и Державина перестали кормить.

И вот восемнадцатилетний человек взбесился.

Он протрубил сбор. Собрался весь женский персонал казармы, все, кого он так простодушно обслуживал пером полгода.

Дитя-медведь, мальчик-гигант; его мясистое лицо тряслось, а тяжелый нос — в капельках пота. Это был первый в его жизни литературный протест, первый мальчишеский манифест независимости. Он сказал приблизительно такие слова: никому не приходит в голову, что писать письма — тяжелый труд, потому что солдатские головы —

тупы, никто в этой казарме, кроме него, Державина, писать вообще не умеет, а он, вдобавок, пишет бесплатно и еще, как все, вынужден делать все что попало, что положено солдату: он чистит каналы и канавы, привозит из магазинов провиант и сам разгружает, бегаёт «на весах», ходит в караулы, отбрасывает снег от ворот казармы, носит песок в деревянных ведрах и посыпает учебный плац и т. д. и т. п. Всем известно, даже императору Петру III, кто такой лейб-гвардеец Гаврила Державин, император смотрел на него недавно и любовался его ружейными приёмами, недалеко то время, когда рядовой станет, может быть, полководцем в России и даже далеко за её пределами. Он — дворянин, а вы все — дрянь! Болтуны и болваны! Больше ни буквы! Пейте пиво, а он впредь будет только читать и просвещаться! Никаких писем для тех, кто прикарманивает его деньги, а потом еще и не кормит несколько потомка мурзы Багрима!

Державин сильно волновался и сказал смешную и наивную речь.

Но подействовало. Бабы сразу же сказали, что все это — сушая правда, а их солдаты — сволочь. Но письма очень уж больно нужны.

Теперь у поэта появилось восемь добровольных слуг. Он писал, как и прежде, письма, но больше — ничего: суверенитет. Что ж. Его государство — двадцать квадратных метров казармы, но — хотя бы! — его уже не только любят, как бессребреника-дурачка, но и побаиваются: не ахти какая, но — законодательная сила.

Когда Петр III объявил поход на Данию, Державина выбрали артельщиком. Всей солдатской массой. Единогласно и единодушно. Это был наивысший знак доверия: ему, восемнадцатилетнему, все ветераны отдавали на сохранение свой незамысловатый скарб, свои последние копейки. Бесконтрольно.

Наступили белые ночи.

Все разъехались по загородным дворцам и дачам. В Петербурге остались только солдаты, прислуга, владельцы магазинов и трактиров. Еще остались должники — их не выпускали кредиторы.

Белые ночи — гостеприимные ночи. Петербург пировал. Белые ночи — отдых для полицейских: никого не надо искать, все на виду.

От кредиторов на дачах держали собак. Вельможи выписывали из Парижа французских бульдогов. Облада-

тели посредственных капиталов обходились отечественными волкодавами.

Белые ночи — рассеянный тяжелый свет. Стоя на карауле, можно потихоньку читать и писать на картонках, на ладони.

Появились парниковые огурцы. Ведро огурцов стоило столько же, сколько двухмесячная пенсия генерала. Франты ходили по Невской перспективе, играя огурцами, как изумрудами.

В белые ночи на улицах Петербурга появилось несметное количество карет, а по каналам — лодок.

Ходили слухи, что это неспроста.

5

Поход в Данию не состоялся.

Состоялся государственный переворот.

Был солдат Лыков, нищий, как и Державин, дворянин. Был у Лыкова уж совсем нищий слуга. Хитроумный кнехт проследил, куда Державин спрятал артельные деньги. Единственный тайник солдата под подушкой, вот он и взял деньги из-под подушки. Болван вытащил узелок с серебром и медью и скрылся. Державин был в этот момент на очередном строевом смотре. Там инспекторы императора ощупывали солдат: состоянье их париков и пуговиц. Слуге понравилась красивая калмыцкая кибитка и к ней лошадь.

Слугу поймали, но кибитку и лошадь он успел купить. Он катал по Петербургу девок из трактира Дьячкова. Кнехт — кутил.

Державин так расстроился, что ему было не до государственных переворотов.

А тот вечер, когда пропали пресловутые деньги, был исторический.

По каменным галереям казарм бегали капралы без париков и без мундиров, в одном белом белье, с бутылками, со шпагами, со свечами, капралы кричали, что они завтра еще скажут свое собственное слово, пусть только император выведет их на Ямскую, они еще спросят вот что: какая такая Дания? Не хотим, драгоценный наш император, никаких походов! Они еще спросят при помощи ружей: с какой такой стати нас ведут в эту несчастную Данию? Мы не марионетки, Петр III не Гамлет, принц Датский. Мы ни в какую не желаем оставлять нашу императрицу в грустном одиночестве на произвол

судьбы и обстоятельств! Мы сами хотим остаться и служить ЕИ, так-то, дорогой Петр III, паршивый пес немецкого происхождения, почему это ты придумал этот подлый поход в далекую Данию?

Впоследствии Державин неоднократно сожалел, что ничего не знал о заговоре. Как будто если бы он знал, то смог бы что-либо сделать. Не только рядовые — никто ничего не знал. Ничего не знали и сами заговорщики, ничего не могла предвидеть Екатерина, никто не мог сказать определенно, чем закончится вся эта суматоха и авантюра.

В полночь третья рота Преображенского полка разыскала вора, большого любителя кибиток и девок. Дурака проучили и унесли к медику. Девок стали катать сами.

Ходили слухи.

Не было ни офицеров, ни приказов.

Офицеры попрятались.

Сержанты пили с капрами.

Солдаты пили и бегали в неопишемом волнении. Они бегали во все стороны. Этот всесторонний бег всех смутил. Стали действовать: все собрались на плацу.

Постояли.

Побеседовали.

Полюбовались ночным небом, — хорошо, белые ночи.

Пересчитали последние огоньки столицы. Поделились впечатлениями и напророчили. На сон каждый все, что сам себе желал.

Разошлись, чтоб хорошенько выспаться перед завтрашней неизвестностью.

Поспали.

Проснулись.

Встали у голубых окон казармы.

Поспорили: открывать или не открывать окна. Открыли.

Было восемь часов утра. Голубой блеск неба и зеленый блеск листьев.

Чиновники тоже попрятались. Окна не открывали. Улицы пустовали. На базаре потрясенные крестьяне потихоньку пили и закусывали леденцами. Поскольку на базаре сегодня не было воскресной толкучки, то оказалось, что в этом квартале много кошек. Кошки (в привычное за многие годы время) из всех подворотен бежали на базар. Крестьяне пили и пересчитывали кошек.

По улицам скакал рейтар. Он скакал на жеребце, весь в солнечном свете, с малиновым шарфом на шее, и что-то кричал.

Окна закрыли. Копыта одного коня гремели, как копыта эскадрона. Потом рассмотрели: рейтар один, поэтому окна опять открыли.

По двору, по свежему утреннему песочку, прыгал жеребец, на жеребце прыгал рейтар; лицо у него было побритое, холеное, голубоватое и счастливое — немецкое. Рейтар кричал какие-то слова, а шарф бился над его каской — малиновое крыло!

Все услышали только смысл: пусть все идут к молодой матушке-императрице в Зимний дворец. Пусть присягнут ЕИ. Так произошло. Так нужно.

Женщины взапуски побежали на кухню. Лица у них были невыспавшиеся и неопохмелившиеся. Чепчики свисали на щеки — вялые листья капусты.

Солдаты — выбегали!

Повсюду били барабаны.

Повсюду бежали солдаты и женщины.

Тысячи птиц трепетали в воздухе.

Повсюду несли знамена и кричали хором.

На улицах блестели штыки — как стеклянные!

В туннелях подъездов стояли сторожа — языческие статуи в белых фартуках, вечные свидетели и осведомители, единственные судьи исторических процессов.

Мелькали дамы в соломенных шляпах с кисточками на макушке. Девушки с нагримированными лицами подмигивали офицерам — вдохновляли. Девушки носили корзинки из лакированной французской соломы. В корзинках лежали французские журналы мод и пистолеты.

На тротуарах валялись пряжки, бумажные цветы, флаконы, овощи, платочки с вензелями, леденцы в форме животных. На леденцы наступали, они хрустели.

К процессиям присоединялись ветераны всех войн. На их средневековых сюртуках и мундирах топорщилось столько шестиугольных звезд, как на кладбищах. Все и всех призывали к расправе.

В толкучку Преображенского полка прибежали офицеры. Каждый повел себя так, как считал нужным. Было всеобщее восстание, то есть всеобщая растерянность и неразбериха. Офицеры изо всех сил делали вид, что им все известно, и смотрели на солдат и на происходящее умными глазами. Но и офицеров лихорадило.

Никто не стал командовать.

Солдаты окликали офицеров, они расспрашивали их, никто не слушал объяснения, все бежали вперед и дальше.

Потом вся третья рота, не сговариваясь, как одна скаковая лошадь, сорвалась и помчалась, на бегу заряжая ружья. Они помчались на полковой двор. Их попытался остановить офицер Лев Пушкин, помахал саблей в воздухе, но не остановил. Он еще долго бежал за ротой с обнаженной саблей, с яростным лицом, но никого не догнал и не ударил. Потом он пропал в процессиях.

Они промчались на полковой двор. Там, по двору, ходил, тяжело, как с гирями на шее, майор Текутьев, командир третьей роты. Как солдаты ни спрашивали майора, как ни теребили за фалды, обшлага, лацканы, ничто не вывело этого человека из состояния мертвой задумчивости. Майор ходил и ходил, и не сказал ни слова, и его сабля билась о камни, — ненужная ноша.

Хорошо, что майор Текутьев намертво молчал.

Потому что другой майор, Воейков, поступил по-другому. Майор-гренадер Воейков, исполин в белом с золотыми шнурками камзоле, скакал на белом коне по Невской перспективе, и над ним горела шпага. Он останавливал свою роту следующим способом: с высоты коня — горящей шпагой — рубил гренадер по ружьям и шапкам!

Это не понравилось, не имело успеха. Грубые гренадеры заклекотали и — бросились на своего любимчика. У них тоже были штыки.

Исполин Воейков — со шпагой — изо всех сил побежал. Вернее, побежал не майор, а его друг — конь. Беспристрастному обывателю могло показаться со стороны, что на белом коне скачет отличный белый всадник с золотой шнуровкой и со шпагой, а за ним бегут в какой-то неистовый бой его братья-солдаты.

Но это было не так. За майором бежала озверевшая толпа солдат, чтобы его заколоть на месте. От страха Воейков бросился с моста в Фонтанку и все плескался там вместе с конем.

Солдаты посмеялись и побежали к Зимнему дворцу. По всем мостам бежали роты Преображенского полка. На площади перед дворцом уже стояли семеновцы и измайловцы. У выходов стояли утроенные караулы. Все сверкало: солнце на новых окнах нового дворца, бляхи на солдатах и на лошадях, золотые значки на шапках, ризы священников, вода в каналах, перья птиц на деревьях и в небе сверкали и переливались.

Петр III любил Преображенский полк. Он собственноручно показывал солдатам ружейные приемы и объяснял магию и мудрость военной науки, которая называлась экзерцией. Он любил преображенцев, и фехтовал с ними, и поил по субботам императорской пшеничной водкой, и пил с ними, и со многими говорил о своей жизни, и сочувствовал им, и быстро повышал их в званиях. Поэтому Преображенский полк самый первый предал императора.

Но на всякий случай полк все же рассортировали внутри дворца. По существу, преображенцы были окружены двумя более доверенными у императрицы полками — Семеновским и Измайловским. Предосторожности Екатерины.

Подходили армейские полки под командованием незаметных полковников, с не очень-то заметным воодушевлением.

Петербургский архиепископ Вениамин Пуцек-Григорович при полном синодальном облачении ходил, как золотая черепаха на задних лапах. Каждому существу в военной форме он совал крест. Сие означало: отрекаюсь от присяги, данной Петру III, и принимаю присягу на верность Екатерине II.

Через несколько дней Петр III был тайно убит.

Преображенский полк после коронации Екатерины перевели в Москву.

6

Державин написал оригинальную книгу. Она называется «Записки». Это — мемуары о самом себе. Оставим стиль и прочие прелести литературоведческого анализа.

Дело в другом. «Записки» Державина — его жизнеописание.

О шестидесятилетнем рабстве, о слезах и муках, о полукопеечных свечечках, о полутемных казармах с крысами, с пьянством, о картежничестве (а он был и шулером, а обнаруженное шулерство — тюрьма или ссылка), — шестьдесят лет услужливой исполнительности. Как отмечает поэт прекрасные и постыдные движения своего сердца, какие мечты его увлекали, какие страсти-напасти творчества, как из безграмотного и заурядного недоросля он сумел стать поэтом-философом своего времени, он, рожденный в самые беспросветные годы середины восемнадцатого века, как развивался этот талант, что способствовало его духовному развитию, что мешало, как сумел

он развиваться в татарских условиях российского существования.

Что же волновало автора мемуаров?

Собственные противоречия? События истории? Литература современников или его литература? Живопись? Музыка? (Ведь он рисовал и музицировал!) Судьба событий и судьба личности? Казни, тюрьмы, ссылки? «Век просвещения»? Причины возникновения и падения искусства? Собственное сердце? Собственное рабство? Капризы войн и государственности? (Ведь он воевал и был государственным деятелем.) Ум? Гений? Творчество?

Какие катастрофические строки он писал о себе:

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад.
Не вспомнится нигде и имя Званки.

Вождь скифов и волхв язычников. . . Что останется от него, гениального сына татаро-немецкого века? Только постепенные луны будут вращаться над когда-то знаменитой местностью, где он жил и царствовал, только лай заблудившихся псов, да две-три звезды, две-три снежинки, да разве «дым сверкнет» над последней землянкой, где, может быть, кто-то есть, а может быть, никого и не осталось.

Разрушится сей дом, засохнет бор и сад.

Это волновало поэта.

Но не это волновало вельможу.

Державин был:

солдатом, участником переворота 28 июня 1762 года,
офицером Тайной канцелярии, участником войны с Пугачевым,
экзекутором в Сенате,
губернатором в Олонецкой губернии,
губернатором в Тамбове,
статс-секретарем при Екатерине II,
сенатором при Екатерине II,
коммерц-коллегии президентом при Екатерине II,
членом Верховного совета при Павле,
государственным казначеем при Павле,
действительным тайным советником при Александре I,
министром юстиции при Александре I.

Двенадцать ступеней Командора!

Державин придавал первостепенное значение своей государственной деятельности. Он не только получал награды, но и искал случая получить награду и похвастаться в своих смешных автобиографических записках.

О своей поэтической деятельности поэт пишет мимо-летно, мимоходом, и — напрасно.

Нищий сын нищей дворянской семьи, десять лет прослуживший простым солдатом, он прекрасно продолжал бы свое существование в нищете, он общался бы со своими нищими рабами, а не с царями, невзирая на свой государственный ум, несмотря на все свои политические таланты,

если бы

в 1783 году (Державину — 40 лет!) Дашкова не напечатала его *поэтическое произведение* — оду «Фелица»,

если бы

ода «Фелица» не была прочитана Екатериной,

если бы

ода «Фелица» не была откровением русского века,

если бы

ода «Фелица» не благословляла «просвещенной абсолютизм»,

если бы

ода эта не восхищалась писаниями царицы Екатерины II...

Державин заблуждался, воображая себя крупным деятелем. Ни одна губерния, ни один государь не сумели хоть как-то ужиться с поэтом.

И если бы

не поэтические произведения (оды на восшествия, на войны, на реформы),

если бы

не всемирная слава Державина-поэта, а не Державина-Меттерниха, не Державина-Талейрана,

если бы... —

то неизвестно еще никому, каким судом судили бы бешеного губернатора, в какой сибирской тайге, в какой архангельской тундре он обрабатывал бы свои оды!

7

Московский март еще морозен, но уже есть в нем какая-то нежность.

В полдень с деревьев спадает снег, а поутру они стоят, звенящие ветками, в хлопьях ворон и воробьев, а дворня в черных кожаных фартуках подметает суточный мусор

и птичьи трупки, сваливают все это в телеги, увозят за город и сжигают, или сжигают все это здесь же, на плоских камнях, как на плахах.

По утрам вся Москва в кострах, и открываются трактиры под самыми замысловатыми названиями: «Съестной трактир город Данциг», «У Марьи Кирилловны» или «Свинина с вином». Там пахнет немецким пивом, французскими духами, русской капустой, а над свинными ножками колдуют капралы в распахнутых шубах, пуговицы у них — сияющие, физиономии — выбритые и в порезах. Не дерутся. Над трактирами в праздники выставляют знамена, флаги и вымпелы.

По воскресеньям щеголи Москвы заполняют цирюльни: одна — на Варварском крестце, другая — в Калашном ряду, две — около Москворецких ворот, пять — на каменном Всесвятском мосту, четырнадцать — в Земляном городе.

Кабаков совсем немного, а питейные погреба только в Китай-городе, но их было — сто. В кабаках на обед подают: горячую ветчину, яйца всмятку, щи белые с говядиной и цыпленком, окрошку, битое говяжье мясо на сковороде с уксусом, а на десерт — спелую бруснику, куманику и арбуз. Если нужно пообедать побыстрей — холодная похлебка из курицы.

Лучшая квартира в восемь — десять комнат — не дороже 20 рублей в месяц, фунт говядины — полторы копейки, бутылка шампанского — полтора рубля, десять лимонов — 3 копейки, пуд коровьего масла — 2 рубля, за обед в хорошем трактире — 30 копеек, самый гастрономический обед с десертом и вином «У Марьи Кирилловны» — 2 рубля; а кружева Платона Зубова, теперешнего фаворита Екатерины, — 30 000 рублей! (Годовая пенсия министра — 10 000 рублей.)

В холода мужчины носят муфты, а у женщин — чуть ли не египетский ритуал мушек. Мушки делаются из тафты и наклеиваются на лицо: вырезанная звездочкой на середине лба мушка означает величественность, на виске у самого глаза — страстность, на носу — наглость, на верхней губе — кокетливость, у правого глаза — тиранство, крошечная на подбородке — «люблю, да не вижу», на щеке — «согласна на все», под носом — разлука.

Шестнадцатилетние девушки нюхают табак. Табакерки называются «кибиточки любовной почты». Модницы носят на ленте на груди блошные ловушки. Ловушки делаются из слоновой кости или серебра. Блошные ловуш-

ки — небольшие трубочки с множеством дырочек, снизу глухих, сверху открытых; внутрь ввертывается стволик с медом или другой липкой жидкостью.

В питейных погребах — только стойка и лавка, под полом — ледник, над дверями на доске — двуглавый герб. В питейных погребах играют в карты: вист три-три, рокамболь, макао, рест, квинтич, басест, шнип-шнап-шнур, кучки, а-ля муш, юрдон, тентера, панфил, ерошка.

На улицы столицы выпархивают куры, на Красной площади играют дети и свиньи, на дворах церквей играют в «орлянку» нищие и монахи, а на папертях пророчествуют святые, калеки, более знаменитые, чем сенаторы или фрейлины двора Ее Императорского величества.

Носятся ямщики на разноцветных однорядках, на головах у них мурmolки или шапки с цветными суконными верхушками, и по всей Москве их вопль — «гись!» (берегись!). Ямщики обсуждают во всех подробностях политику Англии, Дании и Пруссии, а майоры секретной политической полиции скачут на тройках — к девкам, на Валдай!

Базары — неопишутемы; если не обращать пристального внимания на вервие горья, московские базары пищи, животины, одежд, бесценных безделушек ничуть не уступают рынкам Египта, Рима или Самарканда — фантастическое обилие и стосотязыкость, — вторая столица! (России или мира?) Купля-продажа, и все это весело, жульнически, хамски; купцы — хитрецы и младенцы, бородастые, толстомордые младенцы: трудится год, обманывая и рискуя, пропьет в три дня, с кем попало.

Чиновничьи чаи, попытки солдатской дисциплины, общественные женщины, бешеные бани, смесь патриархальности и самой несусветной цыганщины, страстные отшельники и царицы-пьяницы, великолепье кремлевских палат и храма Василия Блаженного, и ночные сугробы, путники, съеденные собаками, апельсины из Италии и вороны, жаренные под страшными мостами, вельможи в бриллиантах и шайки убийц и грабителей (ограбят курятник, убьют за четверть копейки!) — Ванька Каин и протопоп Аввакум, — Москва!

В 1770 году в Москве было 211 388 нерасследованных дел об убийствах и грабежах,

Светила большая и бледная луна, луна марта.

Сидел на замерзшем бревнышке солдат двадцати семи лет и жег свои стихи. Жег, не просматривая, бросал кипы бумаги в костер, и вокруг костра все шире таял снег. Костер был красный, а там, где горела бумага, — чуть-чуть голубой. Тут же на бревнышках двое караульных в синих тулупах ели курицу, по-братски делили крылышки и ножки. Потом закурили глиняные трубки с крышками.

Он все сжег, и ему сказали, что надо сжечь и сундук.

Стал жечь сундук, хотел разломать, но передумал, просто опустил в костер.

Он убежал из Москвы.

Там бушевала чума.

Императрица Екатерина II только хвасталась перед Европой, что она учредила в России медицинский контроль. Никакого контроля не было. Чума шла по государству, уничтожая в своем движении все живое.

«Пагубный подарок Оттоманской Порты» — так называли чуму современники. Русская армия, воюющая с турками, вымирала. Вся Молдавия и Украина — в тенетах этой страшной болезни. Чума беспрепятственно шествовала по России. Екатерина все-таки приняла свои меры борьбы: под страхом сурового суда она приказала... молчать о самом существовании бедствия. Молчали. Ездили кто куда хотел, — развозили заразу в самые отдаленные губернии. И, только когда стали вымирать целые города, был отдан приказ об установлении карантин. Но было уже поздно.

В апреле 1770 года в Москве умерло 744 человека, в мае — 857, в июне — 1099, в июле — 1708, в августе — 7268, в сентябре — 21 401, в октябре — 17 561. За полгода — 50 632 человека. В московских деревнях умерло свыше 100 000 человек. И так по всей державе.

Началась чума — работать было некому — начался голод. Из-за карантин было ни выехать из Москвы, ни въехать в нее. Подвоз продуктов прекратился.

Главнокомандующий Москвы фельдмаршал граф П. С. Салтыков потихоньку сбежал, оставив столицу на произвол судьбы. За ним последовали все высшие военные, полицейские и гражданские чины.

В Москве умирали люди и царили попы. Архиепископ Амвросий написал стихотворение, которое, по его мне-

пию, помогало успешной борьбе с чумой (!!!). Стихотворение размножили и учили наизусть. Вот оно:

Рецепт от холеры

Возьми рассудку десять лотов,
семь гранов травки доброты,
двенадцать драхм состав покою,
сто унций сердца чистоты,
сотри все это камнем веры,
и порошок сей от холеры
сквозь сито совести просей,
да капель сто терпенья соку
и в чашу мудрости глубоко
на печьню сию налей,
накрой надеждой провиденья,
молитвой пламенной согрей,
слезами чиста умиленья
смешай все это поскорей,
затем пред зеркалом природы
сочти дела свои и годы,
и по числу их капли лей,
и в сем чудесном эликсире
найдешь все то, что служит в мире
от бед защитой у людей.

Ежедневно в каждом приходе попы устраивали крестные ходы, выманивая у прихожан последние копейки. Нужна была надежда, и ее выдумали.

В Китай-городе на Варварских воротах обнаружили икону Боголюбской богородицы. Попы провозгласили, что вот уже тридцать лет никто не обращал внимания на эту икону и она разгневалась: хотела послать на Москву каменный град, но успокоилась и на трехмесячном море.

— Порадейте, православные, богородице на всемирную свечу!

Появилась вера: богоматерь спасет от чумы.

И православные радели: толпы и толпы больных и еще не больных несли копейки и кто что мог — кто полкурицы, кто полотенце. За сутки набросали монет — целый сундук!

За сундук началась борьба.

Митрополит Московский Амвросий потребовал отдать деньги «на воспитательный дом». Фабричный Илья Афанасьев, известный пьяница и бездельник, божился раздать деньги «своим на пропой». А городской плац-майор Викентий Владимирович Сумин опечатал сундук своей печатью и объявил, что Амвросий хочет прикарманить пожертвования.

Десятки попов поставили около иконы аналои и промышляли исповедями и отпущениями.

Богоносцы ходили с хоругвями и в толпах, еле дышащих от болезни, страха и голода, пели стихи:

Попаси ж ему, Господь Бог,
Хлор-Лавер лошадак,
Власий коровок,
Настасей овечек,
Василий овнок,
Мамонтий козок,
Терентий куроц,
Зосим Соловецкий пчелок!

Амвросий хотел отозвать попов, попытался, но ответили, что не уйдут, и не ушли. Он их пристыдил: не от бога они, а из корыстолюбия собирают толпы, и дело получается совсем не богоугодное — больные заражают здоровых. Попы продолжали свое.

Тогда Амвросий вызвал воинскую команду: шесть солдат и одного унтер-офицера. Унести икону, прекратить бесчинство и спекуляцию, а сундук сдать в архиерейскую казну.

Плац-майор Сумин не хотел отдавать сундук. Он обошел все кузницы у Варварских ворот, посулил, и кузнецы вооружились кувалдами и щипцами.

Сорок семь кузнецов-великанов, среди которых были арабы и казахи, выпростав из-под тулупов обгорелые бороды, с воплем «бей их!» бросились на семерку полубольных солдатиков. Зеленые шинелки были растерзаны, солдатики — измордованы.

Бьют кого-то! — и Москва встрепенулась, в соседней церкви кто-то дернул за веревку малого колокола, в соседней церкви ударили в колокола, и вот вся Москва уже закачалась, загудела, забубнила — одиннадцать тысяч колоколов — били в набат!

Растерянные, разъяренные, отчаявшиеся толпы запрудили улицы и площади. Все хватали что попало — топоры, вилы, грабли, косы, оглобли, ножи, — все вооружались и бежали, даже бабы и подростки. Все готовы были убивать, лишь бы кто-нибудь оказался виноват.

Нужен был клич, и попы бросили клич:

— Амвросий грабит Боголюбскую богородицу, спасительницу! Во всем виноват Амвросий!

И толпа ринулась к Чудову монастырю — резиденции архiereя.

Дворяне и купцы попрятались в подвалах и банях.

Дворцы сбежавших вельмож горели.

Встали посады: плотники, кузнецы, котельники, огородники, столешники, шубники. Ломали ветряные мельницы и дрались крыльями, как лопатами. Бросали зажженные пучки соломы, и повсюду пылали людские, амбары, бани, сарай, конюшни, погреба, скотные дворы.

Полиция поспешно пополняла свои ряды: из тюрем выпустили колодников и каторжан. Их одели в просмоленные одежды с капюшонами (прорези только для глаз и для рта). Им дали железные крючья, и они мелькали в толпах, вызывая гадливость и ужас. Если кто-нибудь падал, они хватали крючьями, отгаскивали и сжигали полуживьем на кострах. Каторжан не трогали: крестились на них, боялись.

А толпы уже бушевали в Чудовом монастыре. Архирейские, консисторские, монастырские, экономские кельи — разграблены. Иконостасы, раки, лампы, подсвечники, аналои, наперсные кресты, священнослужебные сосуды, дарохранительницы, кадила, рипиды, панагии, облачения престолов и жертвенников, блюда, умывальницы, посохи, писания святых отцов, богослужебные книги, грамоты и древние акты, билеты сохранный казны — все на слом, вдребезги, в клочья.

Чудов монастырь защищал только один человек: бригадир Ф. И. Мамонов. Он прискакал на гауптвахту и сказал, что толпы, подстрекаемые попами и всяким ворьем, разнесут в щепки всю столицу. Спасите столицу, — и он попросил у майора Текутьева хотя бы десяток солдат с ружьями, пока не поздно! Но Текутьев ответил, что все солдаты стоят на караулах. Какие караулы, где-то черт знает где, а нужно действовать сейчас же и здесь! Текутьев: «Устав есть устав, и нет никаких оснований волноваться, пока нет особых указаний от главнокомандующего». Мамонов выматерился и поскакал в Чудов монастырь. Он бегал по залам и кельям, уговаривая, угрожая, разбрасывая кулаками пьяных. Наконец-то заметили его синий мундир, ударили серебряным подсвечником по голове, и Мамонов еле-еле дополз обратно до гауптвахты.

Взломали чудовские погреба: французская водка, итальянские вина, английский эль! Пили и били бутылки, выкатывали бочки и, пробивая днища ломами, устраивали фонтаны, а вокруг фонтанов плясали.

Архимандрита Никона утопили в бочке мозельского, а потом откачали, как утопающего, забавляясь и улюлю-

кая, а потом возложили на алтарь. Он потерял рассудок от страха и умер.

Амвросий ночью сбежал из Чудова монастыря в Донской.

Но толпы уже напали и на Донской монастырь. Уже Амвросий переоделся в фабричное платье, уже запрягли мещанскую кибитку, но... ворота монастыря были взломаны, — и напрасно Амвросия уговаривали открыть амбары с зерном и подвалы с мясом, чтобы отвлечь внимание толп и спастись, — он отказался, пошел в большую церковь и стал служить обедню. Он пел, а толпа ожидала конца обедни. Старец-архиерей стоял в алтаре и читал молитву во спасение заблудших и возмутившихся.

Заблудшие и возмутившиеся стояли у алтаря и ожидали окончания молитвы. Тогда Амвросий исповедался у священника и приобщился святых тайн. Дворовый Василий Андреев и целовальник купец Иван Дмитриев засунули топоры за пазухи и вывели Амвросия под руки из церкви к колокольне. Стояло солнце, и светил снег. У колокольни на Амвросия натравили калек с костылями и слепых старух. Современник писал: «Со старцем делали все, что хотел народ».

Труп Амвросия еще валялся несколько дней у колокольни, там дежурили особенно яростные и не позволяли труп убрать и похоронить.

Теперь мятеж охватил всю столицу. Опустошали дворцы. Из купеческих домов и лавок выволакивали семьи и прислугу и убивали. Нищие и пьяные девки облачились в наимоднейшие материи: петинет, штоф, изарбет, белокос, грезет, транцепель. Ели все съестное и тут же умирали от заворота кишок. Ненависть — бушевала неумолимо. Уже убивали докторов и аптекарей и заталкивали им в рот их рецепты. Рецепт от чумы: по одному золотнику — нашатыря, камфары, острой водки, нефти белой, скипидару красного, один красный стручок, 0,5 стакана ренского уксуса, 0,5 штофа пенной водки, все это смешать и поставить где-нибудь в тепле, в комнате, три дня перебалтывая. Учítывая все вышеописанное, действительно этот рецепт — издевательство над тысячами и тысячами умирающих.

Потом все побежали в Китай-город, а там — Красная площадь и — Кремль! На Красной площади торговали всем — от еды до драгоценных камней, золота и серебра. Охотный ряд, на Неглинной у Воскресенских ворот — харчевни, пирожные, фартины — круглые сутки. В Зарядье,

в рядах и около гостинного двора, — 161 харчевня и 116 выносных очагов.

Ряды в Китай-городе: иконный, сидельный, котельный, железный, коробейный, бумажный, манатейный (мантии монахам), саидашный (оружие), кожаный, лапотный, крашенинный, ирошный (козлиная, овечья шкура, замша), плетной, овощной, завязной, суконный, кружевной, золотой, красильный, шапошный, скорнячный, серебряный, ветошный, хлебный, калашный, шелковый, мыльный, сапожный, скобяной, рыбный, самопальный, медовый, москательный, машинный, фонарный, судовой, пушной, подошвенный, свечной, восковой, замочный, игольный, сеledный, луковый, чесночный, шерстяной, семенной, орешный, живорыбный, масляный, кисейный, холщовый, — все ремесло всей России встало перед угрозой катастрофы.

И тогда появился генерал П. Д. Еропкин. Он один из всех генералов не уехал из Москвы. Он сказал, что стар и рискует только жизнью. Он объехал все гауптвахты и самовольно принял на себя командование.

В Кремле было четверо ворот: Спасские, Никольские, Вознесенские, Боровицкие. На Спасских воротах опустили железные решетки и забили замки. В остальных трех воротах поставили пушки.

Еропкин выехал к толпе на белом коне с черным бантом на гриве, сам весь белый со светящимися старческими волосами, с черным же бантом на худой и голой шее. Театральный кавалер и честный командир, известный любовными приключениями и неукоснительной справедливостью, он, стоя на стременах, срывающимся от напряжения голосом сказал речь: хватит грабить и убивать, не время, не война, но свирепствует смерть-чума, нужно сражаться отважно с ней, а не друг с другом. Кремлевские сокровища от смерти не спасут, а спасут только лекарства и карантин, и дисциплина.

Два известных вора, Василий Андреев и Иван Дмитриев, не давали Еропкину говорить, хватили за стремена и кричали:

— Прочь, прочь, старик! Не твое дело!

Он закричал на них старческим писклявым голосом:

— Не верьте вора! Я прикажу стрелять! Больше никак не спасти — вас же! Вас сто тысяч, а ворья — сотня!

Никто не подозревал, что в Кремле солдаты и пушки, и толпа расхохоталась:

— Стреляй! Не страшны пули и пушки!

И толпа, развеселившись, бросилась к Спасским воротам. Швыряли камни в солдат, карабкались по решеткам и перебрасывали за ворота свирепых собак, поджигали солому в деревянных ведрах и выплескивали за стены, били кувалдами по замкам.

И тогда Еропкин тихо пробрался в Кремль через Никольские ворота и скомандовал:

— Стрелять!

Раздался страшный залп. Толпа замерла. На миг. Но потом опять — хохот и вопль: в них стреляли вхолостую, пыжами. Пыжи хватали с земли и запускали в небо. С еще большим воодушевлением навалились на решетки. И уже решетки стали прогибаться, прутья раздвигали лопатами, замки были расплющены и сброшены, в щели уже пролезали самые ловкие. . .

И тогда был дан второй залп. Шесть пушек от Никольских ворот ударили полным зарядом — ядрами и картечью. Залп в упор — одно ядро убивало несколько десятков, площадь опустела до Ильинской улицы, только стон, кровь, трупы, раненые. . .

По свидетельству современника, «сие самое и положило конец всей этой трагической сцене. Ибо не успели все находившиеся перед прочими воротами толпы услышать пальбу и вопли раненых и увидеть бегущий прочь народ, как и сами начали разбегаться врозь, и в короткое время не видно было нигде по всей Москве ни малейшей кучки и скопища, полиции оставалось только ловить и вытаскивать из винных погребов тех, кои пьющие в них были заперты».

Как это ни странно, расправы с народом не последовало. Были повешены только двое: подстрекатели Василий Андреев и Иван Дмитриев.

Державин все это время стоял на карауле у головинского дворца. Он не участвовал непосредственно в этих событиях, но события участвовали в его судьбе: он бежал от чумы и вынужден был сжечь свои стихи.

9

Вестовой — это солдат «на вестях». Он освобожден от караулов и от повседневных строевых занятий. Вестовой — адъютант у офицера.

Теперь Державин много ел и отсыпался днем. Повара заискивали перед ним — ближе всех к начальству. И ел вестовой уже не на свои деньги, как все солдаты, а с офи-

церского стола — что останется, попадались и деликатесы, всякие крем-брюле и мармелады. Упражнения с мушкетерами и саблями, барабаны, шагистика — солдаты на воздухе, им все время, как детям, хочется сладкого.

Он служил ночью. Полк стоял в Москве, на Никитской: неоштукатуренные казармы из красного кирпича. Свечи в Москве в эту зиму (почему-то!) пропали, темно — и ложились спать. Часов около семи вся Москва уже еле-еле теплилась во тьме: несколько немых огоньков. В такие ночи на улицах безлюдно и безлунно. В метель собаки маются. Царство камня, снега, собак.

Державин купил меховую шапку не по уставу и меховой шарф. И это теперь простили.

Днем военачальники диктовали приказы: что делать, чем занять себя офицеру и чем офицеру занять своих солдат. Предусматривалось и состояние погоды: на случай метели, снегопада, гололедицы, если солнце и мороз и если солнце без мороза, при бессолнечном небе... такому офицеру в таком-то случае делать то-то, а такому-то совсем не то. Ни у одного из вышеупомянутых офицеров не хватало ни доблести, ни времени разобраться во всей этой галиматье, и никто — ни в какую погоду — ничего не делал. Играли в покер и искали свечи. Хорошего вина тоже не было. Да никто из пехотных офицеров никогда в жизни и не пил хорошего вина. По утрам денщики застегивали сани и ехали за самогонкой в соседние деревни. Кони летели — с бубенцами!

Сегодня еще не настоящая метель. Он шел, перевязав валенки веревкой (под коленками), чтобы не попал снег. Сегодня он шел на последнюю улицу, к седьмому в эту ночь офицеру — к прапорщику князю Козловскому, поэту.

А месяц назад Державин стоял на карауле за Головинским дворцом, на немецкой слободе. Там жила государыня. Жила — символически, потому что уже давно переехала в Петербург, но у дворца выставляли охрану.

Его привели в будку. Он стоял с мушкетом и замерзал. Ни одному самому отпетому царевушке не придет в голову в такую метель выходить из дому. Любой караульный ушел бы и спал. Но не Державин.

Он не спал уже несколько ночей, не спал и сейчас, грезил, замерзая.

Слышались музыкальные аккорды, мелодии полонезов или фанданго. Кивала императрица своим белым лицом с красными сочными губами. Кивали иностранные графы

в малиновых чулках. Лакеи несли на серебряных подносах красную икру в серебряных соусницах, бутылки черного шампанского, цыпят копченых и ананасы. И все это — на паркете, составленном из квадратов желтого и красного льда под хрустальными колоколами люстр. Вот что происходило.

Ничего не происходило.

Дежурный офицер Текутьев запил, и его хватились только к утру, когда толпы больных людей громили ворота Кремля. Державин должен был стоять в карауле четыре часа, а простоял семь. Он не мог уйти: в Москве масса грабителей; или вдруг лазутчики прусского императора Фридриха с минуты на минуту похитят северную Семирамиду.

И все-таки он испугался. Изю всех сил он стал колотить по доскам караульной конуры нечувствительными руками и ногами. Будка рухнула. Часового ударило верхним бревном по голове, и он уже не выбрался из-под этого хлама.

Опоздавшая смена с трудом откопала его. Он упал грудью на обнаженное острие тесака (случайно сам воткнул рукоятью в снег), и только толстый тулуп спас поэта от смерти.

Слухи о преданности часового, преданности, безусловно легендарной в этом хаосе разгильдяйства, пьянства и панибратства, дошли до двора. За героизм Державина освободили от караулов и определили вестовым.

Сегодня он шел по пустырям к прапорщику князю Козловскому.

Закутанный в платки — огромная старуха или слепой, — он проверял тростью глубину снега, а потом делал следующий шаг. Слава богу, он хорошо ориентировался в окрестностях офицерских квартир. Никакой исполнителности: ни дворники, ни солдаты снега не разгребали. На Пресне бушевал белый океан.

Но сегодня случилась какая-то странная метель. Все было как в хорошую мартовскую ночь: луна и луна, звезды и звезды, небо и небо, — все по-мартовски. Хорошо ходилось и дышалось. Пустыня безмолвия, каменные миражи, а он — отшельник-пустынник с посохом мира шествует не с ордерами к офицерам, а с посохом счастья и византийскими пергаменами куда-то туда, где сначала синий мрак, а потом вдруг все вспыхнет Константинополем с минаретами и крестами, с девушками восточного происхождения, играющими на лютнях, арфах или цит-

рах. И вот во дворце он прочитает визирям свой перевод с немецкого «Иронда, или Письмо Вивлиды к Кавну». . . и он очнулся от боли в лодыжке.

Державин отдернул ногу, огляделся.

Лаяли собаки. Полутьма.

У самого лица — большие кружева снега.

Лаяли собаки и бросались.

Они вылетали из тьмы, их не кормили и не пускали в дома, они стадами бродили по Москве, их стреляли и травили мышинным ядом, — бессмысленно, их было все больше и больше. Они подкарауливали одиноких путников на пустырях, набрасывались и сжирали.

Державин замечтался и не заметил, что подошел уже к дому Козловского и это из домашнего окна — рассеянный слабый свет. А в окне двое мужчин пили что-то из больших бокалов, и над ними висела люстра со свечами. Мужчины пили — во время чумы рекомендуется пить.

Собачья свора не боялась и света. Два пса уже вцепились в плечи, один рвал шапку, другой скакал перед самым лицом, пытаясь укусить в лицо.

Он выхватил тесак.

Собаки кувыркались в хлопьях снега, он — сам бросился на них.

Счастье снега и бешенства, — с расцарапанным лицом, в лохмотьях меха, с прокушенной кистью и голенью, — когда он опомнился, и все еще махал тесаком, собаки лаяли (где-то!) или (сколько-то!) в слабом свете снега (окна!) дергались, ползали и уползали, повизгивая и воя, и пятна крови чуть-чуть дымились, почему-то не красные, а мокрая метель почему-то прошла, а снег был осыпан собачьей шерстью.

В руке осталась лишь рукоятка от тесака, и руку сводила судорога, он отбросил рукоятку. Было больно. Но приказ отнести нужно.

В квадрате окна по-прежнему сидели двое, один держал трубку, она дымилась, второй так же держал большой бокал. Оба были без усов, с бакенбардами, в халатах.

Один был князь Ф. А. Козловский, самый безалаберный эрудит екатерининской эпохи, это его Екатерина посылала с письмом и со своим портретом к Вольтеру, это он написал комедию «Одолжавший любовник», это он через семь лет, храбрейший из офицеров екатерининского флота, герой Чесменской битвы, взлетел на воздух вместе с кораблем «Евстафий».

Второй был В. И. Майков, прославленный стихотворец.

Ни первый, ни второй не оставили в русской литературе никакого следа.

Но сейчас Державин благоговел перед стихами Козловского и ставил его даже выше Ломоносова, а Майков для вестового был вообще недосыгаем.

Державин протянул поэтам приказ. Он боялся войти в этот изысканный аристократический дом, где хозяйева пили за французским столиком черного дерева, и пили правильно: пунш из хрустальных бокалов с позолотой, чай из фарфоровых чашек, разрисованных китайскими цветами.

Державин протянул из-за двери только руку, чтобы не осветилось никак его мясистое расцарапанное лицо с бровями, нарисованными, как у клоуна, и в глазах у него заплясали голубые огоньки пунша, и в глазах у него потемнело от запаха колбас, копченых, свежих, немецких, они были подвешены к люстре, две дивные нежно-красные связки, и еще Державин смотрел из полутьмы как зачарованный на огромный, как мельничный жернов, швейцарский сыр, наполовину засунутый под кровать вместе с сиреневым дамским халатиком и лакированной дамской туфелькой нежнейшей величины. На сыре были нарисованы круги и виднелись следы от пуль: в свободное время сыр использовали как мишень.

Когда Державин протянул в комнату руку с приказом, а сам не вошел, постеснялся, и только доложил, как полагается, никто из двоих не шевельнулся, ибо Майков читал взволнованным голосом собственную трагедию с персонажами, заимствованными из комедий Вольтера, а Козловский слушал с горящими от волнения глазами и что-то время от времени восторженно восклицал.

Державин тоже заслушался и неожиданно для себя тоже что-то воскликнул.

Тогда Козловский повернул свою чернокудрую римскую голову к двери, не глядя и не видя вестового, трагик запнулся в недоумении, а князь сказал звонким мальчишеским голосом вестовому, за дверь, в коридор, как никому:

— Иди, солдатик, с богом, чего тебе попусту зевать? Ведь это — стихи, ведь ты во всем этом ни-че-го-шеньки не смыслишь!

«Сие было в марте месяце 1770 года, когда уже начало открываться в Москве моровое поветрие. В Твери было удержал его некто из прежних приятелей, человек распутной жизни, но кое-как от него отделался, издержав все свои деньжонки. На дороге занял у едущего из Астрахани садового ученика с виноградными к двору лозами пятьдесят рублей и те в новгородском трактире проиграл. Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во все течение своей жизни берег. Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или на Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем, то и старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было. Но как был у него один сундук с бумагами, то и находили сундук препятствием. Он, чтобы избавиться от него, сжег при караульных со всем тем, что в нем было, и, преобратя бумаги в пепел, принес в жертву Плутону все, что он во всю молодость свою чрез двадцать почти лет намарал, как-то: переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и стихах. Хороши ли они были или дурны, того теперь сказать не можно. Но из близких его приятелей кто читал, весьма хвалили».

Так Державич написал в своих «Записках».

Первый и последний олимпиец русской литературы, поэт в двадцать семь лет сжег все, что написал за всю жизнь, и, как мы видим, относился к своему творчеству совсем не снисходительно. Никакой боли, никакой истерики, — «весьма хвалили». Для всех последующих поколений поэтов такой поступок был немислим ни при каких обстоятельствах. Они предпочли бы смерть собственную смерти литературной. Если бы Лермонтов в двадцать семь лет сжег свои стихи — такого поэта не существовало бы в природе. (Он ведь тогда почти не публиковался.)

Рукописи — превосходно горят, ибо это, в конечном счете, всего-навсего бумага.

Сгорели тысячи свитков Александрийской библиотеки, и ни один из них — никогда — не будет — восстановлен. А в этой библиотеке были собраны сокровища человеческой мысли и культуры за много веков. Погибли почти

все рукописи Феокрита, Каллимаха, Аполлония Родосского, Сафо, Алкея, Пиндара, Коринны (а она пять раз побеждала Пиндара на поэтических состязаниях). Затерялись пьесы Еврипида и Софокла.

Ушли в небытие романы Франсуа Вийона, множество пьес Лопе де Веги.

Были сожжены дневники Байрона. Затонули последние стихи Шелли. Не найдены дневники Пушкина. Двадцать стихотворений Лермонтова существуют только в немецком переводе. Потеряны дневники, письма и стихи Мицкевича. Была сожжена турками целая западнославянская литература. Была уничтожена монголами, а потом Петром I почти вся древнерусская и церковно-славянская литература.

Невозвратны десятилетние молчанья Гёте и Толстого. Запечатаны и частью потеряны французские романы Тургенева. Сожжены главы «Мертвых душ» Гоголя. Не найдены стихи и статьи Цветаевой. Уничтожены письма Маяковского и Горького. Сожжен семейный архив Блока. Уничтожены стихи и письма Мандельштама. Хлебников сжег сотни своих стихотворений и поэм.

Это — только известные имена. А сколько погибло безвестных художников. В нищете, в болезнях, в концентрационных лагерях, в моабитах.

Державин единственный из русских поэтов отнесся достаточно хладнокровно к своему творчеству. Он не принадлежал еще к тому типу художника, который появился в девятнадцатом веке и утвердился в искусстве.

Для Державина стихи были лишь составной частью его жизни и деятельности. Он в равной мере любил себя и за то, что он министр, и за то, что он написал оду «Бог».

Последующие поколения поэтов меньше увлекались деятельностью и больше — творчеством. Для них стало равноценным: дыхание и творение. Над ними в меньшей степени довели ремесленные занятия, потому что им уже несравненно проще было всходить на пьедесталы технической оснащённости стиха, пьедесталы, построенные в муках Тредиаковским, Ломоносовым, Державиным. Но если Ломоносов и Тредиаковский были еще только теоретиками и риториками, то Державин был уже поэтом, соединяющим в своих стихах так называемую «форму» и «содержание». Он первый понял, что стихотворение — это такое же живое и трепетное существо природы, как человек, цветок, животное. Оно не просто написано, а — рождено, как все в природе, в муках и имеет равноценное

право со всем живым — на жизнь, и, как все живое, его можно — убить, по непониманию, по рассеянности, из ненависти.

Стихи для Державина не были *психологическим состоянием*.

Они были досугом.

Он писал в предисловии к «Анакреонтическим песням»:

«Для забавы в молодости, в праздное время и, наконец, в угождение домашним писал я сии песни».

О службе Державин писал со всеми подробностями, с пафосом. Он писал о себе:

«Какие он оказал ревностные услуги в статской службе».

Но.

1788 год. Царствование Екатерины II.

Выписка из объяснений и записок Державина. Как всегда, он пишет о себе в третьем лице:

«. . . он был утеснен некоторыми вельможами, по клеветам их удален с губернаторства (в Тамбове) и отдан под суд Сената. Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Вследствие чего он написал оду «Изображение Фелицы» (посвященную прелестям Екатерины). Государыня, прочетши оную, приказала на другой день пригласить автора к ужину и приказала приглашать его в эрмитаж и прочие домашние игры, как-то — на святки».

Он был освобожден из-под суда и стал статс-секретарем Екатерины.

1797 год. Царствование Павла I.

В первые же дни царствования Павел возненавидел Державина.

Выписка из «Записок» Державина:

«. . . Державин был в крайнем огорчении и, наконец, вздумал он без всякой помощи посторонней возвратить к себе благоволение монарха посредством своего таланта. Он написал оду на восшествие его на престол («Ода на новый 1797 год») и послал ее к императору. Она полюбилась и имела свой успех. Император позволил ему приехать во дворец и тогда же дал приказ впустить его в кавалерскую залу».

Державин стал государственным казначеем Павла.

1802 год. Царствование Александра I.

Опять неурядицы и ненависть министров. Державин пишет оду. Называется она «К царевичу Хлору». Посвя-

щается прелестям Александра. Император назначает Державина министром юстиции.

Но сей фавор краток.

Восьмого октября 1803 года в 10 часов утра Державин был вызван в кабинет к Александру.

Министр ходил тяжелыми шагами по красному ковру и, машинально пересчитывая цветочки на ковре, исповедовался юному монарху. Поэт забрасывал мясистые руки за спину, сплетал и расплетал за спиной мясистые пальцы, теребил пальцами мочку левого уха (болело!), ухо совсем раскраснелось и горело. Державин перечислял все действия, все свои заслуги. Он разволновался, его брови, нарисованные, как у клоуна, летали вниз и вверх по мясистому морщинистому лбу. Державин знал: уже написан приказ об отставке. Ему было горько и тошно, и он отчитывал императора как провинившегося мальчишку. Вся эта мясистая махина ходила по красному ковру тяжелыми шагами.

Император тихонько пошевеливался за столом, поднимал на Державина глазки-васильки, пушистые ресницы, император стеснялся, как девушка, царь сидел в деревянной позе (или — стеклянной!), белые пальцы блуждали по столу, наманикюренные ногти отстукивали какой-то механический марш (по лакированному, как рояль, столу), государь вздыхал, чтобы как-то выразить соболезнование, покашливал.

Александр знал: эта аудиенция — уже область предания.

Шумели администраторы нозой формации: Сперанский, Чарторижский, Новосильцев, Кочубей, Строганов.

Александр терпеливо и рассеянно слушал своего министра, сердце стучало. Предчувствие радостной разлуки. Царь и боялся творца-буйвола, и уважал его деспотическую честность, и мечтал поскорее избавиться от Державина — тирана правды.

Буйволы вымирали. Самодержавие превращалось в энергичную и элегантную политику. Дипломатия: интимные реформы, ласковые ловеласы — блестящие пустословы, ораторы Сената.

— Так в чем я виноват? — произнес Державин голосом палача.

Император боялся пространных объяснений. Деликатность: Александр улыбнулся изо всех сил, раздумывая и сказал:

— Ни в чем. Не виноват. Ты *слишком* ревностно служишь.

Державин остановился. Остановились и его брови. Министр юстиции побагровел; побледнел, как маска, матовая.

— Ах так, государь. . . Ах вот как! — прошептал Державин в бешенстве. — Раз так! — Державин задыхался, перебирал какие-то слова, шевеля толстыми губами, — успокоился, но, не глядя в глаза императору, машинально повторял: — Ах так! Ах вот как! — пересчитывая машинально бесцветные цветочки на красном (меховом, лисьем, что ли?) ковре.

Державин стоял с опущенным лицом. Переступил с ноги на ногу, тяжело. Потом произнес быстрым голосом:

— Раз так, по-другому я служить не могу. Не умею, не мальчик. Не представляю. Нет сил! Я служил слишком ревностно. . . Простите!

Повернулся, не раскланялся — каменный Командор; пошел к двери, схватил ручку, серебряную, ледяную, схватился за дверную ручку, как за рукоять шпаги, не повернулся, а повернул к Александру грозную голову, так уж получилось — влоборота.

— Простите! — воскликнул Державин истерическим голосом и побежал из дворца по коридорам, туманным и мутным, где повсюду маячили и мерещились туманные и мутные фигурки человечков, побежал из дворца по всему дворцу в растрепанных, гремящих, как деревяшки, башмаках, — побыстрее! потому что! — заболели еще и зубы, челюсти сводили судороги!

Какие же награды он получил за службу и какие за стихотворения? (Ведь он описывает службу с любовью и страстью, а о стихотворениях почти не пишет совсем.)

За службу:

за тариф — золотую табакерку с бриллиантами;

за сочинение устава банков — бриллиантовый Мальтийский крест;

за составление расписания доходов — 10 000 рублей.

За стихотворения:

за оду «Фелица» — золотую табакерку с бриллиантами и 500 червонцев;

за оду «На взятие Измаила» — золотую табакерку с бриллиантами;

за оду «На рождение великого князя Михаила Павловича» — золотую табакерку с бриллиантами;

за оду «На Мальтийский орден» — золотую табакерку с бриллиантами.

Итак:

за сорок лет беспрецедентной исполнительности, службы он получил: 1 табакерку, 1 крест, желтуху, общественную ненависть, обыкновенную пенсию;

за стихотворения он получил: 4 табакерки, 500 червонцев, относительную любовь трех императоров, безопасность существования, восторженную любовь всех сословий России, мировую славу.

11

На поприще сей жизни склизком
Все люди богатели суть.
В течение дальнем или близком
Они к мете своей бегут.

И сильный тамо упадает,
Свой кончить бег где не желал.
Лежит, но спорника, мечтает,
Коль не споткнулся бы, — догнал.

Г. Р. Державин. «Горелки»

В 1793 году Г. Р. Державин был статс-секретарем императрицы Екатерины II. Державин любил служить и мечтал стать министром.

Царское Село.

Сад.

Фонтаны.

Каменные фавны.

Июль. Державин вышел в сад. Императрица прогуливалась. Блестела ее малиновая мантия. Блестело солнце и трава. Императрица играла с внуками: с великими князьями Александром и Константином. Екатерине было 64 года, Александру — 16, Константину — 14. Подростки были в голубых мундирчиках с блестящими серебряными пуговицами. Болтались шпажки, а внуки играли в «горелки» — бегали по саду.

Дети-то веселились, но Екатерина была невесела. Она присела (под дубом, попрохладнее) на бархатную персидскую табуретку. Императрица повесила седую голову (тяжелую, в бриллиантах), призадумалась и не веселилась. Она была больна. Она пригорюнилась. На глаза нависла полунакрашенная-полуседая прядь волос.

Нужно было бы развеселить. Окружающие ее придворные делали сверхчеловеческие попытки развеселить

государыню. Они кривлялись и кувыркались, — чепуха, ее состояние оставалось по-прежнему меланхолическим.

Державина попросили, и он присоединился. Он стал играть с двумя великими князьями в «горелки» — бегать. И вот Александр и Константин, хохоча, побежали по лугу. Они бежали что есть духу, их голубые мундирчики совсем растворялись в голубом воздухе, мелькали только пуговицы на фалдах. Державин — за ними! Но на лугу попадались ямки, трава-то сухая, но скользкая, а Державин уже тяжел и стар.

Этот бешеный бег закончился плачевно.

Державин споткнулся, опрокинулся и упал у пруда, где плавали королевские карпы и видно было, как они тихоно плавают.

Державин писал о себе: «Он так сильно ударился о землю, что сделался бледен, как мертвец. Он вывихнул в плече левую руку. Великие князья подбежали к нему и, подняв едва живого, отнесли в кабинет».

Державин писал дальше: «Сей столь непредвиденный неприятный случай был и политическим падением автора, ибо в сие время вошел было он в великую милость у императрицы, так что все знатнейшие люди стали ему завидовать. Но в продолжение шести недель, на излечение его употребленных, когда не мог он выезжать ко двору, успели его остудить у императрицы так, что, появясь, почувствовал он ее равнодушие».

Гаврила Романович Державин родился в июле 1743 года.

Этот «случай» произошел в июле 1793 года.

Так великий поэт отпраздновал свое пятидесятилетие.

Державин достоверно описывает падение у пруда, но упрощает причины своего политического паденья.

Потому что.

Через шесть недель, «на излечение его употребленных», Екатерина II поручила своему статс-секретарю дело Сутерлянда. Банкир Сутерлянд брал деньги из государственного казначейства. Цель: пересылка денег в Англию. Во всех бухгалтериях было известно: Сутерлянд отправил в Англию 6 000 000 гульденов (2 000 000 рублей). Все шло хорошо.

До поры до времени. Английский министр финансов все-таки прислал письмо Екатерине, в котором сообщал: никаких денег Англия не получила, никаких. Екатерина потребовала: Сутерлянд, переведите министру государственные деньги. Сейчас же.

Но Сутерлянд — не мог. У него не осталось ни копейки. Он объявил себя банкротом.

Державин расследовал порученное ему дело и выяснил следующие любопытные подробности: «Все казенные деньги потрачены были взаимообразно, по распискам и без расписок самыми знатными ближними, окружающими императрицу вельможами, как-то: князем Потемкиным-Таврическим, князем Вяземским (генерал-прокурором Сената), графом Безбородко, вице-канцлером Остерманом и другими. Великий князь Павел Петрович (сын Екатерины и будущий император Российской империи) тоже брал в долг у Сутерлянда. Все брали и никто не возвращал».

Государыня велела поступить по законам.

Сутерлянд испугался суда. Он отравился.

Державин расследовал дело и выяснил, кто сколько брал у банкира.

«Державин входит, видит Государыню в чрезвычайном гневе, так что лицо пылает огнем, скулы трясутся. Завязанное в салфетке дело он внес в кабинет и положил перед ЕЯ лицом».

— Докладывай! Кто воры? — воскликнула императрица.

Державин начал с Павла. Екатерина ненавидела сына за то, что по правилам престолонаследия на престоле должен был быть — он, а не — она. За это Екатерина и ненавидела сына.

Поэтому она не без удовольствия слушала о Павле, причмокивала даже. Она перебивала докладчика, восклицая:

— Мотает! Таскается! По бабам! Строит! Дворцы для кобыл! Бездельник!

Державин доложил о Павле.

— Не знаю, что с ним и делать... — хищно призадумалась Екатерина. И посмотрела на своего секретаря, ища сочувствия.

Державин промолчал. Потом опустил свое мясистое лицо, но приподнял брови, нарисованные, как у клоуна, смешно сморщился и сказал:

— Князь Потемкин-Таврический потратил больше.

— Ну уж и больше! — рассмеялась императрица естественно.

— В двенадцать раз больше, — невозмутимо продолжал Державин. — Потемкин растратил восемьсот тысяч рублей — почти половину.

— Ты мне не тыкай! — вдруг взвилась Екатерина. — Потемкин многие надобности имел по службе и нередко издерживал свои собственные деньги. — Екатерина засуетилась, взяла почему-то с мраморного столика бронзовый канделябр с тремя свечами, опустилась опять на свой белый лондонский стул и, помахивая канделябром-трезубцем, как веером, сказала:

— Ах, пустяки! Беру его долги на свой счет!

(Потемкин еще был фаворитом.)

В списке должников опять попался Павел.

— Вот видишь! — возмутилась Екатерина и направила трезубец на секретаря. Теперь она сидела на стуле, как Посейдон с трезубцем.

Она продолжала:

— Как видишь, сей тип все тратит и тратит, не так ли? Это из-за него Сутерлянд отравился, а какой был банкир!

Державин, не поморщившись, сказал холодно. Сказал ледяным голосом:

— Зубов потратил больше.

Екатерина окаменела. Зубов стал одним из любимейших ее фаворитов.

— Зубов потратил в четыре раза больше, — сказал Державин, не отворачиваясь.

Тогда императрица выпустила трезубец, опустила трясущуюся руку и позвонила в колокольчик. Вошел камергер.

Старое фарфоровое лицо государыни налилось кровью. Она молчала и тяжело дышала. Екатерина сказала камергеру (гренадер в красной куртке со шнуровкой):

— Присаживайся, дружок! Посиди, пожалуйста, миленький, пока *этот* докладывает. Он меня чуть не избил! Он прибить меня хочет.

Державин писал:

«С сим словом она вспыхнула, раскраснелась и закричала Державину:

— Пошел вон!»

Поэт пошел. «В крайнем смущенье».

Дело Сутерлянда само собой прекратилось.

На следующий день Державин был уволен от должности статс-секретаря и до самой смерти Екатерины оставался одним из обыкновенных сенаторов.

Где мера иронии?

Где мера сострадания?

Где объяснение тому, что этот мощный экземпляр человеческой породы, поэт с несчастной и буйной биографией бился, как деревянная бабочка в паутине, в условиях российского существования?

Невежда, осмеянный всеми поколениями русских поэтов, бездарный деятель самодержавной системы, ненавидимый всеми поколениями русских администраторов, мракобес, цитируемый с сарказмом всеми поколениями русских историков, пугало монархии, мишень для самовлюбленной демократии, кумир Рылеева и Цветаевой. вождь и защитник всех оскорбленных самодержавием, страстный слуга трех императоров, трагик с высоко нарисованными бровями клоуна, деспот правды. Вопрос в пустыне — для кого администрировал, кому диктовал в «Записках» обличительные документы на самого себя?

Он думал, что он — жертва произвола. А произвол — был его жертвой.

Он думал, что он — подсудимый, а он был — судья современности.

Так в небе внезапно появляется молния, она освещает темные пятна неба и одинокую лодку, а в лодке человека пятидесяти девяти лет, он отбросил парик царедворца и поучителя, он лыс, у него мясистое лицо и мясистый нос, в его жестах нет и оттенка величия министра.

Океан поднимает и опускает лодку, а лысый человек растерян, он один, он в отчаянии, он пьян.

И тогда, когда под ногой нет и камня земли, когда океан все колеблет, и нет сил, и нет равновесия, чтобы описать стихотворение прозой (а Державин составлял такие своеобразные подстрочники для своих стихотворений), — тогда появляется одинокая и мучительная строка:

И с плачем плыть в толь дальний путь . . .

Тут и излюбленные формализмом Державина «п», «л», но это — не механическое звукоподражание его придворных од.

Это — музыка муки, это — гениально угаданная мелодия отчаянья, это библейский плач на водах вавилонских, это понимание художником своей личности, пони-

манье движения своей судьбы по географической карте истории, это — стихотворение «Мореход».

И с плачем плыть в толь дальний путь...

И одна эта строка — уже символ эпохи, и одна эта строка — уже эпопея.

Но как прекрасно все стихотворение:

Что ветры мне и сине море?
Что гром и шторм и океан?
Где ужасы и где тут горе,
Когда в руках с вином стакан?
Спасет ли нас компас, руль, снасти?
Нет! сила в том, чтоб дух пылал.
Я пью! и не боюсь напасти,
Приди хотя девятый вал!
Приди, и волн зная утроба!
Мне лучше пьяным утонуть,
Чем трезвым доживать до гроба
И С ПЛАЧЕМ ПЛЫТЬ В ТОЛЬ ДАЛЬНИЙ ПУТЬ.

СПАСИТЕЛЬНИЦА ОТЕЧЕСТВА

— Скажи, душа моя, — промолвила моя матушка, — не забыл ли ты завести часы?

— Боже мой! — воскликнул мой отец. — Я убежден, что ни одна женщина с тех пор, как сотворена вселенная, не отвлекала человека таким дурацким вопросом!

*Лоренс Стерн
«Жизнь и убеждения Тристрама Шенди».*

ПРОЛОГ



белые ночи спать нелегко.

Даже птицы просыпаются раньше.

Луна, и нет лунного света, все становятся лунатиками. Белые ночи расхваливали только иностранцы. Путешественникам наши ночи сулят приключения. Экзотика.

Но жить в таком трансе — трудно. Наркоз. Сомнамбулизм света. Сны — кошмары.

В такие ночи задумываются преступления и восстания. Только бы уйти в темноту, уснуть, отстраниться от этой своей современности. Все больны. Все рассеяны. Все ненавидят друг друга. Клики клич — и ударят гренадерские барабаны, и взовьются знамена, и покатаются первые попавшиеся головы, ничуть не повинные во всеобщем раздражении. Кто и куда нацелит ваши сабли, я вас спрашиваю, кирасиры, карабинеры, драгуны, гусары?

По чьим ключицам с каким упоением (энергия — раскрепощена!) будете рубить вы, донские, уральские, гре-

бенские, запорожские, малороссийские казаки, калмыцкая и башкирская конница?

Стрелять — лишь бы стрелять. По каким лачугам или дворцам? С какого лафета и каким калибром? В какую толпу и в какого вождя толпы запустите свои ядра вы, пять полков артиллерии, в каждом по десять рот, в роте по десять орудий, — пятьсот пушек?

Какие светлые свершения ожидают инженерный корпус, вас, минеры, и вас, пионеры, кондукторы и разные мастерские люди? Ваши выдумки — военные, ваши нивы — необъятные, просвещение — порохом!

Иди, пехота. Идите вы, гренадеры, мушкетеры и егеря, каким храбрым хором воспоете вы вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее восстание? Лишь бы что-то происходило, лишь бы работали мушкеты и гранаты в вашей сочной и пьяной современности, в животном жире, в блаженном болоте!

На ваших мундирах много меди, на ваших шляпах гербы — позолоченные, ваши плащи — суконные и без рукавов, ваши матери — матерые, ваши отцы — отличные, вам не хватает лишь маленькой женщины с лицом влюбленным и злым, с необъятным чувством собственного достоинства, ваш вождь — ваша страсть, ваша власть!

1

Двадцать пятого декабря 1761 года в Петербурге скончалась императрица Елизавета Петровна. Она царствовала ровно двадцать лет и один месяц. Она пережила свое пятидесятидвухлетие ровно на неделю.

Двадцать лет в России ничего не происходило.

Жить было не страшно и скучно.

Елизавета Петровна, дочь Петра I, тайно обвенчалась с Алексеем Григорьевичем Разумовским, — до фавора он пел в церковном хоре, он был сыном украинца, придурковатого пастуха. Он стал неофициальным императором Российской империи. Официально он был генерал-фельдмаршалом.

Никаких политических преследований.

Преследовать некого. Старые маршалы и государственные деятели сосланы в отдаленные области — еще в первые дни царствования Елизаветы. На ответственные государственные посты она назначала гренадеров из тех, которые помогли ей взойти на престол.

Политику России делали двенадцать гренадеров.

Шла Семилетняя война.

Фридрих II, король Прусский, блестящий полководец, поэт и философ, дважды разгромлен русскими войсками: при Гросс-Егерсдорфе, при Кунерсдорфе.

Русские войска — в Берлине.

Елизавета произвела ревизию крестьянских душ.

Оказалось:

живых крестьян в России 7 153 860

после прошлой ревизии умерло 2 877 767.

Живые платили все налоги (и деньгами, и товарами) и за себя, и за мертвых.

Правительство переполошилось: это — нарушения! Что делать? Как жить?

Елизавета сказала: никаких нарушений нет! Делать, что делалось, — как платили, так пусть и платят! Будем жить — хорошо!

Двадцать лет 2 877 767 мертвых душ, то есть 28,7%¹ всего крестьянского сословия, составляли треть государственного бюджета.

К концу царствования Елизаветы Петровны бунтовало:

монастырских и крепостных крестьян 150 000

заводских 49 000

Итого 199 000

Тысячи крепостных крестьян бежали в Белоруссию и Польшу. 50 000 калмыков со своими стадами и кибитками ушли за Урал.

На заводах графов Чернышевых, Ягужинских, Шуваловых восставали заводские и мануфактурные «работные люди». Восстания не были безобидны, для подавления их использовали целые полки.

Елизавета выпустила манифест: чтобы во всех дворцах Петербурга и Москвы, во всех провинциальных столицах, в каждом дворянском доме имелись железные ошейники с номерными знаками и перечисленный в списке манифеста инвентарь для пыток. Для слуг.

Князь Щербатов, свидетель царствования Елизаветы, писал:

«Елизавета Петровна никакого просвещения не имела. Не знала, что Великобритания есть остров. Она была веселого нрава. Красавица. С рыжими волосами».

Чтобы увеличить свое состояние, вельможи переливали пушки в медную монету. Вельможи завели официальных «метресс».

В России появились ананасы. Появились лимоны и померанцы. Английское пиво. Французские кареты с точеными стеклами. Свежий виноград.

Когда хоронили Елизавету, были большие морозы.

Похоронная процессия — меха Сибири, бриллианты Испании, Италии, Африки, заслуженные ордена и пожалованные ленты, три оркестра, деятели двора, послы иностранных держав, простой Петербург и его слезы, красавицы и любимицы императрицы — карлицы в траурных перьях, солнечное небо, мороз, дыхание лошадей и людей, кортеж карет, лакированные гербы, кучера, прекрасно выбритые накануне по такому случаю, ни один из магазинов не работает, чтобы не отвлекать от шествия, ни один кабак не функционирует, чтобы не было безобразий; похоронная процессия — ни шепотка, и шаг определенный, — дисциплина.

Только один молодой человек, с лицом, запятпанным оспой, в голубой голштинской шинелке, пьяный и подмигивающий, никак не хотел идти похоронным шагом.

Он то забегал вперед (и тогда вся процессия семенила за ним), то останавливался в какой-то мрачноватой задумчивости (и тогда вся процессия останавливалась). И вот получалась толкучка.

Похороны — скачки. Похороны — смешки и кашель. Похороны — анекдот. Виновник — Карл-Петер-Ульрих, принц Голштинский, внук Петра I, племянник Елизаветы Петровны — уже император Российской империи Петр III. Ему было тридцать три года.

Ежедневно в течение сорока двух дней молодая, маленькая женщина с голубыми глазами, с влюбленным лицом посещала гроб. Каждый день по два часа она плакала у гроба, стоя, не присаживаясь ни на минуту. Она плакала тихо и ненавязчиво.

За сорок два дня она стала самой популярной фигурой в Петербурге. Все удивлялись, откуда у нее столько слез. Все знали: никаких родственных чувств — Елизавета ее ненавидела. Это был тоже инцидент, ничуть не уступающий инциденту с похоронами.

Виновница — Софья-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, жена Петра III, впоследствии — императрица Екатерина II.

Она проплакала у гроба Елизаветы Петровны восемьдесят четыре часа. Ей было тридцать два года.

Екатерина жила в Петергофе.

Она очаровательно цитировала Перикла, Солона, Ликурга, Монтескье. Она все знала наизусть: прозу Лесажа и Корнеля, драмы Мольера.

Она ослепляла цитатами из Плутарха, Тацита и Монтеня.

Одухотворенные беседы с офицерами.

Она была прелестна как мыслитель, а остальные ее прелести и кокетство уже оценили все. Екатерина заискивала перед вельможами — и верила только себе.

Императрица позировала офицерам в Петергофе, император жил с графиней Воронцовой в Ораниенбауме. Елизавете Воронцовой было двадцать три года, дочь генерал-аншефа Романа Илларионовича Воронцова, родного брата канцлера Михаила Илларионовича Воронцова.

Супруги встречались только на торжественных церемониях.

И вот императрица пригласила императора. В гости.

Петр приехал в Петергоф. Ловушки не могло быть: Екатерина пригласила мужа с войсками, — пир для пяти тысяч солдат! У нее войск в Петергофе не было.

Предполагалось полюбовное соглашение между ссорящимися супругами.

Накануне императрица удалила из внутренних комнат всех посторонних, даже детей-слуг, даже клоунов, даже своего парикмахера — мальчика-калмыка, даже собак, чтобы случайным смехом или лаем ни одна тварь живая не нарушила сон императрицы.

В девять часов утра из Ораниенбаума приехал Петр III.

Петр III был торопливый император тридцати четырех лет. Пьяница; когда он напивался, говорил гадости о своей империи, не брился, кривлялся, не ел сутками, демонстративно разбрасывал государственные бумаги и импровизировал пьески для своего кукольного театра, в котором сам был директором, режиссером, драматургом, исполнителем всех ролей. Кукол он выписывал из Европы, из Китая, из Индии. Все смеялись над его кукольной коллекцией, над его комическими пьесками, но смеялись потихоньку, а представлениям аплодировали. Паяц-император. Голштинский герцог-паяц — российский император.

Когда Петр III был трезв, он был голубоглаз, близо-

рук и грустен. Он диктовал своему секретарю Волкову манифесты — преобразования государственной системы. Манифесты были настолько грустны и героичны, что выполнять их не было никакой возможности.

Спал он плохо, по утрам его лицо болело и горело. Император приехал без свиты. Несмотря на слухи и сплетни, он делал вид, что императрица — вне подозрений. Он приехал даже без войск.

Он осмотрелся. Потом соскочил с коня, с седла — на ступени дворца! Конь шарахнулся, звякнул простой уздечкой и побежал по тропинке в сад.

У дверей дворца кривлялись фрейлины. Камер-медхен, веселое существо не больше тринадцати лет, в кружевах, сделала кокетливый реверанс и сказала, что государыня еще спят, государыня приказали, простите, ваше величество, никого не пускать в спальню, да и ключ у самой государыни. Девочка отдышалась.

— Спит так спит, пускай. — Когда Петр смеялся, его лицо, изуродованное оспой, бледнело, — жалкое лицо.

Напрасно император пожал плечами и согласился подождать, пока супруга проснется, пошел большими шагами в сад, любуясь, как по песочку, подпрыгивая, бежит пушистая камер-медхен, мелькают совсем женские ножки в металлических тифельках.

Фейерверкер взял палку с веревочной петлей. Он ловил императорского коня, а конь скакал где попало. Фейерверкер набросил петлю на шею коня, но сам повис на палке — конь понес, и у служителя не хватало сил остановить животное. Петр свистнул — конь подбежал.

Но напрасно император привязал коня к алебастровой голове скульптурного чудовища. (Фрагмент фонтана.)

Напрасно Петр обругал чернолицых карликов-лакеев, заставил их снять придворные золотые жилеты и отправиться на гауптвахту. Они принесли ему завтрак, и все было плохо: фрукты недостаточно свежие, лимонад кислый, вино — молодое и безвкусное, бисквиты — соленые.

И совсем напрасно император взбесился, когда он постучал в двери спальни легким ноготком и никто не ответил. Петр выхватил тяжелую шпагу и принялся выламывать замок, но не выломал, а порезал пальцы.

Тогда вспыхнула ярость. Он приказал выставить к чертовой матери дверь, высечь при слугах императрицу, сжечь дотла дворец, всех, кто есть в Петергофе, — в Шлиссельбургскую крепость, сад — вырубить на дрова, отдать крестьянам для собачьих будок, алебастровые

фонтаны разрушить молотом, вызвать все войска из Петербурга и сию же минуту отправить всех солдат в Данию, на войну, зажрались, всю вельможную сволочь арестовать и — под плети!

Он бушевал. Когда появился секретарь Волков, Петр приказал ему записывать все повеления, а Волков записывал грифелем и то и дело убегал за чернильницей, но чернильницу так и не принес.

Все забежали в страхе. Все сбились с ног.

С подсвечниками, ломami, молотками, зубилами челядь бросилась выламывать дверь. Ничего не получалось. Летели и жужжали щепки, но монументальная дверь даже не дрожала.

Откуда ни возьмись на лестнице появился лакей, бошой и пьяный, знаменитый шут Лангуста.

Все рассыпались. Он подошел, ударил титаническим кулаком в дверь, и дверь упала внутрь. А Лангуста, как дурак, запел и ушел. В ореоле силы и славы, мотая лысым шаром.

Петр III расхохотался и приказал приготовить шуту ванну из бургонского. Челядь бросилась исполнять приказ: только бы — с глаз долой!

Но напрасно Лангуста свалил двери: Петр еще надеялся, — мало ли что может приключиться с государыней при ее забубенном образе жизни?

С ней ничего не случилось. Ни один челядин не знал, куда пропала императрица: спальня была пуста.

Екатерина переоделась в гвардейский мундир и тайно уехала в Петербург. Еще ночью. Одна. Она прибыла в расположение Измайловского полка и повела солдат в Зимний дворец.

Там, в Петербурге, уже играли барабаны и поднимались в воздух все птицы.

В Петербурге императора Петра III уже не существовало.

В Петергоф пришли последние пять тысяч солдат императора.

В своем доме и собака хозяин. Свой дом — Ораниенбаум. Императрица заманила войска Петра из его дома в Петергоф. Она оставила в саду даже свои пушки, зная определенно, что у Петра нет артиллерийской прислуги.

Русские офицеры Петра уже сбрасывали голштинские мундиры и прятали их в тайники, и сами прятались,

Так что войска императора стояли в Зверинце попусту, — оплаченные статисты.

Петр III сам принес корзину вина, свечи. Занавесил окна. Он пил и посылал письма в Петербург. Он просил супругу объяснить, что происходит. Что она делает? Что, в таком случае, делать ему?

Вестовых императора беспрепятственно пропускали в столицу, но из Петербурга никого не выпускали.

Двадцать девятого июня 1762 года в двенадцать часов пополудни голштинские батальоны императора, его личные телохранители и гвардия, без единого выстрела сдали Петергоф.

Один бой — был.

Авангардный отряд гусар под предводительством Алексея Орлова первым вошел в Петергоф. Несколько сот голштинских рекрут занимались на плацу с деревянными мушкетами. Храбрым гусарам потребовалось несколько минут, чтобы опрокинуть противника, связать немецких мальчишек, переломать их игрушечные ружья и посадить их в сараи и конюшни.

За этот подвиг Алексей Орлов был возведен в графское достоинство.

Невыносимо слепило солнце.

Солдаты бывшего императора и настоящей императрицы перемешались. Для всех принесли миллионы бутылок, зарезали быков и коров, на угольях поджарили туши, в котлах сварили гречневую кашу, обильно облили расплавленным салом, заправили кашу гусиными шкварками, но бутылки были — только лимонад, вино пообещали к вечеру, пусть совсем выяснится обстановка, и солдаты с достоинством убеждали друг друга: очень это правильное решение, зачем же преждевременно напиваться, вот сделал дело — и гуляй смело, или же — пить пей, да дело разумеи!

В пять часов пополудни Петр III подписал отречение от престола.

Император совсем не спал, он устал от вина, от неизвестности, от трусости собственных солдат, он был небрит, и небритое лицо стесняло его больше, чем пистолеты и шпаги.

В семь часов пополудни по Петергофу прогремела карета: В карету было запряжено двенадцать красных лошадей. Окна занавешаны красными гардинами. На пятках, на железных подножках и на козлах стояли гренадеры в красных камзолах. Они стояли с обнаженными

саблями, с английскими мушкетами. За каретой скакало тысяча двести конвоиров в красных мундирах. В карете под охраной четырех братьев Орловых был Петр III.

Он был без чувств.

С него сорвали парик и били.

Когда перестали бить, увидели, что на висках у него залысины, а волосы совсем седые. Его туловище обмякло, голова болталась.

Над каретой крутилось красное солнце.

Для солдат сегодня был красный день — праздник.

В Петергофском парке, привязанный к алебастровому чудовищу, все еще стоял конь императора.

Через четыре дня, 6 июля 1762 года, Петр III умер — будто бы от первой горячки. Скоропостижно.

3

Были белые ночи.

В пять часов утра Екатерина уехала из Петергофа в Петербург.

Об этом никто не знал. Не знали об этом и вельможи ее свиты: А. А. Нарышкин, князь М. М. Голицын, князь Н. М. Голицын, гофмедик Унгебауэр, граф Ягужинский и камер-юнкер Матюшкин.

Императрица увезла из Петергофа только своего любимца Алексея Григорьевича Орлова. Орлову было двадцать пять лет. Он был младше императрицы на восемь лет.

Остальные были оставлены.

Фигурки для маскировки: если оставлена свита — значит, это специальные заложники и никакой опасности нет.

Предусмотрительность: Екатерина подумала, что так подумает простодушный Петр. И он так подумал.

Но это не были заложники. Она всех бросила на произвол судьбы. Ее не интересовало, что с ними случится, — изменят ли они ей? Убьют ли их?

Не могла же она рассовать в кареты своих приближенных, получилось бы шествие, шумиха, но не таинственное восстание исторического значения.

Она уехала в Петербург по наитию, никак не подготовив ни себя, ни армию.

В последние дни Екатерина позабыла, что офицеры что-то задумали, а именно: сделать ее самодержавной императрицей. Об этом говорили в кабаках и на концер-

тах, а мало ли какие интриги разгораются в молодых головах, когда музыка, фейерверки, застольные тосты.

Вечером были скачки, охота на оленя и большие бутылки. В эту ночь она ничего не хотела, только спать.

Императрица теперь по расписанию занималась гимнастикой и скачками. Пила поменьше. Ела только деликатесы, которые не обременяют желудок. Екатерина толстела. Она была маленького роста, при таком телосложении толстеть — значит превратиться в карлицу.

Екатерина поплутала по спальне, пощупала толстые занавески, ей хотелось красоты, но как непостоянна эта, господи, красота! На солнце занавески так и сверкали, как искры шампанского, а сейчас, в пять часов утра 29 июня 1762 года, в стеклянном свете восходящего солнца, восходящего за тучами, они утратили и живописные эффекты, и красоту.

Она пошла по спальне, босиком по приятному золотисто-зеленоватому паркету. Открыла ключиком потайную дверцу, пошла по саду.

В саду шумели деревья и фонтаны.

Пела простая птица. Или несколько птиц.

С каждой секундой небо становилось нежнее.

Клумбовые цветы распускались как живые.

Звучали комары.

Каменные чаши фонтанов белели. Главные фонтаны еще не включены.

Каменные статуи смотрели слепыми очами.

Около каменной конюшни ходила потихоньку беспризорная курица-пеструшка.

Воздух так тих, как будто окаменел.

По утрам, когда ее никто не видел, Екатерина носила очки. Днем — стеснялась.

Кое-где над заливом летали чайки. Над головой проносилось уже не мутноватое, как ночью, а настоящее небо.

Над заливом трепетали крошечные паруса рыбачьих лодок. Несколько десятков лодок рыбаки расставили по окружности. В каждой сидело два любителя. Со всех лодок опустили в воду сети. Все лодки плавали потихоньку туда и сюда, рыбаки изо всех сил колотили колотушками в днища. Получался страшный подводный гул, перепуганная рыба поднималась на поверхность и металась, попадая в сети. Такая рыбная ловля называется «колотом».

И ее осенило. Колотом! Колотушками по днищу! Вот и весь переворот. Как просто. Рыбу не нужно глушить

порохом, не нужно бить острой. Бескровно. Напугать многочисленностью лодочек и шумом. Постучать коло-тушками. И она сама — в сети! Золотая рыбка!

Охваченная своей идеей и счастливыми предчувствиями, Екатерина пошла в конюшню, чтобы посмотреть на свою любимую кобылу, — не от переизбытка сентиментальности, а так, от нечего делать.

Она открыла дверь конюшни, легкую, как воздух, открыла и упала, и ударилась о что-то нетвердое и тепло-ватое.

Напуганная, императрица вскочила и — увидела: ее Ромео, рыцарь Алехан, Алексей Орлов. Его тело валялось в конюшне, и краски рассвета освещали только лицо. Лицо любимца, — оно с похмелья было изумрудным, глиняные губы.

Расхохотавшись, выхватив лошадиный кнут, императрица стегнула Орлова.

Фаворит вскочил. Не соображая, пряча лицо в ладони, он схватил первого попавшегося коня и выбежал из конюшни. Животное протестующе ржало. Алехан поставил коня на четыре ноги, повернул, как игрушечного, вскочил — и ускакал прочь.

Приблудная курица-пеструшка, до сих пор описывающая бессмысленные круги в окрестностях конюшни, вспорхнула, села на круп коня.

Так и поскакал Орлов с курицей.

На крылатом коне, императрица — за Орловым, а конь тяжело и легко махал крыльями.

Они опомнились на — чем? — огороде. Как в тридесяти царстве. На земле пестрели цветочки неизвестных овощей. На шесте шумело пугало — в мушкетерском плаще, на вершине шеста череп коровы, с рогами.

Возвращаться нельзя — ангелы для анекдотов: Орлов, голый по пояс, но в красных лакированных ботфортах, и кто же? Официальная невеста его брата в спальном пудермантеле, с напмаженными для завивки волосами, босиком и в очках.

Так появился план восстания.

Первый пункт: сбросить очки, не насмешить лейб-гвардию, у вождя должны быть очи орлицы. Екатерина выбросила очки.

Второй пункт: к ним шли два батрака, в белых рубашках, с граблями, оба кудрявые, у каждого в руке мало-сольный огурец. Переодеться. Орлов без лишних слов раздел парней, когда они подошли и остановились в не-

доумении. Орлов бросил им пудермантель и ботфорты, переоделся в батрацкую робу и переодел хохочущую императрицу, вручил коней парням, присовокупив, что передает коней в безраздельное и вечное пользование, а парни стояли в исподнем, кудрявые, в веснушках, с волосатыми ногами, держали дарственные уздечки.

Третий пункт: пройти через петербургские караулы, чтобы не узнали и пропустили. Не узнали и пропустили.

Так началось низвержение Петра III и восхождение Екатерины II.

Орлов носился по Петербургу, поднимая полки, его знали, все охотно поднимались.

Екатерина пудрилась в Зимнем дворце, мазала красной помадой свои и так красные губы, белила и так свое белое влюбленное лицо, делала всякие глаза перед зеркалом — то свирепость, то смиренность, — переодевалась. Гвардейский мундир теперь приобретал двойной смысл: символ восставшего офицерства и непринужденный корсет, — нужно быть пред простой толпой во всем обаянии храбрости и грации.

На эти репетиции ушло четырнадцать часов.

Солдаты восстанья — стояли.

4

По канонам двух дворов обе свиты — Петра и Екатерины — обедали вместе. Объединенные обеды. Их обслуживали карлики финны и монументальные негры в золотых жилетах. Этих уродцев для пикантности разбавляли девушками — воспитанницами, обольстительными.

После обедов стреляли из пушек по воробьям. Не в переносном смысле — да, по воробьиным стаям. Стреляли в стеклянные английские графины — из пистолетов. Стреляли по коллекциям китайских статуэток — из мушкетов. Наклеивали на картон атласные карты и стреляли по жокерам — из луков.

Устраивали шутовские бои.

Самый веселый и трудный бой выдумал обаятельный балагур Алексей Орлов, майор Преображенского полка. Этот бой он назвал «щуки — гладиаторы».

В схватке участвовало пятеро бойцов. Они раздевались, оставляли, по олимпийскому обычаю, лишь набедренные повязки. Бросали жребий, и пять красавиц фрейлин приносили каждому по щуке. Щуки обязательно живые, плескались в оцинкованных лоханях. По условиям

игры, вес щуки превышал пять килограммов. Борцы — на специально построенной площадке, мраморной. Музыканты — на ветвях окружающих деревьев, играли на волынках и валторнах.

Гладиатор брал щуку двумя руками за хвост и старался сбить с ног остальных четверых. Зрелище — самое смешное. Щуки вылетали из рук и летели в толпу вельмож и их любовниц. Все — смеялись. Старцы-сократы, маститые маршалы бросали ломбер и фаро, чтобы посмеяться от души. Щуки вспыхивали в воздухе, на солнце. Чтобы щучьи тела не так просто выскальзывали из рук, борцы предварительно отращивали ногти и закрепляли лаком.

В конце концов разбивали вдребезги всю рыбу, четыре окровавленных тела уносили к лейб-медикам, аплодировали. Из глаз у побежденных — слезы и слезы, но гладиаторы силились улыбаться и улыбались. Победителя, окровавленного не меньше остальных, но еще кое-как представляющего свои две ноги, поднимали на руках двенадцать девушек, преподносили ему жезл — золотой трезубец Посейдона, надевали на его перемешанные с кровью кудри зубчатую корону морского царя.

На эту ночь он оставался королем пиршества, потому что к этому времени настоящий император Петр III, немолимо буйный в пьянстве, уже, как и полагается, отмолился и отбуйствовал до потери сознания, спал в своей спальне под балдахинном.

Этот бой Орлов выдумал для себя: он всегда был победителем. Если он останавливал колесницу, в которую запрягали шестерку скакунов, ухватив ее за заднее колесо, — что стоило ему размозжить пятикилограммовую рыбешку о гордые головы четырех гимнастов!

Победителю позволялось делать все что заблагорассудится. Он и делал. Разумеется, его посягательства не распространялись на императрицу. Разумеется, в большинстве случаев его вниманием овладевала именно она. Несмотря на завистливые протесты кандидатов в фавориты, мечтателей. Екатерина все-таки была обаятельна и хороша: один из последних фаворитов, граф Ланской, получил пуговицы для камзола, которые были оценены дворцовым бриллианщиком Позье в 1 000 000 рублей, — пуговицы за любовь.

Но не всегда эквилибристика со щуками была благополучна. Случались и неприятности. Князь Петр Васильевич Гагарин, девятнадцатилетний претендент на фавор,

прапорщик Измайловского полка, 1 июня 1762 года, из-за отсутствия Орлова, стал венценосцем. В ночь с первого на второе июня он пожинал плоды своей победы в будуаре императрицы, а в девять часов утра, когда уже было солнечно, как днем, он как-то вдруг, никому ничего не сказав, — умер.

На такие игры и пиры приехал Петр III 28 июня.

Он не был в одиночестве, как это казалось. С императором была свита: граф Разумовский А. Г., гофмаршал Измайлов М. М., обер-егермейстер Нарышкин С. К., камергеры князь Гагарин и граф Головин, тайный кабинетский советник Олсуфьев, статский советник Штелин, голштинский тайный советник фон Румор, прусский министр барон Гольц, эстляндский депутат граф Штейнбок, принц Голштейн-Векский, фельдмаршал граф Миних, обер-гофмаршал Нарышкин А. А., шталмейстер Нарышкин Л. А., генерал-лейтенант Мельгунов, сенатор граф Воронцов Р. И., генерал-адъютант князь Голицын И. Ф., генерал-адъютант Гудович, генерал-майор Измайлов, голштинский егермейстер Вредаль, статский советник тайный секретарь Волков, вице-канцлер Голицын, начальник канцелярии от строений Бецкий И. И., а также их супруги, дочери, невесты, несколько свитских вдов и компаньонки этих женщин, а также адъютанты, лакеи, повара, парикмахеры, телохранители, медики.

Кареты, коляски, длинные линейки загроудили весь Петергоф.

Получалась внушительная государственная толпа. Собралось все правительство Российской империи, чтобы отвлечься, повеселиться по-человечески.

Не хватало только молодой императрицы и ее афоризмов. Императрицы-то, к несчастью, и не хватало.

Но в этом никто не был виноват. Ни она, ни они.

Она — потому что не могла же она предвидеть, что на рассвете затеется переворот.

Они — потому что не могли же они предвидеть, что Екатерина ни с того ни с сего уедет в Петербург и будет показывать в столице чудеса и фокусы (стратегия восстания!).

Никто ничего не знал. Что-либо узнать было не у кого.

Они приехали в два часа пополудни.

Жара. Барабаны. Флейты.

Золотые английские кареты, покрытые белым лаком, Форейторы в конюшнях кормили лошадей.

Столы в саду накрывали лакеи-ветераны в крашенных париках, в красных чулках, шерстяных и шелковых.

Но дворец был пуст.

По сравнению с древними маршалами правительства, императрица была еще дитя. Но не настолько, чтобы играть в кошки-мышки.

Солнце сияло во все небо.

Дамы в брюссельских чепчиках; в фонтанах бронзовые статуи греческой мифологии, а дамы дышали воздухом фонтанов. Они говорили, что эллины все-таки оригинальные творцы, а Рим — плагиат.

Фонтаны тяжело шевелились.

Играло четыре оркестра. Котильон, контраданс, кадрили фанданго.

Адъютанты в штиблетах для бальных танцев играли в детский триссет.

Бабушки играли в фараон краплеными картами. И пили кисель из ревеня — эстландский деликатес — от живота.

Фельдмаршал Миних, воевавший в войсках: ландграфа Гессенского, польского короля Августа II, уже собиравшийся перейти на службу к шведскому королю Карлу XII, но Карл XII был убит под Фридрихсгамом, а Миних уехал в Россию и честно и славно служил Петру I, был первым генералом при Екатерине I, президентом военной коллегии при Петре II, генерал-фельдмаршалом при Анне Иоанновне, в 1740 году был главою заговора в пользу правительницы Анны Леопольдовны, был при ней первым министром, Елизавета Петровна лишила его всех чинов и сослала, Петр III возвратил ему все чины и возвратил из ссылки, — Миних ценил Петра III и единственный из вельмож остался ему верен до последней минуты, а после его смерти отказался служить Екатерине, и она его не трогала. Но о нем — ниже.

Классический тип фельдмаршала — толст, губаст, мнителен, — Миних давал советы Петру III. Петр слушал его старческие советы и не следовал им. Так, когда судьба императора была уже решена, Миних посоветовал ему (когда пришли арестовывать Петра) арестовать императрицу и расстрелять ее на месте. Совет, безусловно, хорош, но несколько несвоевремен.

Петр III сейчас играл на скрипке. Императрицы не было — император ждал известий.

Так все шевелились кое-как до трех часов.

В три часа лакеи принесли еще подносы: ликеры, а также вафли, мороженое, фруктовое желе, конфеты, орехи. Подносы расставляли в интимных беседках.

Трубецкой, Воронцов, Шувалов попросились в Петербург. Разузнать обстановку.

Петр отпустил.

Они уехали. Разузнали обстановку. И предали своего императора.

Двое предали одинаково, один по-своему.

Фельдмаршал граф Александр Иванович Шувалов, вдовый фаворит императрицы Елизаветы, приехал в Петербург, полный энтузиазма: отвлечь гвардию, арестовать или убить Екатерину. Петр не приказывал ему ничего, только собрать сведения. Отвлечение, арест и убийство — инициатива Шувалова. Он прокрался в Зимний дворец и с пистолетом в руке вошел в приемную императрицы. Его знали и любили офицеры, беспрепятственно пропустили, но выстрела не последовало. Екатерина подвела фельдмаршала к окнам дворца и попросила: посмотрите на площадь, — там сплошной массой стояли солдаты. Фельдмаршал струсил и без сопротивления присягнул императрице. Так и присягал с пистолетом в руке. То же самое произошло и с фельдмаршалом князем Никитой Юрьевичем Трубецким. Только этот фельдмаршал, когда присягал, вспомнил про пистолет, спрятал за пазуху.

Канцлер Михаил Илларионович Воронцов приехал в Петербург и стал пламенно отговаривать Екатерину: не надо восстания, пускай развиваются мануфактуры и торговля. Императрица возразила. Он — тоже. Тогда Екатерина попросила своих офицеров на минутку выйти. Они вышли. Императрица, ни слова не говоря, дала Воронцову пощечину и пообещала виселицу, — как-никак, дружок, а ты — дядя любовницы Петра; после пощечины канцлер пошел присягать; после присяги Воронцов попросил, чтобы к нему приставили офицера — как будто повели присягать насильно; офицера дали. Так Воронцов обезопасил себя: и струсил — и остался чист.

В Петербурге было восстание. В Петергофе — шутки и анекдоты.

Петр III ходил большими шагами по тропинкам. Он уже напился и показывал дамам спектакли. Он привез с собой весь свой кукольный театр, декорации оставил в карете, а таскал из беседки в беседку охапки петрушек и матрешек, посмеивался, подмигивал, петушился, разыгрывал кукольный фарс: как сбежала в Петербург Ека-

терина и какие это сулит последствия для нее. Последствия он изображал: развешивал кукол на ветвях деревьев и стрелял в повешенные игрушки из мушкета.

В три часа десять минут все увидели: на Большом канале судорожно дергается лодочка — два гребца и крохотный парус. Из лодочки вылетел фейерверкер поручик Бернгорст и полетел к императору, и подлетел к нему и рассказал о суете и панике в столице.

Петр слушал Бернгорста, сидел на каменной тумбе, бросал в фонтан петрушек и матрешек; бросит, опустит голову, потом поднимет голову, плохо улыбнется, послушает и прищелкнет пальцами.

Бернгорст привез фейерверк. Восстание восстанием, а обязанности службы — в первую очередь. Женщины попросили запустить фейерверк, будь что будет, все равно сегодня праздник — тезоименитство Петра и Павла.

— Дамам нужен фейерверк, — сказал Петр пьяным голосом. — Женщины, уверяю вас, заслуживают счастья ничуть не меньше, чем мужчины. — Петр подмигнул Бернгорсту и зло захохотал.

Бернгорст запустил фейерверк. Все рукоплескали. Ракеты были хороши.

Петр бросал в воздух картуз с голштинским козырьком.

Он рассказал, гримасничая, страшные слухи. Слухи были только для императора и касались только его, но никак не женщин. Петр знал, что три четверти дам его свиты — заговорщицы. Он собрал свиту и болтал напропалую, и большое лицо его горело. Он смачивал платок одеколоном и демонстративно растирал лицо. Петр пьянел и расслаблялся.

Император был простодушен, но не настолько, чтобы не предчувствовать предательства. Дамы думали, что он не знает о их зашутельстве, играли в тайну, а он — знал и паясничал. У него были достоверные списки, но ему доставляло удовольствие прикидываться комиком в эксцентричном картузе.

Сопротивляться этой своей своре, холоуям-хитрецам — немислимо! Бессмысленно! — у него не было ни войска, ни товарищей.

И он не отчаивался — отшучивался: что ему не нужны никакие войска, ничья драгоценная дружба, что наши дивные дамы, райские розы — сами крестоносцы, хранители его тела и — да здравствует небо!

Когда белые ночи, не поймешь, когда вечер.

Лишь листья на деревьях становятся темнее, вода в заливе блекнет и становится матовой.

И солнца совсем нет. Нигде.

Свита лицемерно уговаривает Петра: нужно ехать в Кронштадт. Не ехать, а плыть, а правильнее — идти на морских судах, — поправляет Петр и смеется: в Кронштадте заседает комиссия по контрабанде, что же нам там делать? Перебирать контрабанду? Дамы вдохновлены: нужно ехать в Кронштадт, нужно всеми своими силами и мускулами матросов защищать государя от посягательств Екатерины.

Петр знал: если в Петербурге мятеж, то глупо ехать в Кронштадт, успели предупредить и там.

Свиту охватил энтузиазм: в Кронштадт! Сами снарядили галеру и яхту, посадили матросов и гребцов.

Отчалили. Заиграли паруса, и заплескались весла. Солнце уже зашло, но в воздухе еще не остыл солнечный свет. Запели. Каждый свою песню. За борт полетели бутылки. Чайки сидели на воде, и в них — стреляли.

Сказали совсем пьяному Петру, что в морской крепости — его спасение. Они сказали, он выслушал и уснул. Потом он просыпался, дремал, опустив голову на грудь, потом выбросил за борт перепутанный парик и ел апельсины. Очищал апельсины от кожуры, ел кожуру с гримами омерзения, а дольки выбрасывал, бросался дольками в девушек-камеристок, а они подходили поближе к его плетеному креслу-качалке, чтобы император лучше рассмотрел их прелестные лица. Он раскачивался в кресле, бубнил какие-то католические песни, размахивая длинными ногами.

В это время Екатерина вышла из Петербурга. Она скакала во главе войск на белом коне, в мундире лейб-гвардии Семеновского полка. Мундир ей ссудил офицер этого полка Александр Федорович Талызин. Ему было семнадцать лет. Он отдал ей свой мундир, другого у него не было, и мальчик все замечательное событие просидел в своей комнате — без мундира его все равно арестовали бы. Он сидел и пил пиво, и заедал пиво воблой, и плакал, тяжело, по-мальчишески. Его слезы впоследствии были вознаграждены. Екатерина любила его один день. Он был младше императрицы на шестнадцать лет. Он был пожалован еще и камер-юнкером. И мундир Екатерина ему возвратила, с приколотой к пуговицам Андреевской лен-

той. Этой лентой императрица наградила сама себя за успехи 28 июня 1762 года. Как фамильная драгоценность, мундир хранился еще сто пятьдесят пять лет в семье Талызиных в подмосковном селе Ольговке, Дмитровского уезда.

...Какой Кронштадт!

Караульный на бастионе, мичман Михаил Кожухов, пообещал стрелять, если фарсовый флот императора приблизится еще хоть на узел.

— Они не посмеют! — с кокетливым страхом восклицали дамы и их компаньонки.

— Посмеют, — сказал Петр трезво. Он перестал прикидываться, пристально посмотрел на небо, на залив, на пушки в гавани, на неясные и хмельные лица спутниц. Никого не слушая, пропуская мимо ушей все страстные советы, император встал: плыть в Ораниенбаум, домой; лихорадило, с похмелья он опять пил.

Он шел на галере.

На яхте были гофмаршалы, министры, депутаты, его приближенные, любимая компания по картам, по девкам, — его двор.

И вот сначала яхта отстала.

Потом на почтительном расстоянии описала круг и обогнула галеру.

Им было проще — у них паруса, галера — на веслах.

Потом яхта взяла курс на Ораниенбаум. Потом на глазах у изумленной галеры яхта изменила курс и пошла на Петергоф.

Император пристально смотрел на паруса предательницы-яхты. Так получилось: последний оплот государя — Кронштадт — уже развращен восстанием. Так яхта, на почтительном расстоянии, без истерики и кровопролития, предала: все гофмаршалы, канцлеры, министры, свита.

Он пристально смотрел на паруса (они все уменьшались и уменьшались, последние крылышки надежды), он был близорук.

Заиграли на мандолинах.

Три часа плыли, пели, играли. Петр три часа пил безвкусное вино. И ничего не ел.

В три часа ночи галера пришвартовалась к ораниенбаумскому причалу.

Офицеры и солдаты императорского гарнизона попрятались.

Дамы засыпали.

Когда что-то праздновали, как сегодня, гарнизон по ночам устраивал гульбища. Петр — позволял. Сейчас праздник был не в праздник, но дамы побоялись постороннего шума, связанного с событиями, и не без хитрости попросили государя распустить гарнизон (чтобы в случае чего императора полегче было бы схватить).

С брезгливой гримасой Петр III приказал своему библиотекарю Штелину: распустить гарнизон.

Утром, хорошо выбритый и простоволосый, в застегнутом на все пуговицы голштинском голубом мундире, император сдал все ордена и сломал свою шпагу. Никто этого не требовал. Но Петр обстоятельно и высокопарно объяснил, что он никогда не чувствовал себя императором этой страны, а только голштинским офицером. Его победили — он сдается как офицер. Еще он сделал официальное заявление: он отрекается от престола только в том случае, если будет иметь на руках бумагу, которая гарантировала бы два условия: женитьбу его на Елизавете Воронцовой и беспрепятственный их отъезд в Голштинию. Екатерина написала такую бумагу. Петр III, даже не читая текст, составленный Екатериной II, подписал отречение. Он повторил посредникам еще раз свои два пункта. Пообещали выполнить честно и в кратчайшие сроки. Обещания еще раз подтвердила Екатерина. Письменными обязательствами.

Не было ни стрельбы, ни бряцания оружием.

В прекрасном настроении Петр пообедал. На обеде присутствовали со стороны Екатерины — братья Орловы, со стороны Петра — Елизавета Воронцова и Гудович. Обедали в отдельном, самом лучшем павильоне Петергофского дворца.

Последний официальный обед: вокруг дворца, чтобы пленнику не позволили убежать, расставили триста grenadier с гранатами, привезли пятнадцать пушек с прислугой и запас фитилей.

Петр прогуливался по галерее и с серьезным и пьяным лицом расспрашивал графа Алексея Григорьевича Орлова, и кланялся grenadierам с веранды:

— Триста grenadier и пятнадцать пушек — на одного! Не страшно вам, войско? Может быть, маловато пороху? Или позвать кавалерию и казаков, — пусть скачут вокруг, все — веселее! Пусть меня увезут в Ропшу, в мой маленький охотничий домик. Клянусь, я — не испарюсь! О, где вы, дети мои? Где, спрашиваю, мой негр Нарцисс?

Мой пес Мопс? Мой доктор-дурак по кличке Лидерс? Где моя скрипка-скрипучка? Буйное бургонское? Табак мой суперфинкнастер? Мой Стерн — «Тристрам Шенди»? Моя девка Элизабет Воронцова?

Алексей Орлов сказал Петру, что Елизавета Воронцова поехала к императрице попросить у нее прощения за то, что Петр, когда еще был под номером III, ее любил, а она ему поддавалась. Екатерина быстренько выдала Елизавету замуж за какого-то дипломата Александра Ивановича Полянского и каждый день оказывает молодоженам самые лучшие милости. Теперь не время думать о бабах — время молиться по Библии в переводе Болховитниова.

Петр сказал, что Орлов еще маменькин молокосос в красных ботфортах, если он до сих пор не понял, что Библия для Петра — блеф, как и любовь.

— Расскажите вашей матушке-императрице вот какую историю, — вдруг опомнился Петр. Спросил гневно: — Почему русских офицеров из моих полков отпустили с триумфом, а голштинских отправили в Кронштадт, в гарнизонную тюрьму?

Орлов объяснил:

— Чтобы никогда больше не были голштинцами.

Петр сказал:

— Объяснение.

Вот что он рассказал.

Когда-то, пятнадцать лет назад, Петр III, как и его дедушка Петр I, играл в солдатики. Ничего предосудительного нет в этой игре. Она развивает у полководцев стратегические способности. Картонные репетиции. И вот Екатерина, как всегда без предупреждения, чтобы захватить его врасплох, вошла в комнату. Он только-только повесил крысу и со страхом смотрел, как животное конвульсирует. Правда, грустное мальчишеское любопытство. Екатерина спросила с хитренькой непосредственностью — это она хорошо умела, так спрашивать: какой смысл имеет и что за символ сей сентиментальный спектакль — казнь крысы? Затаив дыхание, чтобы не расплакаться или не ударить девицу, юноша мужественно признался: эта зверюга, пользуясь темнотой, пробралась в крепость, которую он сам склеил из картона, и совершила непростительную диверсию — съела всех часовых, которых он с такой любовью сам вылепил из крахмала. Это он расценивает как военное преступление. Легавая собака поймала крысу, и вот полюбуйте, любовь моя,

тварь повешена по заслугам. Петр отошел и уже бравировал. Тогда Екатерина расхохоталась, а Петр взбесился. Вся эта история случилась не просто так. Своего рода предсказание. Все получилось, как предсказывалось.

КОМЕНДАНТ построил себе КАРТОННУЮ КРЕПОСТЬ. И сделал ЧАСОВЫХ ИЗ КРАХМАЛА. И КРЫСА, воспользовавшись темнотой, съела ЧАСОВЫХ и захватила бастионы. А ЛЕГАВАЯ СОБАКА побежала: не за крысой, а за КОМЕНДАНТОМ. Для счастливого финала сказки не хватает, чтобы КОМЕНДАНТ был повешен.

— Туманные аллегории! — сказал Орлов.

Император сказал:

— Ну, нет. Не аллегории. КОМЕНДАНТ — я, КРЕПОСТЬ ИЗ КАРТОНА — моя империя, КРЫСА — императрица, ЛЕГАВАЯ СОБАКА — ты. Просто, не так ли?

Петра III увезли в Ропшу, кое-кто видел его карету и конвой. Кучером была сама Екатерина II. Одной рукой она держала вожжи, в другой держала кнут, хлестала лошадей. Солдаты кричали «ура». Маленькая победительница с голубыми глазами и с влюбленным лицом всех приветствовала, размахивая кнутовищем, и — плакала!

Четвертого июля 1762 года к Петру III был вызван его врач Лидерс. Диагноз: состояние удовлетворительное, ни улучшений, ни ухудшений.

Пятого июля к Петру III был вызван штаб-лекарь лейб-гвардий конного полка Христиан Паульсен. Диагноз: состояние тяжелое, предсмертное.

И четвертого и пятого июля Петр III не просил вызывать ему врача. Он и не знал, что их специально вызывали. Он думал: это соблюдение этикета.

Шестого июля в четыре часа пополудни император Петр III скорострительно скончался в Ропше. Ропша — местечко между Петергофом и Гостилицами.

Указом от 6 июля 1762 года штаб-лекарь лейб-гвардии конного полка Христиан Паульсен был произведен в надворные советники. . .

Впоследствии в Европу проникли слухи, что государственный переворот 28 июня 1762 года был совершен солдатами, которые находились в состоянии некоторого опьянения.

Короли и философы спросили Екатерину: правда ли это?

Екатерина ответила: неправда.

Она возмущенно возражала.

Потом, в сентябре, когда ее короновали, она сама поощряла употребление алкогольных напитков, потому что ведь коронация — праздник, всенародный! Но тогда, когда происходил переворот, ничего подобного не было и быть не могло, потому что переворот был продуман и все офицеры, да и, нельзя отрицать, и солдаты имели превосходные организаторские способности.

Попробуем посмотреть цифры.

В августе 1762 года, через полтора месяца после переворота, содержатели вольных кабаков докладывали Сенату, что за три дня восстания, с 28 июня по 1 июля, в Петербурге было выпито водки на сумму:

у Генриха Гейтмана	6986 руб. 03 коп.
у Рудольфа Вальмана	2957 » 00 »
у Федора Ахматова	6585 » 20 »
у Алексея Питечкина	3097 » 30 »
у Ивана Дьяконова	4044 » 00 »
у Богдана Медера	4760 » 00 »
Общая сумма	28 429 » 53 »

Кабацкие откупщики докладывали непосредственно Екатерине, что за три дня переворота у них было выпито водки на сумму — 77 133 рубля 60,05 копейки.

Итак, во время восшествия Екатерины на престол всего было выпито водки на сумму:

	28 429 рублей 53 копейки
+	77 133 рубля 60,05 копейки
	<hr/>
	105 563 рубля 13,05 копейки.

Если учесть, что наивысшая цена за ведро водки была — 3 рубля, а что в одном ведре — 12 литров, то за три дня восстания населением Петербурга было выпито 422 252,54 литра водки. Водкой называли самогонный спирт, который имел не меньше 70 градусов.

Россия никогда не имела статистики, а при таких катастрофических пространствах любая цифра кажется обыкновенной.

Страсть к самоописанию вообще подозрительна.

Первые воспоминания о самой себе Екатерина озаглавила «Записки, начатые 21 апреля 1771 года».

Эти «Записки» начинаются такими словами:

«Я родилась 21 апреля (2 мая по новому стилю) 1729 года в Штеттине, в Померании...»

Три тома.

Потом Екатерина пишет «Собственноручные записки императрицы Екатерины II».

Эти «Записки» начинаются такими словами:

«Счастье не так слепо, как его себе представляют».

Но напрасно читатель будет искать в тексте обстоятельных объяснений концепции счастья. Это, как и предыдущие воспоминания, — сага о самой себе. Два тома.

Потом Екатерина пишет еще «Записки».

Эти «Записки» начинаются такими словами:

«Я родилась в Штеттине в Померании 2 мая нового стиля 1729 года».

Очерк.

Потом Екатерина пишет еще «Записки», которые начинаются так:

«Я родилась 2 мая нового стиля 1729 года в Штеттине, в Померании, где мой отец, Христиан-Август, принц Ангальт-Цербстский, был тогда комендантом Прусской крепости...»

Эпическое начало. Но это — лишь первая фраза. Все остальное — пересказ предыдущих признаний.

Потом она педантично записывает все доброжелательные анекдоты о себе. Потом пишет еще и еще «Записки».

Государыня говорила своему секретарю А. М. Грибовскому:

— Не написавши, нельзя и одного дня прожить.

«Записки»...

Знаменательно, что все воспоминания Екатерина заканчивает задолго до 1762 года. И не без умысла.

Тысяча семьсот шестьдесят второй год положил конец выдумкам — началось царствование.

После 1762 года нужно было писать о своем непосредственном участии в казнях, ссылках, убийствах. Сентиментальное детство, сомнительная юность — прошли.

Началась история, а такую историю уже не напишешь девической акварелькой.

Как описать переворот 1762 года? Как преподнести потомству смерть Петра III?

Екатерина понимает, что факты, которые она может еще кое-как замаскировать в переписке, для мемуаров — лживы, мемуары требуют объяснений, подробностей. Мемуары будут исследовать как судебные документы. Все тайное станет явным. Если есть расплата за радость, то есть расплата и за ложь.

Державин писал:

«Я дерзал говорить Екатерине, что она за всякую слезу и каплю крови народа ее, пролитые ею, Всевышнему ответствовать должна».

За всякую слезу и каплю крови.

Вот почему императрица, со свойственной ей в таких случаях скромностью, не пишет ни о чем, что произошло в 1762 году и после.

Но суд все равно состоится, она это знает.

Поэтому исподволь, как будто объективно, реплика и ремарками, она подготавливает будущих судей: чтобы они были снисходительны к ней и осудили ее супруга.

Реплики и ремарки — они настолько специальные, продуманы, что не остается ни малейшего сомнения в том, что ее алиби — несостоятельное.

Вот как, думая перехитрить читателя, государыня пишет о себе и о Петре III.

О Петре.

Даже отец Петра III, Карл-Фридрих, герцог Голштинский, племянник Карла XII, короля шведского, был *принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бледный*. Петр III *ненавидел* Брюммера (воспитателя) и *презирал* Бергхольца (воспитателя). Кого он любил более всего в детстве, так это Румберга, старого камердинера, шведа. Румберг был ему особенно дорог. Это был *человек довольно грубый и жестокий, из драгунов Карла XII*. В раннем детстве у Петра III начали проявляться *отрицательные* черты характера. С десятилетнего возраста он *пристрастился к пьянству*. Его приближенные с трудом препятствовали ему *напиваться* за столом. Он был *упрям и вспыльчив, был слабого и хилого сложения*. С детства он был *неподатлив ко всякому назиданию*. Время он проводил в *ребячествах неслыханных, то есть играл в куклы*.

О себе.

Даже ее родители оба пользовались *большой популярностью*, были *непоколебимо религиозны и любили*

справедливость. «Отец считал меня ангелом. Меня поручили Елизавете Кардель (воспитательнице) — образцу добродетели и благоразумия. Она имела возвышенную душу, развитой ум, превосходное сердце. Я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью очень интересной, которая без помощи искусственных прикрас и средств нравилась с первого взгляда. С ранних лет за мной признали хорошую память. У меня отняли все куклы и другие игрушки, сказав, что я большая девочка. Белогородский меня уверял и внушал всем, что у меня отличное контральто. Граф Гюлленбург сказал, что у меня философский склад ума».

О Петре.

«Стоило величайшего труда посылать его в церковь. Он большей частью проявлял *неверие*. Он не раз давал почувствовать, что предпочел бы *уехать* в Швецию, чем оставаться в России. Я поняла, что он *не очень ценит* народ, над которым ему суждено было царствовать. Он сказал, что ему больше всего во мне нравится то, что я его *троюродная сестра*. Что, в таком случае, в качестве *родственника*, он может со мной говорить по душе: что ему хотелось бы жениться на Лопухиной, но что он покоряется необходимости жениться на мне. Я слушала, *краснея*, эти *родственные* разговоры».

Она — краснела.

Как будто бы до этого признания Петра и после к этому браку стремился он, а не — она!

Ему «хотелось бы жениться на Лопухиной». Конечно же, для двора это достаточно недалекое и легковесное признание,— накануне женитьбы на Екатерине! — но, так или иначе, оно доказывает юношеское чистосердечие.

Первая мысль о короне появилась в ее мозгу еще в семилетнем возрасте. О чем она, со свойственным ей задором, и пишет:

«Мысль о короне начала тогда бродить у меня в голове».

«Тогда» — 1736 год.

В пятнадцать лет она уже пишет сама себе пророческую записку:

«Предвещаю по всему, что Петр III будет твоим супругом».

Это тот-то, по ее словам, пьяница, который с десятилетнего возраста и вот уже шесть лет как спивается (ему было шестнадцать лет, он родился в 1728 году).

Нет, это не девичьи грезы о любимом человеке. Она уже и тогда его ненавидела.

На какие жертвы только не пошла юная ангальт-цербстская фея!

Всю свою судьбу она подчинила трем пунктам и прокомментировала достаточно точно все эти три пункта — три своих заветных заповеди.

1. Нравиться великому князю.

И Петр, и Екатерина воспитывались при русском дворе Елизаветы Петровны. Петр был наследником престола, а потому — цесаревич, или великий князь; высочество, но еще не величество. Он ее ненавидел и объявлял об этом открыто и ей, и всем. Она его ненавидела, но изо всех сил старалась нравиться. Невеста — лицемерка.

2. Нравиться императрице.

Елизавета Петровна любила Петра, племянника, и не любила Екатерину, постороннюю в России принцессу. Впоследствии Екатерина лгала, что Елизавета перед смертью стала относиться к ней лучше, даже любовней, чем к Петру. Незадолго до смерти Елизаветы Петр заболел оспой. Это было, кажется, где-то на Валдае, во время совместного путешествия с Екатериной и ее тайным любовником Станиславом Понятовским, поляком. Путешествовали в отдельных каретах, и все было как всегда, сообщает Екатерина; они интересовались обычаями и бытом туземцев, расспрашивали простых пахарей, и те раскрывали перед ними русскую душу. А Петр — пил. Пил и заболел. Екатерина струсила: оспа — заразна. Она пересчитала хорошенько все свои вещи, упаковала и увязала, и, не предупредив даже любовника, поскакала в Петербург. Понятовский печально проснулся, подумал спросонья и тоже — поскакал с большой скоростью. Петр остался один. В какой-то безвестной избе, в которой, как пчелы, гудело множество детишек над одним черным чугуном с овсяной болтушкой, в той, как он потом говорил, затаив смертельную обиду, избушке на курьих ножках, единственным украшением которой была икона в уголке, засиженная мухами и спеленутая паутиной. Принцесса даже не попрощалась, даже не оставила ему его же денег. Она и Елизавете сказала не сразу, а подождала несколько дней и сказала, что Петр там умер. Он и умер бы от клопов и от грязной похлебки. Елизавета вообще-то не прославилась добросердечием, но чувствовала честь семьи. Узнав о болезни племянника, она бросила империю и примчалась, загнав несколько десятков

лошадей, на Валдай. Она прислуживала Петру, как обыкновенная сиделка, две недели. А уже тогда она была больна, тяжела и только сидела в своей полутемной спальне, завивала и развивала когда-то роскошные, а теперь полуседые и слабые волосы... После излечения Петра Елизавета совсем слегла. Она никому ничего не прощала — не простила она и предательства Екатерине. Императрица не допустила ее к своему смертному ложу, по придворному этикету — акт непризнания и ненависти.

3. Нравиться народу.

Поскольку дело происходило в России, то, конечно же, — нравиться русскому народу. Она мечтала нравиться, но каким образом осуществляла свою мечту — трудно предположить. Вероятнее всего — десятками тысяч виселиц в Киргиз-Кайсацкой орде.

«Поистине, я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь (она комментирует три пункта): *угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует*, — все с моей стороны постоянно к тому употребляемо было с 1744 по 1761 год, то есть в продолжение семнадцати лет. Этот план сложился в моей голове в пятнадцатилетнем возрасте без чьего-либо участия, самостоятельный план. Я смотрю на него, как на плод моего ума и моей души. Вся моя жизнь была изысканием средства, как этого достигнуть. Я, ставившая себе за правило нравиться людям, с которыми мне приходится жить, усваивать их образ действий, их манеру. Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили».

Жажда любви: она хотела быть русской, чтобы русские ее любили.

Петр III был уже объявленным наследником престола. Конечно же, этот полурусский принц не упал с небес, как драгоценный подарок для тогдашней империи, но был, в общем-то, законным наследником русского престола.

Екатерина была — никто.

Нищая полупринцесса карликовой области Германии, — она имела три-четыре платья, дюжину рубашек из простейшей материи, она пользовалась простынями матери и сочиняла скучные стихотворения.

Поэтому с маниакальной последовательностью Екатерина разрабатывала и осуществляла планы своего восхождения. В том числе и планы супружества. Она писала:

«Что меня касается, то Петр III мне был безразличен, по не безразлична была для меня царственная корона». Царственный циннизм.

Она упрекает Петра III в неверии, что по канонам того времени — большой, главный недостаток. Она подчеркивает, что сама она переменяла веру (лютеранскую на православную) без колебаний. Конечно. Решение было принято: остаться в России. Со своим уставом в чужой монастырь не суйся. Если бы она попала на таких же условиях в Турцию или в Индию, то с не меньшим успехом приняла бы магометанство или буддизм.

Секретари и вельможи Екатерины старательно искали примеры ее человеколюбия и всепрощения.

Но эти примеры — смехотворны.

Пишет полковник Адриан Моисеевич Грибовский, состоящий при ЕЯ особе статс-секретарем:

«Черты ее человеколюбия были ежедневны. Однажды она мне сказала: «Чтобы не разбудить людей слишком рано, я зажгла сама дрова в камине. Мальчик-трубочист, думая, что я встану не раньше шести часов, был тогда в трубе и, как чертенок, начал кричать. Я тотчас погасила камин и усердно просила у него прощения».

Грибовский написал о Екатерине книгу. Он пишет о ежедневных чертах человеколюбия, но приводит лишь один пример. Больше он не вспомнил. А ведь он был ЕЯ секретарем много лет.

Несчастные секретари. С какими муками они отыскивали в своей верноподанной памяти прекрасные случаи. Секретарь Державин вспоминает о том, как императрица раздавала деньги заблуждающимся девушкам, Грибовский вспоминает о том, как императрица не зажарила мальчика живьем, как поросенка.

Екатерина любила легенды.

Случайно получив империю, она приписывала себе родство с Елизаветой Петровной, чтобы внушить русским, что она — русская, и — понравиться. Во все манифесты она вставляла такие безошибочно действующие на русское воображение фразы:

«. . . и наследственный скипетр перешел дочери Петра Великого, возлюбленной тетке нашей, в бозе почивающей императрице Елизавете Петровне».

«Возлюбленной тетке нашей».

Елизавета, к сожалению, не была ни «возлюбленной», ни тем более «теткой нашей» Екатерине. Она была тет-

кой Петра III. Никакая генеалогия Елизаветы не переkreщивается с ангальт-цербстским родом.

О «возлюбленности». Неприязнь была постоянной и взаимной. Елизавета говорила Екатерине:

— Вы воображаете, что никого нет умнее вас. Вы вмешиваетесь во многие вещи, которые вас не касаются.

Как же реагировала на эти унижительные выговоры независимая и гордая Екатерина Великая?

Она писала:

«Я сказала де ла Шетарди, что в угоду императрице буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться».

Она пишет о себе:

«Я была *честным и благородным рыцарем*, мои советы были всегда *самыми лучшими*».

О Петре:

«Он приходил *в отчаянье*. Это с ним часто случалось. Он был *труслив* сердцем и *слаб* головою. Он любил устриц. Гулял и стрелял».

Отчаянье для нее — непростительная слабость, отрицательное свойство. Отчаянье — трусость сердца и слабость ума. Она вменяет ему в вину даже любовь к устрицам и стрельбе.

Какие же «самые лучшие советы» Екатерины?

«Его ум был *ребяческий*. Я была поверенной его ребячеств (он играл со своими слугами в живых солдатиков, как и его дедушка Петр I). Я не мешала ему ни говорить, ни действовать».

То есть она не мешала ему компрометировать себя.

Она писала о своем образовании:

«Я любила читать. Он тоже читал, но что читал он? Рассказы про разбойников, которые мне были не по вкусу».

Она полагала, что ее вкус — самый безошибочный.

Что же, в таком случае, читала она?

Как она читала, просвещенная монархиня Просвещенного Века?

Она проговаривается:

«Я нашла на немецком языке «Жизнь Цицерона», из которой прочла пару страниц, потом мне принесли «Причины величия и упадка Римской республики». Я начала читать, но не могла читать последовательно, это заставило меня зевать. Но я сказала: «Вот хорошая книга!» — и бросила ее, чтобы возвратиться к парядам. «Жизнь зна-

менитых мужей» Плутарха я не могла найти. Я прочла ее лишь два года спустя».

Грибовский писал:

«Она знала почти наизусть: Перикла, Ликурга, Солона, Монтестье, Локка, и славные времена Афин, Спарты, Рима, Новой Италии и Франции, и историю всех государств».

Но Грибовский пишет и вот какие штучки:

«Известно, что она никогда не ссылала в Сибирь, никогда не осуждала на смерть».

Оставим на совести полковника первое утверждение, — он мог заблуждаться, как и все, принимая поверхностные цитаты императрицы из словарей и разумных сочинений за следствие глубочайшего образования.

Утверждение второе — сознательная и гнусная ложь.

Никогда — за всю историю государства Российского — даже в свирепые времена Иоанна Грозного и Петра I, даже в мистические, умалишенные времена Анны Иоанновны, — никогда — не было — в России — такого количества заговоров, казней, ссыльных, судебных процессов, преследований и произвола.

По свидетельству самой императрицы, только за один год, предшествующий казни Мировича (подпоручик, он попытался в одиночку освободить из Шлиссельбургской крепости законного императора Иоанна Антоновича), было раскрыто четырнадцать заговоров! Самый серьезный из них — заговор Хрущева (тоже в пользу Иоанна Антоновича) — имел более *тысячи* сторонников. И эта тысяча не была темной, нерассуждающей массой, — дворяне, офицеры.

Но пропустим эти пустяки (пусть — пустяки!).

Какое кровавое восстание Железняк и Гонты!

Крестьянская война Пугачева!

Польское восстание Тадеуша Костюшко!

А просвещенные, энциклопедические методы расправы! Мировичу публично отрубили голову, чего не случилось в России вот уже двадцать лет. Полководец Суворов привез самозванца Пугачева в клетку, и его четвертовали. Сотни четвертованных и подвешенных за ребро сторонников Пугачева. Тысячи и тысячи виселиц в калмыцких, башкирских, киргизских степях. Тысячи солдат, умерших под палками. Миллионы и миллионы кнутов для солдат и крестьян. Сотни и сотни колесованных

уральских работных людей. Треть населения восточных и южных областей империи — с клеймами, как собственный скот, чтобы не эмигрировали.

Но Екатерина поняла механику и демагогию управления.

Она оградила свою персону пресловутым «Наказом», своего рода республиканской крестьянской конституцией, где каждый пункт — счастье и справедливость, где каждый пункт — демагогия и ложь, где каждый пункт — маска, надетая для наивного потомства и для общественного мнения, а также для интеллигенции Запада.

Потому что, облегчив кое-как положение крестьян, Екатерина дала помещикам неслыханные в истории государства права: по своему усмотрению наказывать крестьян и ссылать их «в каторгу». Лишь этот один только пункт «Наказа» практически перечеркивал, исключал все остальные поблажки.

«Наказ» имел и еще одно название.

Екатерина называла его «философией освобождения личности».

Век Просвещения.

Но все вожди русского Просвещения, а и было-то их всего двое, — сидели в тюрьмах. Новиков и Радищев.

Новиков издавал свой журнал, в котором робко и доброжелательно полемизировал с Екатериной в вопросах нравственности государственной. Екатерина тоже издавала свой журнал. Спор двух журналистов закончился Шлиссельбургской крепостью — самым веским и многозначительным аргументом в серии философских доказательств Екатерины. Радищева приговорили сначала даже к смертной казни.

Просвещенный абсолютизм.

Но при дворе не было ни одного просветителя.

Не было мало-мальски грамотного человека.

Просвещенный век и просвещенный абсолютизм. Так называла свое время и собственную особу Екатерина.

Вот что пишет по поводу просвещенного кабинета императрицы тот же Грибовский. Он глуп и постоянно противоречит самому себе. Думая, что пишет правду, он выдает смешные тайны двора.

О Безбородко. *При острой памяти и некотором знании латинского и русского языков, ему нетрудно было отличиться легким сочинением указов там, где бывшие при государыне вельможи (да и сама государыня) не знали русского правописания. Благодаря этой относи-*

тельной грамотности Безбородко достиг первейших чинов (он стал канцлером), приобрел богатейшее состояние и несметные сокровища в вещах и деньгах. Начиная ни с чем, перед смертью императрицы он имел 16 000 душ крестьян, соляные озера в Крыму и рыбные ловли на Каспийском море. За правописание Павел подарил ему 12 000 крестьян. Итальянской певице Давии он платил 8000 рублей в месяц (годовая пенсия Державина, министра юстиции, — 10 000 рублей. В год — не в месяц). А когда отпустил ее в Италию, подарил ей деньгами и бриллиантами 500 000 рублей (пятьдесят лет пенсии министра).

И все эти блага — только и только за то, что Безбородко знал русское правописание, единственный во всем просвещенном кабинете императрицы он умел правильным русским языком изложить все ее всемирно-исторические указы, приказы и наказания.

Нелепо и пошло было бы касаться амурных дел Екатерины. Они анекдотичны и общеизвестны. Они — материал для медицинского исследования, а не для литературы. Они не принесли ей счастья.

Все до единого ее, романтически выражаясь, фавориты были авантюристы.

Были ли вообще это «амурные дела»?

Это были — контракты.

Она была нужна им.

Они были нужны ей.

Она им — по причинам продвижения по службе.

Они ей — по причинам ее бессемейности, императорского одиночества, духовной пустоты и бессилия.

Любовь к императрице — к любой! — всегда имеет подозрительный и скандальный характер.

Любовь к незамужней императрице не только подозрительна, но и двусмысленна. Ведь она была старше чуть ли не всех своих любовников по меньшей мере на пять лет (Орлов), по большей — на сорок (Платон Зубов).

Эта любовь далеко не бескорыстна.

Никто, в конце концов, не имеет никакого морального права ни исследовать эту вереницу любовников, ни осуждать ни их, ни ее.

Но вот как сама Екатерина пишет о своем муже. Вот чего она от него хотела бы. Вот что произошло после свадьбы.

«Его императорское высочество Петр III, хорошо поужинав, пошел спать. Он заснул и проспал очень спокойно до следующего дня. Простыни из каммердука, на которых я лежала, показались мне столь неудобны, что я очень плохо спала. Когда рассвело, дневной свет показался мне очень неприятным. И в этом положении дело оставалось в течение девяти лет без малейших изменений».

Жуткие жалобы.

Конечно же, не простыни из каммердука виновницы ее плохого сна.

Виновница одна — ее немецкая нравственность.

Она ненавидела мужа, имела одновременно трех постоянных любовников (Чернышев, Салтыков и Понятовский), но хотела бы, чтобы муж был мужем.

Для Петра было естественно, уж если его насильно женили, спать с женой по королевскому ритуалу, то есть лежать около, и только. Для остального у него были женщины, которых он любил.

Она — оскорблена. Даже дневной свет показался ей неприятным. Она с пренебрежением, с презрением перечисляет «страстишки» и «шашни» Петра с фрейлиной Карр, с Лопухиной, с Тепловой, с горбатой дочерью герцога Бирона принцессой Курляндской (причем она постоянно и злорадно акцентирует «горбатой»), с Цедерспарр, с Воронцовой.

У него — «страстишки» и «шашни».

У нее — «страсть» и «роковая любовь» с графами Салтыковым, Чернышевым и Понятовским, который в результате этой любви стал королем Польши.

Ее приключения в любовной области настолько нескромны, что описывать их — дурной тон. Она же с чистой совестью пишет о *разврате* Петра. Шесть женщин у императора! За всю жизнь. И с одной из них, с Елизаветой Воронцовой, он уже несколько лет живет совершенно официально и мечтает на ней жениться. Он и женился бы, но Елизавета Воронцова была слишком молода, чересчур труслива, совсем безлика, — лишь любовница, и только, и ничего больше.

И вот, по мнению Екатерины, Петр — безнравствен.

У нее даже начинается истерика, когда Петр расвирепел, узнав, что она — беременна, выхватил шпагу и бросился по ступенькам лестницы вверх, в спальню, чтобы заколоть ее, как он выражался, как «блудливую свинью», а потом расхохотался, ушел к себе, напился и

пил четверо суток и ни с кем не разговаривал. Когда же он вышел в сад, где было все общество и лакеи наливали в бокалы ликеры, обернув горлышки бутылок батистовыми салфетками, Петр скакал в своем голштинском картузе с козырьком, он пил ликер из всех бокалов, хватывал бокалы у франтоватых фельдмаршалов и у флиртующих фрейлин, выпивал залпом, запрокинув большое горящее лицо, и хохотал, а когда кто-то случайный, безымянный холуй, кажется, камергерского звания, заискивая, поздравил Петра с беременностью супруги, цесаревны Екатерины (поздравил — некстати! глупо!), Петр махнул легкомысленно рукой и сказал вслух, всем, как-то захлебываясь, чувствуя, что сам в данный момент — пошел, но не сказать был не в силах:

— Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность! Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок!

Она потрясена — такая несправедливости!

Все эти отношения с мужем Екатерина называет «нежностью к супругу».

Она сетует и произносит горькие сентенции:

— Обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежностей к этому господину. Думай о самой себе, сударыня.

«Насчет нежностей к этому господину».

Вот с какой нежностью был убит Петр III.

Екатерина сообщает в письме к Станиславу Понятовскому в Польшу:

«Я послала под начальством Алексея Орлова, в сопровождении четырех офицеров и отряда *смирных и избранных* людей, низложенного императора за 25 верст от Петергофа в местечко, называемое Ропша, *очень уединенное и очень приятное*, на то время, пока готовили *хорошие и приличные* комнаты в Шлиссельбурге. Но *Господь Бог* расположил иначе. *Страх* вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый. Он *чрезмерно напился* в этот день, так как *имел все, что хотел*, кроме свободы. Его схватил приступ *геморроидальных коллик вместе с приливами крови в мозгу*. Он был два дня в этом состоянии, за которым последовала *страшная слабость*, и, несмотря на *усиленную помощь* докторов, он испустил дух. Я *опасалась*, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть. Но вполне удостоверено, что не нашли *ни малейшего следа отравы*. Он имел совершенно здоровый желудок, но умер от *воспаления в кишках и апоплексического удара*. Его сердце было *необычайно мало и совсем сморщено*».

Ее сын, император Павел, тоже умер от *апоплексического удара*. Этот пресловутый *удар* — традиционная причина смерти русских императоров. Это довольно распространенный эвфемизм для яда, кинжала, пули, петли и других не менее популярных инструментов насильственной смерти, — этот испытанный *апоплексический*.

Все ее оправдания — только еще одно доказательство абсурда, по народной поговорке:

«Мы собаку покормили,

А потом похоронили».

Какое обилие полуласкательных прилагательных!

Оказывается, Орлов не был беспринципным и бездушным легионером, убивающим кого попало. Он был «смирный» и «избранный» представитель России.

Оказывается, тюрьма Ропши совсем и не тюрьма, а «местечко уединенное и очень приятное».

Оказывается, в цитадели зверства, в Шлиссельбурге, Тайная канцелярия готовила для Петра не камеру-одиночку с железными ошейниками, с одним зарешеченным окошком и с одним люком для стока нечистот, а — «хорошие и приличные комнаты».

Оказывается, Петр «чрезмерно напился».

Оказывается, в Ропше Петр имел «все, что хотел». Он хотел, чтобы с ним была Воронцова. Но Воронцову Екатерина не послала в Ропшу. Послать Воронцову в Ропшу Екатерине не позволила нравственность.

Во всем виноват оказался лишь «Господь Бог».

Чего только не наслал господь за эти несколько дней на тридцатичетырехлетнего солдата своего!

Страх.

Попос.

Приступ геморроидальных колик.

Приливы крови к мозгу.

Отливы крови от мозга.

Страшную слабость.

Усиленную помощь докторов.

Опасения императрицы.

Воспаление в кишках.

Апоплексический удар.

И, наконец, счастливое избавление от всего этого невыносимого списка — смерть.

Сердце фехтовальщика, спортсмена, всадника, молодого человека, который ничем никогда не болел, кроме оспы, а оспой тогда болели все, как сейчас гриппом, —

сердце солдата оказалось «необычайно мало и совсем сморщено».

Какими помоями она поливает своего мужа только за то, что убила его!

Не нужна никакая судебно-медицинская экспертиза, никакие расследования, чтобы установить, что автор описания смерти Петра — убийца Петра.

Как бы ни называла Екатерина мужа — разгильдяем или бездельником, — убивать его не было никакой насущной необходимости. Он с удовольствием отбыл бы в Голштинию из отвратительной ему России, он никогда бы не посягал ни на престол, ни на супругу. Петр III был взбалмошный, но честный офицер.

Но императрица была еще и труслива. Она боялась любого претендента и предпочитала убить его, чем отпустить с клятвами. Так она убила и юношу Иоанна Антоновича, троюродного брата Петра III, который только за то, что его десятинедельным ребенком короновала императрица Анна Иоанновна, просидел в тюрьмах и в шлисельбургских казематах-одиночках двадцать три года, а на двадцать четвертом году был убит. Так она казнила и Пугачева. Вождь восстания присвоил себе имя Петра III, а это имя уже имело престол и претендовало на него. Так, только из-за трусости (посягнут на ее драгоценную корону, полученную такими трудами!) она отстранила одного за другим своих верноподданных фаворитов — от братьев Орловых до Потемкина, Зубовых, до последних мальчишек.

О своих умственных способностях она думала и писала в превосходной степени:

«В 1744 году в течение дня я набросала сочинение, которое озаглавила «Набросок начерно характера философа в пятнадцать лет». Я нашла эту бумагу в 1757 году. Признаюсь, я была поражена, что в пятнадцатилетнем возрасте я уже обладала таким большим знанием всех изгибов и тайников своей души».

Императрица писала, что ради русского языка она жертвовала жизнью. А стоило ли?

Ведь она прожила в России еще пятьдесят два года, но так и не знала русского языка.

Грибовский писал выше, что она знала историю всех государств.

Вот ее примечания на книгу аббата Денини:

«Великий избыток народов, разрушивших Римскую империю, о котором говорит автор, принадлежал вовсе

не Швеции, а двинулся с Востока и с Юга России. Сами шведы признают, что Один был уроженец Дона. Один был славянин, как показывает самое его имя».

В такие знания истории может завести собственная фантазия и большая императорская любовь к своей России.

Вот примечание археолога Н. Барсукова, большого ученого, далекого от всякой иронии:

«Известно, что Екатерина увлекалась словопроизводствами. Она находила следы славянства даже в Южной Америке и утверждала, что Гватемала есть — гать малая. Но тогда сравнительное языкознание было еще в младенчестве и никто, кроме Екатерины, им не занимался».

Нет, занимались.

Ее поэт. Ее гений. Ее статс-секретарь Державин.

Державин писал:

«По истории известно, что Рюрик завоевал Нант, Бурдо, Тур, Лимузен, Орлеан и по Сене был под Парижем...»

Из всех названий французских городов Державин выбрал самые благозвучные. Удивительно, почему гений остановил воображаемые армии Рюрика под Парижем. При такой основательной стратегической ситуации почему бы не оккупировать и Париж и, музыкальным аллюром пробежав по Испании, почему бы не колонизировать... ну, к примеру, Гренландию?

Эти волшебные вымыслы о приключениях Рюрика и о несчастном Париже Державин без тени стеснения излагает в примечаниях к «Оде на победы французов Суворовым».

Прошло двенадцать лет с тех пор, как солдат Державин написал оду «Фелица», в которой с пылом-жаром непосвященного провинциала восхвалял Екатерину. Он видел ее в отдалении и мечтал служить ей, чтобы восторженно рассматривать этот идеал солдата вблизи.

Но фонтан прекрасен только на расстоянии. Когда голубой воздух и солнце. Если подойти поближе — это всего-навсего вода, которая под давлением выбрасывается вверх из отверстия в каменной чаше.

И вот самая заветная мечта автора «Фелицы» исполнена: он около фонтана. Она полюбила его услужливую и талантливую оду и сделала автора-солдата своим секретарем. Но на Державина ее прозорливости не хватало.

ло. Он осмотрелся. Он был умен и не позволил себе стать ни холопом, ни холуем от литературы.

Он искренне огорчен. Он с изумлением пишет:

«Она управляла государством и самим правосудием более по политике, или по своим видам, нежели по святой правде».

Вот чего, оказывается, хотелось бы простодушному поэту и начинающему государственному деятелю: «СВЯТОЙ ПРАВДЫ!»

Оды «Фелица» ей было мало. Ей всего было мало.

Императрица постоянно и недвусмысленно намекала Державину, что если и впредь им не будет написано что-нибудь подобное, то его общественное положение сильно пошатнется.

Ей было мало короны и мантии.

Ей еще нужно было, чтобы весь мир, а Державин был уже всемирно известен, заучивал наизусть рифмы ее поэта, посвященные ее любви к правде, к философии, к народу и так далее и тому подобное.

Добросовестный, Державин давал Екатерине слово за словом, что он постарается, напишет. И он пытался. Он честно и трудолюбиво пытался.

Бедняга, пятидесятидвухлетний сановник с солдатским лицом, с тяжелым носом, с бровями, как у клоуна, страдающий от унижительных придворных интриг, от собственного напудренного парика, от которого все время чесалась голова, от постоянной, непрекращающейся зубной боли, он запирался в своем простом кабинете из соснового дерева, в своем полутемном петербургском доме на Фонтанке. И неделями, месяцами творил. Старался.

Но насилие, к счастью, не распространяется на творчество.

Ничего у него не получилось.

Получались не стихи, а захудалые, канцелярские фразы. Таковую чепуху мог написать любой цеховой стихотворец.

И Державин — в бешенстве! Разрывает, выбрасывает из окна в Фонтанку бессмысленные бумажки. Он — в ярости! Одним росчерком пера сановник с солдатским лицом пишет четыре строки:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»

Своей службой он раздражал Екатерину двадцать лет.

Екатерина мучила его своими просьбами двадцать лет.

А чтобы написать это четверостишие, потребовалось четыре секунды.

Вот и все.

Все предельно точно, как в теореме.

Вот и афоризм века.

«Пой, птичка, пой!»

Ведь Екатерина сама написала энное количество произведений. Что автобиографии — это крохотные капельки в океане ее творчества!

Вот знаменитые. Золотой фонд. Пьесы:

«Расстроенная семья», «Обманщик», «Оболенный», «Олег», «Льстец и льстивые», «Горе-богатырь», «Игорь», «Расточитель», «Рюрик», «Федул с детьми», «Шаман», «Путешествие мадам Бутан», «О время!».

Екатерина II тоже, оказывается, была недовольна современностью и вслед за всеми униженными-оскорбленными и она восклицала:

— О ВРЕМЯ!

Для всех этих пьес Екатерина использовала современные и исторические источники. Она вырезала статьи из газет, выписывала цитаты из трактатов, из справочников.

Она любила оперу, и ее оперы пользовались большим успехом среди офицеров. Ее оперы любили до самого последнего дня — до дня ее смерти. Екатерина сама не пропускала ни одного представления.

Между тем она признавалась:

— Музыка никогда не была ничем иным, как простым шумом для моего слуха.

Следовательно, и оперы — лишь неумные поиски славы, околотитературный снобизм.

Много творческих сил и энергии Екатерина отдала эпистолярному жанру. Она писала замечания на разные книги. Она писала книги для детей. Она писала романтические повести и сказки в стихах, без стихов. Она писала философские трактаты и путевые очерки. Нет слов, она ведь писала и все законы и наставления всем государственным учреждениям в течение тридцати четырех лет ежедневно!

Екатерина Великая сильно преувеличивала свою роль в мировой истории.

Она говорила:

— Кто дал, как не я, почувствовать французам права человека?

Под этими словами она подразумевала, что она, единственная на свете, своими блистательными письмами указала светлый путь Вольтеру да и остальным писателям-энциклопедистам.

Она говорила:

— Я не умру без того, пока не выгоню турок из Европы и с Индией не осную торговлю.

Она умерла, так и не выгнав турок из Европы, так и не основав торговлю с Индией.

Она говорила:

— Ежели б я прожила двести лет, то бы, конечно, вся Европа подвержена была б российскому скипетру.

Ее фразы по своему объему, как мы видим, с годами приобретали все более космические масштабы. Она уже считала себя пифией, способной предугадывать судьбы современной Европы, Европы двадцатого века.

Она говорила о Радищеве:

— Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучше судьбы наших крестьян нет во всей вселенной.

Уже вселенная.

Пугачевское восстание, в котором участвовало около миллиона крестьян, немного лучше охарактеризовало их судьбу, чем их матушка-государыня.

Какими же всеобъемлющими государственными делами своего отечества была больна Екатерина в течение этого дневникового, если так можно выразиться — инкубационного периода: с 1745 по 1762 год, или семнадцать лет?

На каждой странице своих автобиографий она заявляет, что Россия видела в ее лице СПАСИТЕЛЬНИЦУ.

Чтобы иметь право называть себя таким высоким библейским словом-символом, нужны авторитетные и веские доказательства.

Значит, семнадцать лет, день за днем, она совершала такие деяния, что вся страна затаив дыхание ожидала того замечательного и неповторимого момента, когда СПАСИТЕЛЬНИЦА сядет на престол и спасет ОТЕЧЕСТВО.

Да, она делала много. Вот веские доказательства. Вот какова государственная деятельность молодой претендентки на престол. Вот ее «Хронологические заметки»,

самые важные и ответственные пункты ее политической биографии.

1745 год.

Падение с лошади в Екатерингофе.

Кража карандаша, которую произвел Петр III в Эрмитаже.

1747 год.

Слезы в Петров день (ее слезы).

Слезы в день св. Александра Невского (ее слезы).

1749 год.

Обед в Тайнинском и пьянство...

Зубная боль (ее боль).

Страстишка великого князя к вдове Долгоруковой.

Его пьянство 1 мая в лесу.

Страшная головная боль в Перове (ее боль).

Зуб, выдернутый в Царском Селе (ее зуб).

1750 год.

Шашни великого князя с принцессой Курляндской.

Начало меланхолии этим летом (ее меланхолии).

1751 год.

Маскарады и кокетничанья.

Вот, собственно говоря, и весь список, который она написала собственной рукой. Список важнейших и ответственных событий в ее деятельности за пять лет.

Остальные двенадцать лет с не меньшим основанием давали повод Российской империи, а особенно простонародью, видеть в ней, как она скромно признается, — СПАСИТЕЛЬНИЦУ.

Потом прошло еще тридцать пять лет. Она — царица. Она могла делать все что заблагорассудится — преобразования любые. Вот что писал о благотворительной деятельности Екатерины II писатель Г. С. Винский, сосланный, как и Радищев:

«Все переновлено, даже до наименований: губернии названы поместничествами, губернаторы правителями, воеводы городничими и пр. пр. Иная губерния, управляемая прежде 50 судьями, разделившись на четыре наместничества, имеет теперь в каждом до 80 судей (то есть вместо 50 — 320). Хлебопашец почувствовал перемены: вместо 3 баранов в год он должен сдавать 15».

«Совестные суды». Когда судят не по букве закона, а по совести. Славный Морсье сгоряча написал: «Зря благоденствия рода человеческого занялась на севере. Спешите к полуночной Семирамиде и, преклонив колена, поучайтесь: она первая учредила *суд совести!*» Но мы,

россияне, для которых великая законодательница изобрела сии спасительные суды, мы скоро на свой счет узнали, что это была одна кукольная игра. Желание быть судимому по совести само собой уничтожалось, и ябедники безбоязненно продолжали угнетать беспомощных.

Важнейшим пожалованием можно было бы почесть *права и преимущества, данные дворянству и городам*. В другом европейском народе подобные узаконения произвели бы неминуемо полезные перемены, но Екатерина основательно знала своих россиян и была твердо уверена, что они не только не воспользуются даруемой свободой, но не поймут и содержания ее благоволения; а она, нисколько не умаляя силы своего самодержавия, бросит пыль в глаза Европе и обморочит потомство. Сие все в точности воспоследовало: во всех дворянских собраниях, кроме нелепостей, споров о пустяках и ссор, никогда ни одно дельное дело не было предлагаемо. Люди со знаниями и душой под различными предложениями устранялись правительством.

В марте 1775 года государыня пожаловала народу 47 милостей. Для увековечивания их внесенные в государственную хронологию, сии 47 милостей не стоили ни одной дельной.

С сего времени Екатерина перестала себя слишком утруждать и, высмотревши, что русский народ есть самый повадливый и нещекотливый, пустилась наслаждаться всем, без всяких оглядов.

Пушкин писал:

«...со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России».

6

Екатерина Романовна Дашкова писала стихотворения на нескольких языках и приписывала себе командные роли как в заговоре 28 июня 1762 года, так и во всех последующих ответственных событиях, которые происходили в Российской империи.

Потом она писала прозу и оставила «Записки».

Екатерине Дашковой в 1762 году было восемнадцать лет. Девушка хотела хоть какой-нибудь славы — любой. Она искала себя в поэзии. Стихотворения отослала Ломоносову. Академик-реформатор был оскорблен и попросил стихов ему больше не присылать.

Тогда княгиня попыталась прославиться среди гвардейских офицеров.

Прославилась.

Но ненадолго. Екатерина II не позволяла ни одной из своих фрейлин противоборствовать в этой области.

В насмешку над наперсницей-соперницей императрица назначила ее президентом Академии наук, а в память о ее несостоявшемся таланте (поэзии!) поручила Дашковой издавать правительственный журнал.

Дашкова долго ожидала поощрений. Кем она хотела стать — неизвестно, может быть, генерал-прокурором Синода или канцлером. Она жаждала реформаций Российской империи, а получила от Екатерины только 24 000 рублей; всем давали деньги, ну и Дашковой. Прошло восемь лет. Дашкова возмутилась: почему она не у власти? Екатерина посоветовала статс-даме отправиться в заграничное путешествие. Полечить нервы. Дашкова поехала и полечилась. Прошло еще восемь лет. Дашкова опять взбунтовалась и опять отправилась в путешествие по разным государствам Европы. В своих воспоминаниях Дашкова постоянно подчеркивает, какая между ними (Екатериной и Дашковой) была дружба. Не было дружбы. Не могло быть никакой дружбы: Дашковой — девятнадцать лет, императрице — тридцать два. При такой разнице в годах, при общих фаворитах, что-то не слышали еще на земле о дружбе двух девушек. Вот когда статс-даме исполнилось сорок лет, Екатерина оттаяла.

Дашкова стала: статс-дамой российского императорского двора, кавалером ордена святой Екатерины Великомученицы, директором императорской Академии наук, президентом Российской императорской академии, членом академий — Стокгольмской, Дублинской, Римско-императорско-эрлянгенской, членом Обществ — испытателей природы (Берлин), философического (Филадельфия), земледелия (Цельс). Дашковой показалось мало таких титулов, и она потребовала орден святого Владимира II степени. Лучше бы не требовала. За пропаганду Радищева и Княжнина (не потому, что их любила Дашкова, а потому, что их не любила Екатерина) президент

Академии и редактор правительственного журнала «Собеседник» была выслана из С.-Петербурга с предписанием никогда не являться ко двору.

У Дашковой все-таки остался определенный привкус горечи и разочарования. И она не без задумчивости вспоминала в своих записках одну фразу Петра III.

Это было 23 июня 1762 года.

Император напропалую пьянствовал. Дашкова с ненавистью и отвращением относилась к особе Петра. Причины этого отношения остаются невыясненными. Княгиня объясняла их своей любовью к Отечеству и болью за него (за Отечество). Современники объясняли по-другому: из двух сестер Петр предпочел старшую, что, естественно, больно ранило сердце младшей, самолюбивой и чувствительной к своей славе и к своему счастью.

Екатерина Дашкова, как сестра любовницы Петра III Елизаветы, была допущена ко двору.

Она описывает двор:

«Это общество принимало вид казармы, где табачный дым с его голштинскими генералами были любимым развлечением Петра. Эти офицеры были большею частью капралы и сержанты прусской армии, истинные дети немецких сапожников, *самый нижний осадок народных слоев. И эта сволочь нищих генералов была по плечо* такого государя. Вечера обыкновенно оканчивались ужинами, в зале, увешанной сосновыми ветвями».

Вот в таком зале, увешанном сосновыми ветвями с шишками, где пили бархатное баварское пиво, где голштинские пьяные генералы сбивали шишки вилками, где скатерти были залиты пивной пеной, а на полу валялись рыбные кости, чешуйки, соленые сухари и кожура от сосисок, где разноцветные свечи еле-еле мерцали в шарах табачного дыма, где стоял гвалт и все говорили на смеси из четырех языков: русского, немецкого, французского, венгерского — какой-то марсианский всеобщий язык, никто никого не понимал, — пьяный и подмигивающий Петр встал из-за карточного столика (он любил карты — «кампи») и, пошатываясь, подошел к Дашковой, которая сидела с горящими глазами на скамеечке черного дерева, демонстративно ела только мороженое — серебряной ложечкой с блюдечка — и любила и жалела императрицу, все права которой были попорчены. Перед мысленным взором девушки разворачивались кровавые сцены предстоящего переворота, вождем которого она уже представляла саму себя на белом коне, с обнаженной

шпагой; Петр что-то бессвязно бормотал, искательно заглядывая в глаза — все-таки родственники по сестре, он отговаривал Дашкову — не надо, девушка, присоединяться к партии императрицы, вы — клянусь вам! — раскаетесь; Дашкова почему-то преодолела отвращение к этому пьяному дыханию, к этому больному, запятымному шурамам оспы лицу и прислушалась, Петр III сказал:

— ДИТЯ МОЕ, — сказал он, — ВАМ БЫ НЕ МЕШАЛО ПОМНИТЬ, ЧТО ВОДИТЬ ХЛЕБ-СОЛЬ С ЧЕСТНЫМИ ДУРАКАМИ, ПОДОБНЫМИ ВАШЕЙ СЕСТРЕ И МНЕ, ГОРАЗДО БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ С ТЕМИ ВЕЛИКИМИ УМНИКАМИ, КОТОРЫЕ ВЫЖМУТ ИЗ АПЕЛЬСИНА СОК, А КОРКИ БРОСЯТ ПОД НОГИ.

Потом не только Дашкова вспоминала неоднократно эту фразу. Дурак Петр оказался пронизательнее многих умников офицеров, которые впоследствии, после активного участия в перевороте, ссылались в Сибирь.

О предстоящем перевороте знал уже весь Петербург. Переворот не был тайной для императора. Было достаточно добровольных доносчиков. Доносили и сомнительные секретари иностранных миссий, аккредитованных в Петербурге, доносили и без сомнений преданные Петру генерал-адъютант граф Андрей Васильевич Гудович, генерал-адъютант князь Иван Федорович Голицын и генерал-майор Иван Михайлович Измайлов.

Петру приносили и списки заговорщиков и называли их вождей.

Он ничего не делал для своей защиты. Он — смеялся. Будь что будет! Он попросил предоставить его судьбу — ему самому. Он смеялся все больше день ото дня, — он отчаялся! — он делал большие успехи, самоубийца, он большими шагами шел к своей неминуемой гибели. Он считал контрдействия ниже собственного достоинства.

Двадцать четвертого июня 1762 года в 10 часов утра, в понедельник, император Петр III приказал Панину явиться в Ораниенбаум.

Действительный тайный советник и кавалер, камергер и сенатор, воспитатель сына Петра III цесаревича Павла Петровича, которому было сейчас восемь лет, Никита Иванович Панин явился.

Высокий, какой-то весь качающийся на длинных ногах, как австралийская птица, с болезненно-бледным и

хищным лицом, в идеальных чулках, в башмаках с идеальными бриллиантовыми пряжками, в несколько женственном камзоле с идеальными перламутровыми пуговицами, Панин представлял собой трагикомическую фигуру в роскошном парике с тремя распудренными и перевязанными ленточками косицами сзади, — типичный куртизан времен Людовика XIV.

Произошел следующий разговор:

Петр. Граф, вы делаете успехи.

Панин. Я прошу разъяснений, ваше величество.

Петр. Я говорил с наследником, цесаревичем Павлом, моим сыном и вашим воспитанником, я экзаменовал его. Этот плутишка знает все науки лучше, чем все мы, вместе взятые.

Панин. Благодарю вас, ваше величество.

Петр. Нет, это я позвал тебя, чтобы отблагодарить.

Петр сказал как-то *слишком* обыкновенно, каким-то *неуловимо* зловещим тоном, и Панин вздрогнул, потому что через несколько дней мятеж, а он — вождь Сената. Панин стоял и покачивался, растерянный, какой-то *зеленоватый* в утреннем свете, а Петр торжественным тоном, с *официальной* лаской заглядывая в глаза идеальному камергеру, прочитал все пункты подготовленного указа, перечисляя многочисленные заслуги графа как в России, так и на дипломатической службе в иностранных миссиях.

Вибрирующим голосом, пародируя самого себя, Петр прочитал последний пункт, из-за которого, собственно говоря, был составлен весь указ:

«За все сии неоценимые доселе заслуги император присваивает действительному тайному советнику, кавалеру, камергеру и сенатору графу Панину Н. И. настоящее высокое звание — капрала лейб-гвардии Измайловского полка».

Панин был ошарашен. Это было неслыханное оскорбление.

— За что... за что? — прошептал камергер, поправляя парик.

Петр объяснил:

— Полковник Измайловского полка — граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Мне стало известно, что у вас — общие замыслы. Вы понимаете мою мысль? Я хочу, чтобы вы все действовали не поодиночке, а сообща. Так как всем подготовительным периодом руководит Разумовский, а вы, остальные, ходите у него в капралах,

так я хочу, чтобы у вас был официальный капральский чин.

Трепещущий Панин заявил никаким голосом, что в таком случае он сбежит, эмигрирует, переселится в Швецию... и завтра же.

— Ну, только не завтра же! Ну, граф! — захохотал и подпрыгнул Петр. — Ведь у всех у вас замыслы! На этой скромненькой страничке — список всех вас, числом — сорок. Сегодня я арестую Пассека, он капитан и друг Орловых, и — распускает слухи! Слухач! Действуйте, дети! — сказал император. — Только посмотреть на ваши бабьи морды — какая красота! — Петр еще расхохотался, присел на табурет, закинул ногу на ногу и сказал в пространство: — Пошел вон!

Если Пассек подтвердит список, то все сорок офицеров лейб-гвардии, заговорщики и их вождь — Екатерина — уже мертвецы.

Император сказал: сегодня я арестую Пассека.

И Панин вышел вон, почти без сознания вскарабкался на подножку кареты, опустился на кожаное сиденье, наклоняясь всем корпусом вперед, чтобы не касаться затылком спинки сиденья, чтобы не растрепать парик и не уронить с него пудру.

Это впоследствии Панин приписывал себе командные роли в перевороте, на самом деле еще трое суток сенатора лихорадило. Сенат не знал, что делать, посылали посыльных, а он отмалчивался, никому ни слова не сказал про этот, как он впоследствии пышно выражался, «несколько неприятный разговор с ополоумевшим от страха государем». Только утром 28 июня лихорадка утряслась и Панин кое-как, втихомолку, окольными подстрекательствами, стал участвовать в перевороте.

Двадцать пятого июня в три часа дня, во вторник, император Петр явился собственной персоной на заседание Синода. Он не предупредил. Синод был занят обсуждением порядка церковной и ризничной описи Соловецкого монастыря.

Собрание Синода с некоторым неудовольствием следило за высокой фигурой Петра, который не соизволил даже снять головной убор — свою голштинскую треуголку, не соизволил даже снять свои желтые перчатки с крагами, так и шел предельно прусским шагом к кафедре, не оглядывался и не оглянулся на кресла, в которых разместилось тридцать четыре члена Синода; без всякого сопровождения, без секретарей, один, оставив около

входа в здание Синода двух собак-волкодавов, которые все лаяли и лаяли, и лай был отчетливо слышен каждому, кто присутствовал в этом собрании, и каждый сообщал по этому разноголосому лаю, что собак — две.

Петр не сказал никакого вступительного слова, ни к кому и никак не обратился, он все-таки снял одну перчатку и бросил ее на кафедру, потом из-за краги второй перчатки вынул листок, развернул, не поднимая лица, вчетверо сложенный листок гербовой государственной бумаги и сказал:

— Высочайший указ.

И прочитал высочайший указ, ни с кем не посоветовавшись, не улыбнувшись ни разу, не комментируя никак пункты, обыкновенным своим солдатским голосом:

— «Пункт первый: чтобы дать всем волю во всех законах, и, какое у кого ни появится желание, не совращать молитвой, или полицией. Пункт второй: принять вообще всех западных людей и всех своих инородцев, пусть они молятся, кому хотят, но — не иметь их в поругании и в проклятии. Пункт третий: уреченные посты прекратить по причинам всероссийского голода и почитать их не в закон, а в производство. Пункт четвертый: о грехе прелюбодейном не иметь никому осуждения, ибо и Христос не осуждал. Пункт пятый: всех ваших монастырских крестьян освободить и причислить моему державству, а вам вместо их мое собственное жалованье дам. Пункт шестой: чтоб дать волю во всех моих мерностях и, что ни будет от нас впредь представлено, не препятствовать. Император Российской империи Петр III. 25 июня 1762 года».

— Ну! — сказал Петр, поднимая злое лицо, посмотрел на всех, близоруко шурясь, исподлобья, барабая пальцами по кафедре. — Все! — сказал император.

Синод окаменел. Ни у кого не нашлось никакого слова. За несколько минут Петр лишил Синод диктата нравственности и всех доходов.

— Все! — сказал император и ушел большими шагами, в тяжелых сапогах для верховой езды, лишь простые железные шпоры позвякивали уже где-то на далеких ступеньках.

Вся система России держалась на афоризме Сократа: не важно, чем ты занимаешься, важно, как ты об этом говоришь. Занимались всем, что приносит пользу себе, но говорили о государственном. Петр III, первый из русских императоров (и последний), снял маскарадную

маску с этой говорильни и сказал в лицо всей жрущей и обворовывающей все и вся системе, что она представляет собой на самом деле. Поэтому вся административная Россия возненавидела Петра III.

Петр III уничтожил Тайную канцелярию, то есть тайную полицию. Этот жест потряс всю Россию. Это угрожало безработицей тысячам осведомителей. Это сословие возненавидело Петра III.

Екатерина отменила этот указ, и никто из последующих императоров не возобновил его.

Почему раскольники России, а это были не волхвы-одиночки, а огромная мятежная армия, сотни тысяч, не после смерти Петра, что можно было бы приписать легенде, — при жизни его записали имя его в свои молитвенники? Почему имя его было для них — святая святых? Почему все инородцы России, а их были миллионы, от калмыков до евреев, еще двести лет помнили Петра III в своих храмах? Ни одного императора — только Петра III?

Петр III издал указ о веротерпимости, то есть все, даже самые малочисленные вероисповедания в России были приравнены к государственной религии — к православию. Православие лишилось исключительного ореола и командных постов. Духовенство возненавидело Петра III.

Екатерина II отменила этот указ, и никто из последующих императоров не возобновил его.

Петр III издал указ о желательности, но необязательности службы в армии.

Петр III отнял у духовенства управление монастырскими и церковными имениями, подчинил имения гражданской коллегии экономии, обложил бывших монастырских крестьян лишь рублевым оброком, отдал им в вечное пользование всю пахотную землю. Этот указ Екатерина II отменила, и только через сто лет произошло освобождение крестьян, но без пахотной земли.

Не потому ли восстание Пугачева проходило от имени Петра III? Ведь крестьяне хотели видеть на троне Петра III, а не самозванца-казака. О самозванстве Пугачева знала только вершушка.

Петр III позволил дворянам беспрепятственный выезд за границу.

В России никогда не было гласного суда. «Не выносить сор из избы». Знаменитый реформатор государства Российского Петр I панически боялся гласного суда. Он

махал железным кулаком в сторону Европы, но трепетал перед ее общественным мнением. Негласный суд — вообще не суд, а издевательство над юриспруденцией.

В России существовала система всеобщности: посредством подарков, или же взяток, даруемых правительством, все сословия были насильственно втянуты в общий круг беззакония, поощряемого сверху, — панибратство, круговая порука.

Петр III запретил Сенату преподносить подарки крестьянскими душами и государственными землями. Только ленты и ордена — символ поощрения. Никаких денежных наград. Суд — гласный. Никакой оглядки на западное мнение. Россия есть Россия, и ни от чьего мнения она не станет ни хуже, ни лучше.

Екатерина II отменила указ о бессребренности службы и о гласном суде.

Петр III запретил Синоду вмешиваться в дела морали и нравственности народа. Этим указом он освободил миллионы семей от унижительной системы исповедей священникам — постыдных доносов и признаний.

Петр III не делал тайны из своей ненависти к существующей России, ни перед кем не заискивал, сочинял идеалистические реформы и простодушно верил врагам и супруге, которая задумала убийство семнадцать лет назад; вельможам, которые смотрели на него как на карикатуру; армии, которая осатанела от его требований. На самом деле у Петра теперь оставалась только своя собачья свора и своя скрипка. 25 июня 1762 года публичное выступление в Синоде решило судьбу императора.

Для Екатерины II, которая своим хищным, предположительным умом во всем разобралась, Россия была такой, какой она была на самом деле: собственное домашнее хозяйство, домашнее животное, которое нужно пасти кнутом, чтобы оно давало молоко.

Почему двести лет апологеты самодержавия — историографы — вычеркивали имя Петра III из списков государственных деятелей? Петр III навеки заклеен историей: голяштинец и пьяница. Формулу придумала Екатерина, и формула хороша.

Что известно о Петре III? Только то, что он родился в 1728 году, а умер в 1762-м? Да и умер ли — уже легенда. Что он был голяштинским принцем, сыном дочери Петра I Анны? Что он имел все права на российский престол, а Екатерина — ни малейших? Что Петр III был законным царем России, а Екатерина захватила престол

силой, с Россией ее не связывала ни одна ниточка происхождения, она была чистокровная немка, как бы ни приписывали последующие историки ее личности панславизм. К панславизму в России имели особое пристрастие только инородцы.

Кто характеризовал Петра III?

Екатерина, Дашкова, Панины оставили о нем записки.

Кто судил Петра III?

Екатерина, его жена, которая его ненавидела и уничтожила. Дашкова, наперсница и сотрудница Екатерины. Панины — Никита Иванович, воспитатель Павла, дядя Дашковой, любимый администратор Тайной кацелярии в царствование Екатерины, и Петр Иванович, дядя Дашковой, герой Семилетней войны, последний усмиритель Пугачева.

Все — одна семья.

Все — обвинители.

Ни одного адвоката — нет.

Штелин, переводчик и поэт, библиотекарь Петра III, а впоследствии действительный член екатерининской Академии, которой командовала Дашкова, в своих записках тоже предает своего императора. Он достаточно умен, чтобы не писать откровенные мерзости, но и достаточно хитер, чтобы на них намекнуть.

Ни один историк не попытался поставить хотя бы элементарный опыт объективности.

Все перечисленные выше записки цитировали двести лет, не догадываясь, что свидетели — убийцы императора Петра III, что их показания, безусловно, — самооправдание, а потому, безусловно, — ложь.

Впоследствии Вольтер назвал переворот восхождением государственности, а Дидро — счастьем страны.

Эти мыслители — лишь писатели, они далеко зашли в своем снобизме, вмешиваясь в политику. Их политика — коллекционирование автографов королей.

Энциклопедисты обманулись и запутали потомков. Они повторяли вслед за Екатериной, что переворот 28—29 июня 1762 года — демократизация системы, что это — воля всей России.

Простодушный идеалист, Петр III не знал, на что он идет. Для него структура и география России — легко исправимый хаос. Но он предчувствовал свою недолговечность. Он обращался к Сенату, к Синоду, ко всем коллегиям.

ДАЙТЕ МНЕ ВОЛЮ ВО ВСЕХ МОИХ МЕРНОСТЯХ, И, ЧТО НИ БУДЕТ ОТ МЕНЯ ВПРЕДЬ ПРЕДСТАВЛЕНО, НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ.

Это — не приказ. Это — просьба. Это как молитва: господи, смилуйся!

Глас вопиющего в пустыне. Он успел только освободить монастырских крестьян и дать им землю.

Екатерина II и ее свита далеко зашли. Было убийство одного человека — Петра III — и поправление его имени, его деятельности, его личности. Народ в этой пресловутой «революции» не участвовал. Достаточно просмотреть списки руководителей восстания, чтобы определить, что действовала только одна семья.

Ближайшей помощницей Екатерины II по заговору была Екатерина Дашкова, в девичестве Воронцова. Ее родная сестра Елизавета была последней любовницей Петра III. Ее дядя М. И. Воронцов был канцлером. Его жена А. К. Воронцова — дочь К. С. Скавронского, родного брата Екатерины I. Дядья ее мужа — Н. И. Панин, воспитатель цесаревича Павла, П. И. Панин, генерал-аншеф, герой Семилетней войны. Семья К. Г. Разумовского, маршала, гетмана и полковника Измайловского полка, была в непосредственном родстве с императрицей Елизаветой Петровной, его жена — внучатая сестра Елизаветы, любовником которой был брат гетмана А. Г. Разумовский, Л. А. Нарышкин, обер-штальмейстер, двоюродный племянник Петра I, был женат на родной племяннице Разумовских. Капитан М. Ласунский собирался жениться на одной из дочерей Разумовского. А. В. Олсуфьев, сенатор, был женат на дочери В. Ф. Салтыкова, любовника Елизаветы Петровны, а брат жены Олсуфьева был любовником Екатерины II. Ф. А. Хитрово, секунд-ротмистр конногвардейского полка, был племянником маршалов Шуваловых, двух. Начальник петербургской полиции барон Н. Корф был родственником тетки Дашковой. Князь Репнин был племянником Паниных. Троюродный брат Дашковой граф Строганов был и родственником Екатерины. Братья Орловы, пятеро, — из которых один, Григорий, был любовником Екатерины, а Алексей и Владимир не исключено, что стали, — были в родстве с тремя братьями Всеволожскими, прапорщиками Измайловского полка. Князь М. Н. Волконский, полководец Семилетней войны и дипломат, был племянником графа Бестужева-Рюмина, пострадавшего при Елизавете Петровне за соглашательства с Екатериной. Капитан Бреди-

хин был женат на А. Ф. Голицыной, родной сестре генерал-адъютанта Петра III. Секунд-ротмистр Ржевский был двоюродным братом Хитрово. Поручик Протасов был двоюродным братом камер-фрейлины А. С. Протасовой, родственницы Орловых. Поручик З. Дубянский и секунд-ротмистр М. Дубянский были сыновьями духовника Елизаветы Петровны. Камер-юнкер Баскаков был сыном президента ревизион-коллегии. Генерал-майор Рославлев был женат на Е. Н. Чоглоковой, внучатой сестре Петра III. Остальные: поручик Чертков, поручик Ступишин, капитан Голицын, капитан Похвистнев, капитан-поручик Вырубов, капитан-поручик Обухов, секунд-ротмистр Несвицкий, капитан-поручик Пассек, поручик Ребиндер — все одна компания по картам, по приключениям, по вину — так или иначе родственники, — куртизаны Дашковой, которые мечтали стать любовниками Екатерины и почти все стали ими, как например поручик Талызин или вахмистр Потемкин.

7

Двадцать шестого июня усилилось пьянство среди солдат. Солдат спаивал Григорий Григорьевич Орлов, фаворит Екатерины. Григорию Орлову было 28 лет. Он ничего не представлял из себя как деятель и не заслуживает никакого описания как человек. Если и сравнивать его с кем-нибудь, то разве только с Елизаветой Воронцовой. Она — любовница, он — любовник. И больше ничего. Ни в чем и никак Григорий Орлов не участвовал. Петр послал записку.

Он писал: достоверно известно, что Екатерина заняла 100 000 рублей у английского купца Фельтена. Императрица заняла деньги на бриллианты, но что-то не блещет бриллиантами. Существует непосредственная связь между этими деньгами и пьянством. Григорий Орлов причастен к этому пошлomu подкупу. Император просит фаворита прекратить использовать не свои деньги в своих целях. Если ему так хочется напиваться, то император посылает ему двадцать ведер коньяка и прекрасного пьяницу Перфильева. Это — адъютант императора. Перфильев не станет следить за каждым шагом Григория, это ни к чему, он просто постарается повсюду сопровождать Орлова, чувствуя себя скорее лицом официальным, чем секретным. Ну, играть в карты будет он еще. Он знает все игры и не шулер.

Перфильев добросовестно пропьянствовал с Орловым и проиграл с ним в карты до самого утра 28 июня. Они переиграли во все современные игры, оба устали от коньяка, и скучали, и сосали лимоны, оба ожидали переворота и — дождались, и выбежали на улицу, как из темницы, и побежали в одну сторону — в сторону конногвардейского полка, которым командовал Григорий, и сели на хороших коней, и во все время мятежа их постоянно видели вместе, бок о бок, локоть к локтю, на конях с обнаженными шпагами, они стали неразлучны — недавний узник и его страж, товарищи по принудительному пьянству, они так сильно сблизились, что потом Перфильев пошел по государственной службе и стал сенатором и генералом от инфантерии.

Двадцать седьмого июня в девять часов утра, в четверг, в Ораниенбауме появилась белая английская коляска, лакированная, с новенькими гербами на двух дверцах, запряженная двумя скакунами — белый конь и красный, разукрашенные павлиньими перьями, дверцу откинул молодой человек в малиновом камзоле, расшитом серебряными вензелями, вельможа с совсем еще юношеским лицом, которое он неизвестно для чего украсил пышными и нафабранными усами.

Это был полковник Измайловского полка, президент Академии наук, гетман Малороссии, граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Ему, как и Петру III, было тридцать четыре года.

Накануне вечером император приказал Разумовскому явиться в Ораниенбаум.

Явился.

Петр III принял гетмана в Каменном кабинете.

Не кабинет, а каземат: мебель, канделябры, бутылки, чернильницы — все каменное. Исключение — тряпичные куклы его императорского величества кукольного театра, куклы были выставлены для восхищения посетителей в каменном книжном шкафу, на каждой полке.

Петр демонстративно не держал в кабинете книг. Лишь единственная книга на английском языке Лоренса Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», блестящая, безрелигиозная беллетристика. Книга лежала в кожаном переплете с золотыми замками на каменном столе, который и столон-то назвать было трудно — «большущий булыжник с плоской поверхностью». Когда император принимал архиепископов или кого-нибудь в этом роде,

он пространно и проникновенно цитировал Стерна, вызывая у духовных особ глубоко затаенные вопли ужаса.

Император понемножку пил из каменного стакана, курил китайскую папироску, длинную, как камышинка.

Петр пристально рассматривал гетмана своими близорукими глазами, мутно-голубыми. Произошел следующий разговор.

Петр. Граф, я хочу вам, первому из первых, сообщить радостную весть.

Разумовский. Я слушаю вас, ваше величество.

Петр. Фридрих Второй, король Прусский, великий полководец, философ и поэт, произвел меня в генерал-майоры прусской службы.

Разумовский. Ваше величество, вы можете с лихвою отплатить ему. Произведите Фридриха в русские фельдмаршалы!

Петр пропустил мимо ушей эту остроу. Он все пристальной смотрел на гетмана и что-то соображал.

Петр. Граф, я назначаю вас главнокомандующим действующей армии.

Разумовский. Простите, я плохо понял или мне послышалось. У нас не существует действующей армии. Наша армия — бездействует.

Петр. Вы не правы. Действующая армия находится в походе на Данию.

Разумовский. В таком случае я убедительно прошу вас сформировать вторую армию, которая подгоняла бы эту, мою, главнокомандующим которой я столь милостиво назначен.

Петр. Вы, как мне кажется, недовольны?

Разумовский. Под таким простым предлогом вы удаляете меня из Петербурга. Это что, опала?

— Пусть так. Как хотите, — сказал Петр, запрокинул свое больное, горящее лицо, на лицо упал луч солнца, луч — как выпал из узенького окошка на лицо, и Петр стал по лучу выпускать старательно колечки дыма, не вставая, схватился за эфес шпаги и закричал на гетмана фальцетом, и побежал по кабинету с трясущимся от ярости лицом, выхватив шпагу и не зная, что с ней делать, размахивая шпагой в воздухе так, что в единственном солнечном луче блестел, блистал клинок, потом государь как-то остановился, отвернулся, повернулся лицом к лицу, не спуская глаз с затаившегося Разумовского, и старательным движением, судорожно вложил шпагу в ножны, не глядя, спросил гетмана в лицо, выдыхая остатки

дыма, а папироса, сломанная, чуть-чуть дымилась на каменном тусклом столе, в каменной пепельнице в форме китайского дракона, Петр спросил и расхохотался в лицо:

— Граф! Зачем вы отрастили такие усы — торжественные?! Для популярности среди солдат? Вы достаточно популярны, вас называют вождем заговора. Что вас держит в Петербурге?

Разумовский — не Панин. Гетман собрался с силами и приготовил обстоятельное и лицемерное опровержение, он как-никак был подготовлен ко всякого рода императорским выходкам или, как впоследствии он гордо говорил, «вывихам». Разумовский набрал воздуха в легкие, чтобы произнести все свое продуманное и передуманное, но император подмигнул ему, взял под руку, шепнул на ухо:

— Пошел вон.

И Разумовский вышел вон.

Все растерялись.

Двадцать седьмого июня к одиннадцати часам вечера сорок офицеров, несколько тысяч солдат, один из вождей — Григорий Орлов в Петербурге, и еще один вождь, брат Алексей Орлов в Петергофе, — вдруг пропили последние деньги из ста тысяч, взятых взаймы у Фельтена. Перед вождями стояла угроза второго, может быть, и неплатного займа. Все взгляды были обращены на Никиту Панина, это он больше всех остальных говорил о торжестве справедливости, но Панин был так перепуган, что болел и не знал, когда сумеет поправиться. Искали Дашкову со всеми ее родственниками, но ни Дашковой, ни родственников нигде не было. Видели Дашкову пять дней назад на ужине у императора, у статс-дамы горели глаза, и она говорила гадости голштинцам. Никто и не предполагал, что глаза-то у Дашковой горели и сейчас, но она лежала и молилась в своей спальне, в доме на Мойке, чтобы пронесло и этот вечер. Несколько свечей слабо поблескивали в ее спальне, и она не знала, что делать, — суматоха и неразбериха, все пьянствуют, все перебегают из одного дома в другой, у всех — свежие слухи, на глаза показываться никому нельзя — заплюют, если признаться, что переворот обернулся полным ничегонеделаньем.

Действовал один Разумовский.

Двадцать седьмого июня после аудиенции у императора он понял, что намеки и бешенство Петра доста-

точно недвусмысленны, что нужна маленькая искорка, чтобы привести в совершенную ярость государя, и его долготерпение и самоистязания придут к закономерному финалу: Петербург отпразднует казни своих вчерашних вождей с не меньшим упоением, чем отпраздновал бы завтра казнь Петра III.

Разумовский не размышлял, — бессмысленно. Чем больше размышлений, тем больше колебаний и всяческих «но»; президент поскакал в Академию наук, поднялся в свой кабинет по мраморным лестницам, только позабыл про шпагу, не придерживал ее как надо, левой рукой, и шпага волочилась и стучала, пересчитывая ступеньки, Разумовский уселся в кабинете, развалился, откинулся в красном бархатном кресле и стал рассматривать коллекцию маленьких минералов, прикрепленных проволочками то ли серебряными, то ли стальными к небольшому фанерным щиткам, покрашенным белой масляной краской, и — проклятье! — президент предупреждал, что белую краску засидят мухи, мухи действительно испещрили все щиты точками так, что пестрило в глазах, какие уж тут научные интересы, ведь коллекцию месяца назад привезли с Урала, Разумовский судорожно подергал какой-то шнурок (сколько раз он выговаривал Тауберту, что шнурок, эту дурацкую веревочку, пора вырвать и выбросить к чертовой матери, а повесить золотой прут, что ли, чтобы было хоть за что подержаться), и, когда звонок зазвонил внизу и в кабинете появился дисциплинированный Тауберт (ну и фигура, вся в зеленом, как лягушка на задних лапах), Разумовский заулыбался содержанию академической типографии адъютанту Тауберту, расчесал, распушил узорчатым гребнем пушистые усы, повертел в руках какие-то кристаллы, поднес их к свету, любуясь игрой огней и граней, и потому, что дело обстояло совсем не так блестяще, как сообщал адъютанту, импровизируя, Разумовский (уж кто-кто, а лягуха Тауберт был в курсе всех дел на свете), президент не объяснял, а приказывал, он лгал, но не допускал и мысли, что Тауберт осмелится обличить его во лжи.

Разумовский. Как вам известно, все войска петербургского гарнизона настолько подготовлены, что завтра будут в состоянии произвести переворот.

Тауберт помертвел. Он замахал руками и ногами, он — отмахивался от этих признаний.

Разумовский (как ни в чем не бывало). В подземельях нашего дома, моего и вашего — Академии — у же

находятся наборщик и печатник с их инструментами для печатания ночью манифеста о перевороте или о восшествии на престол императрицы Екатерины Второй.

Тауберт (*с отчаяньем*). В подземельях никого нет! Вы — знаете!

Разумовский (*с легкой укоризной, с облегченным лицом*). Позвольте знать — мне, кто там есть, а кого не хватает. Вы сейчас же спускаетесь к ним, чтобы наблюдать за корректурой.

Тауберт, дергая лягушачьими ножками и ручками, восклицал:

— Вы провоцируете! Вы хотите, чтобы все сделал я своими руками, чтобы за все отвечал я. А не вы. Я не хочу! Преступление! Прошу избавить меня! Глупость!

Разумовский, — руки — обшлага — кружевные манжеты, в пригоршнях кристаллы, — как будто дирижируя оркестром восклицаний Тауберта:

— Посмотрите на себя, как вы еще дышите, по это уже дыхание мертвеца. Неужели вы не понимаете, что мне теперь остается только убить вас, потому что вам стала известна моя тайна, я приобщил вас к славе или к смерти. Вы знаете так много, что положение ваше — безвыходное. Тут дело идет не о детских игрушках, а о моей и вашей голове, вместе взятых. Будьте же благодарны, что свою голову я приравнивал к вашей. Отправляйтесь.

Тауберт отправился, поминутно вздыхая. Трое солдат лейб-гвардии Измайловского полка сопровождали его в подземелье. Для пушей безопасности. И остались с ним. С заряженными ружьями.

Двадцать седьмого июня в десять часов вечера, в четверг, не переодеваясь и не перекусив, но и не позабыв захватить с собой несколько бутербродов и бутылок рейнвейнского, Кирилл Разумовский в многоместной карете для особых поручений, в простой почтовой карете без гербов, по петергофской дороге через Калинин мост, без конного конвоя, на козлах — кучер, поскакал в Петергоф, а в Зверинце, чтобы не переполошить часовых, оставил и замаскировал карету и с черного крыльца прокрался в павильон Монплезир. Было четыре часа утра, белые ночи, рассвело, безлюден петергофский сад, двое часовых в припудренных париках поставили на ступеньки дворца одну бутылку — хитрость, чтобы никто не видел, ставили по одной бутылке, а уже выпитые выбрасывали, на газете лежали объедки курицы, часовые игра-

ли в карты и нет-нет поднимали кулаки, красные, чтобы побить друг друга за что-то, известное только им двоим, но не подрались, а рассмеялись, оглядываясь. Пусть смеются. Гетман снял сапоги, но не выбросил их, а отнес и бросил в карету, в шелковых фиолетовых чулках, в малиновом камзоле, который серебрился, на цыпочках, Разумовский прокрался к двери спальни императрицы. Он и шпагу оставил в карете, отстегнул, — излишние предосторожности, дворец спал, спали фрейлины и лакеи, проснулся только повар и позванивал металлической посудой в подвале, на кухне, и что-то спросонья бормотал, и бормотанье было слышно на втором этаже, где паркет сверкал как новенький и на стенах, на матерчатых обоях, позолоченных, в цветах, белели блики солнца. Разумовский, как за рукоять шпаги, схватился за ручку двери, серебряную, ледяную, распахнул и сказал вполголоса, в пустоту:

— Пора вставать. Все готово, чтобы провозгласить вас.

Окна были занавешены золотыми занавесками, кисейными, полумрак, дыхание, императрица спала чутко, а фрейлина Шаргородская за ширмой, в углу, где окно и ломберный столик. На ковре валялись бутылки после вчерашнего пиршества, туфли, лимонные корки, ковер тусклый, красные цветы ковра еще не расцвели, они расцветали только тогда, когда раскрывали золотые занавески и спальня приобретала вид торжественный, царский, — масса золотых вещей, гобелены, бархат, атлас, подносы, старинной работы кубки. Императрица проснулась и сказала:

— Кто вы? Отвечайте.

Он назвал себя.

— Подробности! — сказала императрица в постели. Она не любила импровизаций, она искала истину, суть дела и действия.

— Никаких подробностей! — отрезал Разумовский. — Вставайте! Все арестованы! Выхода нет! Или — или!

Ложь, арестован лишь Пассек, офицеры еще валялись, как овцы, со слипшимися ресницами, блеяли с похмелья, шампанское шумело, кудри петляли, а бунт уже продолжался, и малиновый камзол Разумовского да усы восходили над Невской перспективой, Петербург пировал, «ура» неизвестно кому-почему, вот и вожди, лейб-гвардии офицеры числом сорок, просыпаясь, догадались в оконце: толпы июньских мундиров, тиктаканье юноше-

ской конницы, гул в гуще событий, — всем сейчас же присоединиться, возглавить полки-штыки-курки, — наитье неба, воздух вдохновенья!

Вставайте! Или — или! Безысходность, император недвусмысленно сказал: «Пошел вон!» — читай: Шлиссельбургская крепость, казнь или каторга, финал; «быть или не быть» фавору фамилии Разумовских? Алексей, брат старший, вдовец Елизаветы Петровны, уже опустился, облысел, спивался и жрал жутко, сжигал в семейном камине секретные документы времен своего фавора, недосыгаем, — он, потому что трус и лакей, призадумался о своей свободе и ничуть не был унижен сим семейным самоожжением, а Кириллу, брату младшему, «пошел вон!» — гетману, академику! Никого не нужно посвящать в свои замыслы, захотят — запугают, запутают, пусть слава финала, счастья или смерти — ему одному, хорошая храбрость, самопоенье бунтовщика-самоучки (как будто есть университеты бунта!), безоглядная отвага дилетанта сбили с толку Екатерину, все с ног — сбились.

Ему — спасенье фамильной чести, у нее — и фамилии никакой не было, ее еще никто не знал и себя она — не знала и знать не могла никак; лишь самодержавный скипетр проявил ее способности (всесторонние, как выяснилось!). Этот Разумовский, сверстник ее супруга, немолимый мститель за пустяковые обиды, любитель-авантюрист, фронт с развевающими усами на юношеском, несколько вопросительном лице. . .

Ее лихорадило, она схватила бутылку с магнезией, думая, что вино, булькала бутыл, губы не вытираются, пудриться некогда, потом, завтра, когда-нибудь, а сейчас — быстрее, поумнее бы, но что на уме?! — действовать, любые движения, чтобы оглушить возбужденье, ее поташнивало от восторга, или это была та знаменитая тоска в ожиданье «конец — делу венец», или это была та, еще не исследованная, тупость начала, которую историки пытаются объяснить, всесторонне штудирова документы начала, но забывая, что помимо документов существовали еще и движения, конвульсии губ, обкусанный ноготок на мизинце, детали одежды — расстегнутая английская булавка или трудолюбиво застегнутые пять пуговиц (четыре керамические и одна оловянная), сморщенный в гримасе отчаянья чулок, тикающее на блюдечке бриллиантовое колечко, всхлип-междометие, вдруг объясняющее всю суть характера, — детали более по-

казательные, чем тысяча лет объятий с каким-нибудь персонажем истории.

Так или иначе, все шло по правилам никем не изученного механизма начала, когда закрутилось крошечное колесико, оно притрагивается к шестеренке, а так винтику, и вот уже напряжены все пружины и вихрь кружения, удары маятника, гири противовесов — механизм работает и никаких случайностей, а поверхностный глаз испытателя воспринимает это, в сущности, случайное движение как естественное, если испытатель повседневный механик, ремонтник, но не аналитик.

Так Разумовский разбудил-обманул Екатерину, Екатерина разбудила свою фрейлину-часового Шаргородскую, Шаргородская воспрянула и пошла в противоположную сторону будить камер-лакея Шкурина, все-таки отыскала его спальню, вложила в замок бронзовый ключ, а ключ кляцал (еще не опомнилась ото сна), Шкурин сам проснулся, когда услышал ключ, спрятался под одеяло, сильнее на солнце, боялся, страшные слухи не возникают без оснований, арест, как правило, касался и лакеев, тоже причастны к тайнам, пусть не государственным, но не менее важным — альковным; Шаргородская растормошила и жену Шкурина, и жена, проклиная все рассветы, в папильотках, в пудермантеле с кисточками по подолу, пошла, переставляя свое слоновье тело со ступеньки на ступеньку, тряся вялым лицом в слоновьих складках (очки — в железной оправе!), вот и флигелек, каменный, увитый снаружи-изнутри плющом по голому кирпичу, подхватила Алексея Орлова, как мумию, поставила на две ноги.

А капитан-поручик Василий Бибиков (впоследствии — полководец), который спал тоже во флигельке, хочутун со смешными усиками, второпях забыв позвать лакея, натянул ботфорты на босу ногу и с некоторой странностью, с сомнением посматривал на ботфорты, которые — свои, но слишком свободны, и думал он: свои ли, чужие ли сапоги, чьи же? почему и Орлов остался ночевать в Петергофе? перепились или побоялись ехать в Петербург? Вот — остались, вот — первопричастны к событиям, и он, Бибиков Василий — звезда, счастливец, баловень.

Они запыхались на ступеньках, а в спальне делать уже было нечего, да и не «уже», а вообще, Екатерина переделалась в простое платье с простым воротничком, безмолвен Разумовский, статуя с усами у дверей спаль-

ни, и в руке, право, не шпага, а — бутерброд с колбасой, который он сунул в сумку, чтобы в суматохе перекусить, но не до завтраков, так и держал в правой руке с опущенным и завянувшим кружевным манжетом — бутерброд с толстым красным куском колбасы, который совсем спрессовался между двумя дощечками хлеба. Бибииков взял бутерброд и передал почему-то Орлову, а Орлов, не думая об эстафете, — Екатерине. Она более внимательна, понюхала и выбросила, уронила в плетеную корзинку для бумаг (у двери), в корзинку, сплетенную из чугунных прутьев.

Шкурина и Шкурин на запятках, Орлов — с кучером, Бибииков — на подножке, Разумовский, Шаргородская, Екатерина — в карете, ехали, и не существовало времени, Алексей Орлов страстно порывался сказать, что позабыли взять оружие, хотя бы шпаги, мало ли что, а собственная шпага ой как не помешает для сохранения собственного достоинства, — так он думал, но раздумывал всякий раз, когда порывался сказать, потому что могут приписать и трусость; все молчали, и Орлов, перед ними в звездных нимбах мерцал престол или скалистая пропасть ничем не возмestimого забвенья, потому что русский риск — «или грудь в крестах, или голова в кустах», и это лучше всех понимал Разумовский, а понимать-то пока еще было и нечего, никаких выводов делать нельзя, предвидеть последствия еще не свершившихся фактов умеют только беллетристы, они конструируют свою посредственную философию по схемам «жизненного» чертежа и калькируют эти схемы, так получают «художественные произведения, которые имеют воспитательное, познавательное, историческое значение», а произведение не имеет никакого права иметь ни одно из этих пресловутых значений, оно имеет лишь значение произведения искусства, — живая жизнь самостоятельного и независимого организма земли. Беллетрист же — лишь инструмент для создания таких живых организмов — произведений, но есть еще жалкие и самовлюбленные дилетанты, которые воображают, что в силах состязаться с природой, в силах перевоспитать род человеческий.

Не доезжая до Калинкиной деревни (слободы своего Измайловского полка!), Разумовский задержал карету, взял крайнего (красного!) коня, ускакал, а карета поехала помедленнее, готовая и ринуться вперед, и обратиться в бегство. Эта бешеная скачка Разумовского на

красном *развеваемомся* коне решала, решила судьбу Российской империи на тридцать четыре года вперед, ведь у солдат полковник пользовался наивысшим авторитетом. Он заявил: дело делается и пропадай все пропадом, «завяз коготок — всей птичке пропасть», что бы ни было — солдат есть солдат, а в ответе — он, полковник. Если же победа — о, обещанья, вот победим и посмотрим, но так уже не жить, хоть какие-то перемены, воюй, ребята, пируй, братцы. Разумовский знал, для чего ворвался на *развеваемомся* коне — красном, в камзоле — малиновом, с усамн — гетманскими; вольница! молодость! — о, объясненья! Солдаты ходили кое-как и кто куда, полковник бросал краткие и грозные команды: «Солдаты, стройся!», «В колонну по восемь становись!», «Трубач, тревогу!», «Барабаны, полный поход!».

Солнце уже светило всюду, на западе затуманились белые влажные облака, солнце так разошлось, что неминуемо — быть дождю, и дождь был в этот день 28 июня, дождь разразился в два часа пополудни, но никому не помешал, впоследствии участники восстания писали: было солнечно, но это «солнечно» — абберация памяти счастливых победителей, по сводкам газет — был самый настоящий дождь и холодновато, еще четыре дня дождь — не прекращался.

Солдаты организованы, трубачи, барабаны, звон знамен, локоть к локтю, к штыку штык, вставала солдатская Россия, в стволы ружей забивали пули — шомполами! эта мужественная музыка, это охватившее всех чувство часа! — Разумовский *развевался*, маршал из пастухов, хорошо, что он родился на восемнадцать лет позже брата, неизвестно, что бы он сейчас восклицал, в каких травах стриг овец, на каких плацах бил обухом свиней; когда Кирилл родился, его брат уже был в фаворе, хорошо, что Елизавета Петровна любила меланхолическую церковную музыку, а у Алексея Разумовского бас-баритон, чудесный, они полюбили друг друга в церкви, кажется, в Казанской, в первые дни царствования Елизаветы Меланхоличной, в Казанской же и повенчались тайно, как подростки, а и ему и ей было по тридцать пять лет, Кириллу Разумовскому тогда было семнадцать, он без всяких усилий стал тем, кем стал.

Разумовский воскликнул: «Да здравствует самодержавная императрица Екатерина Вторая!» — солдаты подхватили что есть силы; ведь в этот момент на полковой двор по желтому сыроватому песку, утреннему, во-

шла карета, с запяток свалилась жена гардеробмейстера Шкурина, просто так ей было не сойти, она была велика и массивна, и солдаты приняли ее за императрицу (Екатерину еще никто из солдат не видел), и это Шкуриной с ее железными очками солдаты воздали первое «ура», и Шаргородскую солдаты по ошибке приняли за императрицу, не виноваты они в своем неведении, никто не предупредил, а портреты ЕЕ еще не висели в каждой казарме, солдаты закричали с воодушевлением «ура», чтобы исправить свою первую ошибку, и, пожалуяста, ошиблись во второй раз, а уж в третий раз, чтобы не было какого-нибудь нежелательного инцидента, ведь солдаты могли замолчать от смущения и уже пристально приглядываться ко всем женщинам, выходящим из кареты, и, хотя больше в карете никаких женщин не было, все-таки, на всякий случай, Разумовский воскликнул: «Вот — ОНА!» — и солдаты в третий раз закричали «ура», а потом еще многократно, уже никакой ошибки быть не могло, пошибались и хватит, нужно исправляться, достаточно оплошностей, нужно кричать громогласно, пусть перепугается весь Петербург!

По всему Петербургу били барабаны.

Канонада колоколов!

В Казанской церкви провозглашали многая лета императрице всероссийской Екатерине II. Церковь была набита битком — «негде яблоку упасть». От человеческого дыхания заиндевила церковная утварь. Вода капала с потолка, как в бане.

Измайловский и Семеновский полки окружили Зимний дворец.

Преображенский и конный полки заняли внутренние караулы.

На остальных улицах центрального Петербурга были расположены остальные полки: артиллерийский, четыре армейских, составляющие весь петербургский гарнизон, полки — Ябургский, Копорский, Невский, Петербургский. В двенадцать часов дня к мятежникам присоединились еще два полка: Астраханский и Ингерманландский.

Преосвященный Вениамин, архиепископ Петербургский, обходил полки и приводил их к присяге. Старец в епитрахили, как в латах, ходил возбужденно, без усталости. Это его погубило. К вечеру он так устал, что слег и кашлял кровью. Ему хотели пустить кровь из ноги или из руки, но тело так иссохло, что ни о какой крови не

могло быть и речи, тем более что кровь потом хлынула изо рта, и он скоропостижно скончался, если смерть можно считать скоропостижной в девяносто четыре года. Он умер. Его тело не вытянулось, а сникло, он лежал как пергаментный. В его лице Россия потеряла большого администратора церкви. Умер он как-то странно — не лихорадило, даже не дрожал, ему поставили пиявки, потом пиявки отпали и преосвященный преставился. Он приводил к присяге солдат восьми императоров и ни с кем из восьми не имел ни трений, ни пререканий. Вот — восемь: Петр I, Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иоанн Антонович, Елизавета Петровна, Петр III и — Екатерина II.

Полки не распускали. Напряженно ожидали контрдействий со стороны Петра III.

Екатерина II так распланировала оборону на случай контрдействий. Батальоны стояли в боевом порядке вокруг старого деревянного Зимнего дворца, в окрестностях Летнего сада. Батальоны расставили по морским улицам до Коломны.

Так войска простояли до десяти часов вечера. Вокруг солдат кружились лакеи и простолюдины. Они хотели знать, что происходит. Но никто не знал.

Все были навеселе.

«Навеселе» — это историческая формула, все были пьяны до безобразия. Солдат поили кабатчики и офицеры, послы иностранных держав выкатывали бочонки вина и любовались живой историей, чтобы покрасочнее написать депеши своим государям, а следовательно, и потомкам. Они сами сидели у своих домов, на маленьких скамеечках у своих бочонков, и поили солдат из ковшика и кормили солдат леденцами — с руки, как голубков. Если бы у Петра III хватило сообразительности организовать оборону, то десяток пушек с хорошо обученной прислугой в два счета, в течение получаса, распугал и разогнал бы эту вдребезги пьяную орду, эти тучи, тысячи, у которых от пьянства уже онемели руки и окаменели головы.

Каптенармусы постарались: на особых фурах они привезли елизаветинские мундиры, и солдаты сбрасывали, выбрасывали в Неву, в Фонтанку и кто куда ненавистные им дисциплинированные каски и мундиры прусского образца и переодевались в старые елизаветинские мундиры, которые, оказывается, еще до сих пор хранились в полковых цейхгаузах.

Немцы-трактирщики выносили драгоценные бочонки и бутылки, оплетенные пыльной соломой. Греки-кабачики выносили вишни, каракатиц, раков, лангустов, колбасы, маринованный виноград, фаршированный перец. Эти сутки оплачивала императрица.

Все было бесплатно. Женщины — осатанели. Солдатские невесты и девки с неистовым блеском очей, с противоестественной быстротой, бегом-бегом, побыстрее — побольше успеть и унести, поменьше упустить, — простоволосые, без башмаков, пьяные и непьяные, таскали пиво, мед, водку — кто что мог, кому что попало под руку — графин, ушат, глиняный или стеклянный кувшин, медный таз, наспех ополоснутое помойное ведро, банный ковшик; они сливали это нечаянное счастье в кадушки, вываливая из кадушек на каменный пол казармы прошлогодние запасы — соленые огурцы и квашеную капусту, в которой квасились еще яблоки и арбузы; а сами солдаты, буйные и мощные мужи, основная сила восстания, валялись уже на исторических улицах, как окурки: сегодня простительно, они сделали дело и гуляли смело, их забирали и не наказывали.

В 10 часов вечера 28 июня 1762 года, в пятницу, Екатерина выступила в поход. Из Петербурга — в Петергоф.

Императрица отдала приказ — полки пошли. Церемониальным маршем — повзводно — с распущенными знаменами — с барабанами — по петергофской каменной дороге.

Ни обеда, ни отдыха.

Жены, у которых кибитки или одноколки, предусмотрительно поехали за войсками: подкармливать мужей-солдат и посматривать зоркими глазами за их поведением в Петергофе, окрестности которого прославились на всю Россию кабаками и постоянными посетительницами кабаков.

Солдаты шли невеселые, недоумевая: с какой целью они столько стояли на улицах, а теперь почему пошли? Солдаты плевались и нехорошо говорили о современниках.

И тогда! — в сиянии белой ночи, в нямбах беззвездного неба, на фоне лунного пространства (так сказать!), на белом большом ковре, в офицерском мундире Семеновского полка, со свитой освободителей отечества — мальчиков-офицеров, — с обнаженной шпагой в правой руке, обольстительная амазонка с влюбленным лицом

в брезжущем лунном свете (так сказать!) — императрица Екатерина II проскакала в факельных искрах во главе восставших войск!

Никакой опасности ниоткуда, всю ответственность за событие она взяла на себя.

Простодушные войска простили все сегодняшние обиды и бесновались от счастья. Солдаты бросали в воздух мушкеты, шапки, офицеров.

Факелы — пылали!

Офицеры-фавориты, их приятели по перевороту воскликали здравицы, позаимствованные из эллинской и римской мифологии. Офицеры попроще срывали отличительные знаки — бляхи Петра III, бросали их солдатам, солдаты привязывали знаменитые знаки к хвостам вездесущих собак, собаки бегали (веселились), золото звенело, смех, лай, стрельба, факелы, жестикуляция, ржанье!

Впоследствии солдаты разыскали бляхи, попытались воспользоваться ими, но в кабаках уже были (тут как тут!) предупредительные офицеры, они сами знали (сообразили!), сколько вина отпускают за бляшку золота.

Было холодно и светло от луны.

Солдаты не спали, и вороны не спали. Как во все времена, вороны летели за войском — инстинкт наживы: где войско — там трупы.

Не доходя до Стрельной, отдыхали. Есть расхотели, поташнивало (устали), костров не разводили.

Было совсем светло, туманно.

Раскатали и расстелили шинели. Упали и уснули, положили под усаые головы кто кулак, а кто кружку. Спали час двадцать минут и пошли. Шутили и матерились спросонья. Жаждали боя.

Вороны уже успокоились (какое карканье!) и спали со всеми. Солдаты встали — вороны расправили крылья, заговорили вороньими голосами, побежали по дорогам, кувыряясь, а потом полетели, сутулясь в воздухе.

Уже одежда солдат завяла от росы, а ласточки свистали над войском.

Под Петергофом оживились.

В Зверинце стояли пушки. На маленьких возвышенностях в Петергофском парке, у фонтанов стояли пушки. Фитили горели. За пушками стояли голштинские батальоны и кое-какие полки.

Что затеял Петр III? Почему стояли солдаты и жгли

декоративные фитили? Ведь по первому требованию императрицы они сдались в плен.

Сводный отряд казаков так перепился, что казаки не узнавали своих коней, поехали совсем не в ту сторону, не в поддержку императрице, а на помощь императору. Войсковой атаман Ефремов, командир отряда, слава богу, свалился с коня, так уж ему повезло, пришла, видно, и его очередь и заблестала и его звезда, он свалился в воду с Калинкина моста, его вытащили, и это-то и спасло отряд, потому что после купанья атаман Ефремов совсем осатанел и ошалел, отряд совсем закружился и возвратился в Петербург. Отряд состоял из казаков донского, яицкого, гребенского и терского войска. Почему они повернули — никто так и не мог ничего объяснить ни сейчас, ни впоследствии. Во всяком случае, за такой подвиг — они не пошли на помощь императору, а почему-то присоединились к императрице — войсковой атаман Степан Ефремов получил золотую саблю, старшины, атаманы и есаулы — золотые медали, а казаки — по десять рублей. И всем было хорошо.

В 10 часов вечера Екатерина возглавила войско. И вот, откуда ни возмись, из какого-то простого переулка, на белом коне, в гвардейском мундире, вылетела Дашкова, она скакала во весь опор со всеми своими мечтами о славе и свершениях. Она подъехала (уже потише!) к Екатерине, стала поздравлять ее, трясти ее. Екатерина выдержала объятия, выслушала восклицания, взмахнула шпагой и отъехала, оставив Дашкову наедине с ее девичьими грезами о монархии. Впоследствии в списке награжденных за 28 июня фамилии Дашковой не оказалось. Нужно было ей прискакать чуть-чуть пораньше, что ли.

Петербург опустел.

Двадцать восьмого июня 1762 года день дождлив и тускл.

Не настоящий дождь, мутно моросило, дождик мелкий, желтоватый, какой-то *пшениный* дождик не усиливался и не ослабевал.

Парики промокли, мундиры провисли, солдаты караула, оставленные в столице на всякий случай, стояли, как толпа тряпичных кукол, виднелись лишь пуговицы из мутной меди.

На Невской перспективе, застекленной, за стеклами на мраморных подоконниках, в белых фаянсовых горшках производства завода Ломоносова — заросли, джунг-

ли цветов и домашних деревьев. Вечером это хозяйство не поливали, завтра утром поливать не будут, и сегодня был дождь, и завтра ничего не предвидится, кроме дождя, окна уже можно держать открытыми, — все спокойно в спящем Петербурге. Все спокойно.

— ВЫ ВИДИТЕ, НЕ Я ДЕЙСТВУЮ: Я ТОЛЬКО ПОВИНУЮСЬ ЖЕЛАНИЮ НАРОДА, — сказала Екатерина II, Великая.

— ГОСПОДА СЕНАТОРЫ! Я ТЕПЕРЬ ВЫХОЖУ С ВОЙСКОМ, ЧТОБ УТВЕРДИТЬ И ОБНАДЕЖИТЬ ПРЕСТОЛ, ОСТАВЛЯЯ ВАМ, ЯКО ВЕРХОВНОМУ МОЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ, С ПОЛНОЮ ДОВЕРЕННОСТЬЮ ПОД СТРАЖУ: ОТЕЧЕСТВО И НАРОД, — еще и так сказала Екатерина II, Великая.

8

Император Российской империи Петр III играл на скрипке. Жест, достойный римского консула: с 10 часов утра и до 10 часов вечера, без передышки, Петр играл на скрипке, наутро следующего дня подписал отречение от престола.

Он повсюду с собой возил скрипку. Он не расставался с ней, иногда забывал шпагу, но скрипку — никогда. Он и спал со скрипкой. Неизвестно, как он играл: одни вспоминали — из рук вон плохо, другие — дивно.

Когда адъютанты его свиты сообщили, что императрицы нет во дворце, что они — обмануты, император ничего не сказал, он взял скрипку, ушел в сад, в беседку, сел, заиграл и играл не переставая до последней минуты, — в 10 часов вечера они уезжали в Кронштадт, чтобы спрятаться и защищаться.

В 11 часов утра, 28 июня 1762 года, в пятницу, в Петергоф прискакал генерал-майор Михаил Львович Измайлов. Он и не попытался разобраться в том, что происходило в столице, он бросил столицу и прискакал в Петергоф, чтобы «бороться до последней капли крови».

Болтливый, шумливый, крест-накрест перетянутый лакированными ремнями, толстобрюхий, — большой барабан в ботфортах! — Измайлов наболтал, нашумел, натряс брюхом, — набарабанил о событиях в Петербурге, о которых ничего не знал даже понаслышке, «предан императору беспредельно», и предложил (сию же секунду!) назначить командующим голштинскими личны-

ми войсками императора — кого же? а как же, его, Измайлова!

Петр попросил фельдмаршала Миниха «не надеяться на его, государя, мнение, а действовать, как действует».

Фельдмаршал граф Миних, усатый и суетный, в мундире, испачканном мелом (деревья белили, он нет-нет прислонялся к деревьям — не те силы, не тот возраст), в золотых толстых очках, рассердился сам на себя и пошел, чтобы отдавать самостоятельные распоряжения, Петр сказал — действуй. Миних действовал. Все получили противоположные распоряжения, бежали сломя голову в беседку, к Петру, там играла скрипка, и Елизавета Воронцова «не хотела оставить государя в тревожном состоянии духа, все вертелась и вертелась вокруг него».

На все, что ни спрашивали, Петр соглашался, — кивок головой, не выпуская скрипки. Теперь он ни к кому не присматривался: кто-то что-то попросил — хорошо! пускай!

Так генерал-майор Измайлов был назначен командующим императорской гвардией — голштинцами, — которые стояли сейчас в Ораниенбауме и их еще никто не вызывал в Петергоф. Измайлов поплутал по садам и огородам дворца, кое-как собрал десятка три совсем юных солдатиков, необученных, а поскольку они были голштинцами, то и приступил генерал-майор к исполнению своих обязанностей командующего. Гром его голоса — раздавался! Солдатики то строились, то бросались враспынную, то выкатывали пушки и ядра из Зверинца, то закатывали пушки и ядра, то заряжали ружья, то, побросав ружья, ползали по песку и по клумбам, вскакивали, как будто выскакивали из-под земли и бежали невесть куда, на какие-то бастионы (фантазия генерал-майора!). В конце концов Измайлов был удовлетворен своими командами, накомандовался, отнаслаждался властью и попросился в Петербург, его мучила жажда действия, он сказал Миниху, а потом Петру, что настал час! Захлебываясь, потрясенный собственной энергией и инициативой, с большим чувством ответственности, он сказал, что «настала насущная необходимость, чтобы отправиться к императрице именно ему, Измайлову, а он, пользуясь своим влиянием, он попытается усювестить императрицу». «Постой, дурак, — подумал Петр, — пустая попытка», Но отпустил.

Генерал-барабан забрался в коляску с восторженным выражением на безволосом лице. Он ускакал в Петербург. Он прискакал в Петербург. Он добросовестно и бесстрашно призывал Екатерину «к прекращению действий», она и не смотрела на генерал-майора, она смотрела в окно Зимнего дворца на море солдатских голов — вдохновляющее и трогательное зрелище, — она только обернулась и ухмыльнулась: ну и генерал-барабан, в ботфортах! Потом отвернулась и сказала: хватит вращать языком, пора возвращаться в Петергоф и уговорить императора побыстрее отречься от престола, «пока не пролилось море человеческой крови». «Правильно!» — восхитился простодушный толстяк и с восхищенным выражением на безволосом лице — румянец во все лицо! — вскарабкался в экипаж и ускакал в Петергоф.

Ускакал и прискакал. Вспомнил, что он командующий. Но его войска, к сожалению, еще не вышли из Ораниенбаума, поэтому он написал депешу-молнию и отправил с вестовым своему войску, — дескать, «сопротивление бессмысленно, сдавайтесь, дети мои, вас помилуют и полюбят».

Потом Измайлов полетел (толстый ангел, красноликий, на невидимых мощных крыльях) к Миниху и посоветовал отречься от престола.

— Опомнитесь, вы не юноша, от какого такого престола мне отречься? — рассвирепел Миних.

Измайлов полетел по другому воздушному течению и опять возвратился к Миниху и попросил отречься. Миних всплеснул руками и плюнул ему вслед, когда барабан полетел к Петру.

— Будьте снисходительны, — болтал Измайлов чуть не плача. — Я хочу убедить вас непринужденно отречься от престола. Прошу вас!

Император взмахнул смычком, как хлыстом, и сказал: он ничего не расслышал, пропустил глупости мимо ушей, какой генерал счастливчик, что не умеет связывать хорошенько слова со словами. Петр сказал Измайлову: он вручает ему пакет (осторожно, сургучные печати), пусть генерал срочно отвезет пакет Екатерине, в пакете инструкция — как вести себя дальше, чтобы более успешно прошел переворот.

Измайлов поскакал в Петербург, возвратился в Петергоф и вручил Петру государственную бумагу — акт об отречении. Акт был написан на нескольких огром-

ных страницах, пронумерованных, а составлен с таким количеством оговорок, что Петр не стал его и просматривать. Но и не подписал.

В беседке стоял мраморный столик, Воронцова вышла, на столике зеленые бутылки и два стакана. Петр не стал подписывать, а показал на стаканы, Измайлов понял, что надо выпить, ведь он с самого утра бегал — не ел, не пил. Он протянул жирную волосатую руку, но Петр взбесился:

— Не тебе, дурак! Это ее стакан!

Измайлов с обиженным лицом ускакал в Петербург.

Двадцать девятого июня за все свои подвиги генерал-майор Михаил Львович Измайлов получил от императрицы Александровскую ленту.

В 12 часов дня из Петербурга в крестьянской одежде пришел французский подданный, придворный парикмахер Брессан. Таких крестьян еще не знал восемнадцатый век — в прекрасном парике с бриллиантовым гребнем, ногти наманикюрены. Кто его пропустил через екатерининские заставы — уму непостижимо.

Ничего положительного Брессан не сообщил, он пришел, чтобы присутствовать при особе его императорского величества, на всякий случай, если понадобятся его услуги, — кому же побрить императора, как не Брессану, и ногти у монарха запущены, и одеколон со вчерашнего вечера выдохся. Все время, пока происходил переворот, двое суток, не смыкая ни на минуту глаз, парикмахер ходил за императором и бдительно следил за состоянием его одежды и волос, ходил он с саквояжем, там — парикмахерские инструменты, щетки для волос и для одежды. Он ухитрялся подпилить Петру сломанный ноготь или подвить парик.

Еще римский образец слуги: беззаветные заботы за несколько часов до казни.

Петр был растроган. Француз Брессан оказался единственным человеком в России, который не предал императора России. Петр III пожаловал Брессана статским советником и президентом мануфактур-коллегии — чин, равный чину министра финансов. Эти титулы Брессан носил около двух суток. Императрица Екатерина разжаловала его и отправила в Париж.

В час дня к петергофскому причалу пристал баркас.

Поручик Преображенской бомбардирской роты Бернгост привез из Петербурга фейерверк для Сансуси.

Миних сбросил золотые толстые очки, и очки повисли и заблестели с пуговицами фельдмаршальского мундира, Миних спросил встревоженно, когда поручик приблизился:

— Что — там?

Бернгорст. Я слышал шум, и барабаны били. Провозглашали императрицу.

Генералы свиты тоже увидели вестника из Петербурга, не стерпели, их душила ревность и зависть, как и Миних, они сбросили с носа толстые золотые очки и понеслись к причалу, очки болтались, блестели ослепительно. В старческом возрасте — такие бега, но генералы — стальные сердца, не касается их тела ни подагра, ни геморрой, они выбиваются так чисто, что блещут складки их лиц: как новенькие!

Генералы вибрируют, они расспрашивают бомбардирского поручика наперебой, с неослабевающим вдохновением.

Генералы. Кем же ее провозглашают?

Какой у генералов слух! Они находились на расстоянии четырехсот метров, а услышали первый вопрос Миниха и первый ответ Бернгорста.

Бернгорст. Как кем? Императрицей!

Миних (*вмешиваясь*). Ну и что?

Бернгорст. Ну и что? Императрицу провозглашают императрицей! Эка невидаль! Мое дело — не обращать внимания на пустяки, мое дело доставить фейерверк для Сансуси.

Генералы (*перехватывая вопрос Миниха*). Что же наши солдаты?

Миних (*не отставая*). Что же они, шумели?

Бернгорст. О да! Солдаты бегали по улицам с обнаженными тесаками!

Генералы. И это все, что вы имеете нам сообщить?

Миних. Вам небезызвестна, я думаю, сказка о козле и молоке? Генералы, дайте этому идиоту по морде, отпустите его на все четыре стороны, а сами отправляйтесь туда, откуда вы родом.

Миних потрогал эфес шпаги. И генералы — повторили этот жест.

Но всеобщую дуэль остановило общее дело. Пошли в беседку, сказали императору: «Там солдаты бегают с обнаженными тесаками, но прежде всего нужно обеспечить безопасность ВАМ, ОСОБЕ».

Генералы:

— Ваше величество, вам нужно бежать, но — куда?

— Я знаю куда! В Нарву!

— О нет! На Украину! Там у меня — имения!

— Мы настаиваем — в Нарву! Там — войска! Там — действующая армия! Она идет на войну с Данией!

— Пусть так, но нельзя останавливаться в Нарве, нужно бежать в Финляндию.

— Сказал! Нужно — в Голштинию!

— Ха! Я вспомнил, куда ж лучше всего бежать, — в Москву!

— Не давайте дурацких советов!

— Теперь ты — тетерев!

— А ты — тарантул!

Миних был напряжен и нервен, так стар, некоторое время он шевелил толстыми губами, но вот его блеклые глаза вспыхнули, седые брови заходили ходуном, фельд-маршал демонстративно отвернулся от генералитета:

— Ваше величество! Лучше внимать наставленьям мудрого, чем советам безумцев и трусов. Никаких побегов! Мой мальчик! Скачи в Петербург! Сам! Бешеная скачка, прыжок с коня, в самую гущу восстания! Голос — гром! Вопрос: «Солдаты! Объясните причину вашего недовольствия!» Солдаты — растерянность, испуг, мямлят невразумительное. И снова голос — гром: «Солдаты, обещаю вам удовлетворение претензий!» Взмах шпагой! Вперед, хватай императрицу! Так поступил бы Петр Первый, твой дед!

Принесли блюда жареной телятины — натуральные котлеты с косточкой, овощи, бутылки бургонского.

Генералы, со свойственной им серьезностью, стали оспаривать советы Миниха, «находя, что исполнение его советов будет слишком опасно для лица монарха».

В 2 часа дня ординарцы, адъютанты, гусары его императорского величества были разосланы по дорогам в Петербург. «По дорогам» — приказ Миниха. На самом деле в Петербург была лишь одна дорога — через Калинин мост. И вестовые поскакали друг за другом, и их выловили одного за другим.

В 3 часа дня Миних отдал ответственный приказ: флигель-адъютанту Рейзеру отобрать семь необученных рекрутов и отвезти их в Горелый Кабачок, пусть там останутся и защищают Петергоф от нашествия войск восстания. А Рейзер пускай возвратится и обучает остальных не доученных Измайловым солдат.

Миних сделал следующее примечание: голштинской семерке не только придерживать натиск нашествия, но и никого не выпускать из Петербурга. Пусть заставы Петербурга охраняет сеть регулярных полков, нам хватит и семи солдат!

Семеро ускакали.

Около Горелого Кабачка их увидел Воронежский полк. Полк был на марше.

— Куда вы в таком количестве? — спросил Воронежский полк.

Семеро чистосердечно признались: вот какую миссию возложил на них император!

— А вы? — спросили голштинцы, расхрабрившись донельзя.

— А мы вас сейчас немножко арестуем, как вы на это смотрите, мальчики? — воскликнул Воронежский полк.

— Нечего вам семерым заниматься таким боем, потому что: ваш Рейзер — не царь Леонид, вы — не триста спартанцев, а Горелый Кабачок — не Фермопилы. И мы все вместе отправимся в Петербург и примем присягу, — сказал полковник Воронежского полка Олсуфьев.

Согласились. Сказано — сделано.

В 4 часа дня птицы пели, вороны каркали, фонтаны били, деревья шумели деревянным шумом, собаки — лаяли, что-то чирикало в кустах, прекрасные иностранные цветы развивались на русской почве, какие клумбы!

Гудович и Голицын диктовали именные его императорского величества указы. Указы писали пять писцов на перилах шлюза.

Скрипка императора то удалялась, то приближалась, вернее, не сама скрипка, а ее звуки. Петра III осенила какая-то собственная мелодия. И он продолжал игру. Лакеи принесли в беседку блюда с бутербродами и вафлями.

В 5 часов вечера Миних посылает адъютанта в Ораниенбаум, за голштинскими войсками. «Прибыть в Петергоф и окопаться в Зверинце, чтобы выдержать первый натиск».

В 5 часов вечера Миних отправляет в Кронштадт полковника Неелова. Ему было приказано грозным голосом: сформировать команду из 3000 человек с запасом провизии и патронов на пять дней. Отправить эти вооруженные до зубов и снаряженные пищей тысячи в Петергоф. На ботах и шлюпках. Впоследствии Неелов ни-

как не мог вспомнить, действительно ли Миних, фельд-маршал, отдавал ему этот приказ. Не исключено, что и не он. Многим генералам, тоже голштинским, было по семьдесят лет, многие носили золотые очки на цепочке, все говорили грозными голосами. Чья инициатива — осталось тайной.

Но в 6 часов вечера — это помнят все очевидцы — Миних отдал следующий приказ: генералу Девьеру, в сопровождении флигель-адъютанта князя И. Барятинского, отправиться — тоже! — в Кронштадт. Им поручается «поехать в Кронштадт, чтобы удержать за государем крепость».

Что же получается?

Неелов должен освободить Кронштадт от гарнизона и переправить матросов на шлюпках и ботах в Петергоф, а Девьер с Барятинским после этого стратегического маневра должны приехать в пустой Кронштадт и «удерживать за государем» эту морскую крепость собственными силами?!

Да, так получается. Да, действуйте так, и никак иначе, — сказали генералы грозными голосами. Неелов, Девьер и Барятинский уехали.

9

В 8 часов вечера генерал фон Левэн привел голштинцев, и они окопались в Зверинце, чтобы «отразить первый натиск».

Левэн пытается доложить о себе императору, но император совсем уединился с Воронцовой и никого не пускает. Левэн ищет Миниха или не Миниха. Их — увы! — уже нет. Они отдыхают, спят. А где — приказано не сообщать. Вот проснутся — тогда другое дело. Какие известия? Ниоткуда никаких известий.

Кто-то самостоятельно инспектирует артиллерию и докладывает кому-то, что у артиллерии мало ядер, а картечи совсем нет. Добавляют ядер от егермейстерской части, но калибр их «не соответствует орудиям». Ужас! — восклицание. Ну и пусть! — восклицание другое. Успокаиваются.

В 8 часов с минутами из Ораниенбаума в Петергоф прибывает кавалерия. Фон Шильд, командующий голштинской кавалерией, тоже ни к кому не допущен с докладом. Он перемещает эскадроны из одного конца пар-

ка в другой. «Кони, как свиньи, разрыли копытами клумбы!» — восклицание.

От нечего делать эскадроны галопируют по всему Петергофу, Петергоф переполнен войсками, но солдаты чувствуют себя никому не нужными, заброшенными, кавалеристы с большим искусством на всем скаку рубят ветви деревьев, привставая на стременах, лица у них мрачны.

— Как пушки? — спрашивают генерала фон Левэна.

— Пушки — прекрасны! — злобно хохочет Левэн.

Уж куда прекраснее: пушки просто-напросто никак не могут стрелять «за неимением ядер». Куда и кто ука-тил ядра — неизвестно, ведь они когда-то были и калибр соответствовал.

В 9 часов вечера из Кронштадта прибывает князь Барятинский. Он — юн, возбужден, забрызган балтийской волной, он бежит к императору, приплясывая, хороший гонец, его наградят. Император не допускает князя. Но Барятинский — неугомонен. Он кричит в беседку:

— В Кронштадт! Все готово в Кронштадте! Там — спасение! Все готово в Кронштадте для приема государя! Организована оборона.

В Кронштадте, действительно, все готово. Гарнизон Кронштадта и его комендант Нуммерс ждут не дождутся, когда можно будет безнаказанно изменить императору. Но от Екатерины еще нет на это указа. Скоро будет и указ.

Вернее, он уже появился как раз в ту минуту, когда Барятинский сообщал о спасении.

В 9 часов вечера в Кронштадт прибыл вице-адмирал Талызин и предъявил Нуммерсу собственноручный указ Екатерины: «что адмирал прикажет, то и делать». Адмирал приказывает, Нуммерс исполняет. Приводят к присяге императрице гарнизон крепости, сухопутные и морские команды.

В Петергофе в это время собираются плыть в Кронштадт. Оружие решают не брать, слишком тяжелое. Решают взять императорскую кухню и погреб. Переносят на яхту кухню и погреб. На этой затее императорская свита потеряла около двух часов — как раз столько, чтобы (в случае немедленного отплытия) помешать распорядиться в Кронштадте Талызину и захватить крепость.

Потом ищут Петра III. Его нет. Нигде. Пропал. Решают идти в Кронштадт. Поищут и найдут потом.

Яхта и галера отправляются. Запасы погреба и кухни — используются.

В 11 часов ночи галера и яхта на всех парусах, с поварами и музыкантами, идут в Кронштадт. Небо помутнело. Чайки сидят и, как на качелях, качаются на волнах. Мелкая рыбешка мутит воду. От заката на волнах золотые пятна. Настроение — воинственное.

В час ночи флотилия подходит к Кронштадту. Гавань заперта боном. Флотилия бросает якоря метрах в тридцати от стенки.

Все равно стемнело, никто ничего не рассмотрит, и какой-то героический голос кричит с галеры:

— Я — император Петр Третий! Я сам здесь, и чтоб меня впустили!

— Кто ты сам? — спрашивает в трубу караульный на бастионе.

— Я — император Петр Третий!

— Не ври! — говорит задумчивый караульный. — Петра Третьего нет! Был да убыл. Теперь у нас — Екатерина Вторая. Понял? Или повторить? — осведомляется караульный.

— Понял, — ответ с галеры. — Не нужно тревоги. Мы уходим. Не бей в колокол, не буди гарнизон. Пусть проспятся. Мы им сочувствуем. Не надо стрелять из пушек. Вы распугаете всех морских птиц.

Галера на веслах и яхта на парусах уходят в Оранienбаум.

Впоследствии за свои отличные вопросы и ответы караульный на бастионе мичман Михаил Кожухов получил повышение и жалованье за два года.

На следующий день император Российской империи Петр III подписал отречение от престола. Он отказался подписывать диктант Екатерины и написал отречение сам.

«В краткое время моего самодержавного правительства Российским государством, на самом деле узнал я непосильную тягость и бремя, чтобы мне не только самодержавно, но и каким бы то ни было способом, владеть Российской империей — невозможно. Почему и почувствовал я внутреннюю его государственную перемену, которая приведет к падению целости и сохранности России, а меня приведет к вечному бесславию. По всему поэтому, подумав, посоветовавшись с самим собою, беспристрастно и непринужденно, объявляю не только Россий-

скому государству, но и всему миру торжественно, что я от правления государством Российским на весь век мой отказываюсь, не желая во всю последующую жизнь мою ничем в Российском государстве не владеть, или же когда-либо или через кого-нибудь искать себе помощь. В чем клятву мою чистосердечную перед богом и всецелым светом приношу нелицемерно, все сие отрицание написав и подписав собственной рукой.

Июня 29 дня, 1762. Петр».

В Ропше был прекрасный сад с фонтанами. В саду ходили даже заморские птицы. Веранда разукрашена цветными стеклами: мозаика, школа Ломоносова. На террасе стояли статуи, мраморные и бронзовые. По саду бегали борзые, похожие на муравьедов.

Начало июля. Жара. Мухи. Одурающий запах вечерних цветов. Большие бабочки украшают голубой воздух. На деревьях висят гусеницы, самые разноцветные, они висят на собственных паутинках, а пауки плетут паутину между ветвей, блестящие вертикальные сеточки.

Гвардейские гренадеры занавесили окна зелеными гардинами, чтобы императора кто-нибудь невзначай не увидел и не освободил. Выпускать его запрещено: ни в сад, ни на террасу, ни в комнаты дворца, — бдительно следят дежурные офицеры. В комнате императора — табачный дым и пьянство. Карты. Пиво. Веселье. Вот-вот императора освободят и отправят в Голштинию.

Его и освободили бы, но 6 июля Петр III скоропостижно скончался.

Через тридцать четыре года, 11 ноября 1796 года, через пять дней после смерти Екатерины, из ее личной, секретной шкатулки канцлер граф Безбородко вынул записку. Бумага подряхлая, чернила выцвели, почерк пьяный, разбросанный. Канцлер узнал руку Орлова, Алексея.

Текст:

«Матушка! Сам не знаю, как эта беда случилась. Матушка! Его, Петре Третьего, нет на свете! Государыня! Случилась беда! Свершилась беда! Он заспорил за столом с князь Федором (Барятинским). Не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты. Свет не мил: погубили души навек!»

Они его убили.

Этой запиской некоторые историки оправдывают, как это ни парадоксально, Екатерину. Орлов просит пощады и прощенья, раскаивается — следовательно, императрица ничего не знала, а они сами, по собственной инициативе, по пьянке убили Петра.

Как будто императрица должна была убить императора своей рукой. Никого она не убила своей рукой. Достаточно было написать инструкцию, или подмигнуть, или промолчать.

Никто из убийц не был наказан. Наоборот, все сделали блестящую карьеру — каждый на своем поприще.

Обилие пьяных восклицательных знаков тоже ни о чем не говорит, во всяком случае о непреднамеренности убийства. Это могут быть знаки — совсем не раскаиваясь, а торжествуя!

Если отбросить сентиментальные междометия, смысл записки ясен: они напоили Петра, напились сами и зверски убили его, сообщая. Они знали — это мечта ма-тушки.

Орлов пишет: *сами не помнили, что делали.*

Помнили.

Императрица получила записку о смерти Петра в 6 часов вечера 6 июля.

А в 6 часов утра, 6-го же июля, когда Петр еще спал, его парикмахер Брессан, который с навязчивой трезвостью и подозрительностью оберегал особу его императорского величества, вышел в сад на свою ежедневную утреннюю прогулку. Алексей Орлов уже был в саду. Он ждал. Оба обменялись приветствиями, а когда Брессан прошел мимо, подальше, Орлов махнул рукой, и несколько гренадеров схватили и скрутили камердинера. Экипаж для Брессана был приготовлен еще с вечера. Кучер сидел на козлах всю ночь, он не просыпался и клевал носом, а двое солдат с заряженными ружьями уже несколько часов стояли на запятках, переминаясь с ноги на ногу, ноги отекали.

Брессана арестовали и увезли на гауптвахту в Петербург.

Императора спаивали в таком темпе, что он даже не спохватился: где Брессан? Весь день Орлов был нежен и находчив. Пьяный император проигрался в карты, Орлов одолжил ему несколько червонцев. Орлов уже был щедр и сострадал.

Потом и случилось. Тело Петра освидетельствовал лейб-медик Крузе.

Все виноваты, — вот кто там был:

лейб-медик К. Ф. Крузе, сержант гвардии Н. Н. Энгельгардт, капрал конной гвардии Г. А. Потемкин, Григорий Орлов, актер Ф. Г. Волков, лейб-компанец артиллерист А. Шванович, князь И. С. Барятинский (тот, из Кронштадта), князь Ф. С. Барятинский, Алексей Орлов, Г. Н. Теплов.

Все получили серебряные сервизы, а потом — посты.

Г. Н. Теплов стал знаменитым писателем. Тотчас же после убийства он сочинил «обстоятельный манифест» о том, как несчастный Петр III умер от геморроидальных коллик. Он получил за манифест 20 000 рублей. Потом он стал членом комиссии о духовных имениях, потом — сенатором, почетным членом Академии наук и Академии художеств. Г. Н. Теплов женился на М. Г. Стрешенцовой, двоюродной племяннице К. Г. Разумовского. Таким образом, тоже вошел — в семью. Знаменитый писатель восемнадцатого века Г. Н. Теплов писал оды, речи, регламенты, о заседе в Малороссии разных иностранных табаков, наставления сыну, рассуждения о врачебной науке.

Петр III ненавидел канцелярии и церемонии.

Чуть ли не единственный из царей, он ни разу не надел короны.

Он не хотел короноваться, его умоляли поторопиться с коронацией, Петр снимал шляпу, подмигивал, раскланивался, произносил, размахивая шляпой — дурацким голштинским картузом:

— Моя шляпа, а ее марка — Голштиния, намного интереснее русской короны.

Фридрих II, политик и стратег, писал Петру поучительные письма такого содержания:

«Невозможный друг мой! Вы еще не представляете, как будет импонировать народу ваша коронация. Поторопитесь со священным венчаньем».

Петр веселился, подмигивал и писал:

«*Импонирующий* друг мой! Короноваться нахожу невозможным, потому что не готова корона. Ковать ее в моей империи некому, заказывать за границей — скучно и нелицеприятно. Будь что будет — как-нибудь!»

В понедельник 8 июля 1762 года гроб с телом императора привезли в Петербург, в Александро-Невскую лавру.

Император был в своей повседневной одежде. Светлоголубой мундир с белыми отворотами, руки сложены на груди, накрест, большие, с крагами замшевые перчатки времен Карла XII. Никаких орденов. Никаких значков.

Императрица Екатерина II мстила мертвецу: чтобы подчеркнуть непричастность Петра III к императорской династии, Екатерина приказала положить на гроб простой картуз Петра. Картуз — не корону.

С понедельника до среды на труп императора смотрел народ.

В среду 10 июля состоялись похороны.

Императрицу Елизавету Петровну показывали сорок два дня, Петра — два. Мсть.

В Благовещенскую церковь гроб Петра внесли восемь могильщиков. Не особ императорской фамилии, как положено по придворному этикету. Екатерина — мстила.

Ничего особенного при погребении не произошло.

Присутствовали: 14 сенаторов, генерал-фельдмаршал Миних, генерал-полицмейстер Н. Корф, множество народа и весь (так сказать) простой Петербург. Императрица не присутствовала. Она говорила, что болела, но она — мстила. Мстила мужу за то, что убила его.

Она уже издавала манифесты.

В первом манифесте Екатерина II писала: «Я НЕ ИМЕЛА НИ НАМЕРЕНИЯ, НИ ЖЕЛАНИЯ СТАТЬ ИМПЕРАТРИЦЕЙ, ИЗБРАННЫЕ НАРОДОМ. ВЕРНОПОДДАННЫЕ САМИ ВОЗВЕЛИ МЕНЯ НА ПРЕСТОЛ».

Народ избрал собственных вождей и возвел Екатерину на престол. Народ заслуживает благодарности.

И Екатерина публикует манифест: «ОБ ОБЛЕГЧЕНИИ НАРОДНОЙ ТЯГОСТИ».

Содержание манифеста: понизить цену на соль на десять копеек с пуда. Все.

То есть, по остроумному замечанию одного русского историка, нужно было в один присест сожрать шестнадцать килограммов соли, чтобы почувствовать собственным желудком это ОБЛЕГЧЕНИЕ НАРОДНОЙ ТЯГОСТИ.

Потом Екатерина отблагодарила вождей, которых избрал народ.

Выражаясь поэтическим языком Екатерины, *народ избрал вождей* 28 июня. Но только 9 августа, через пол-

тора месяца, народ имел счастье узнать из очередного манифеста о наградах — кого он избрал. Их было сорок с небольшим, вождей.

Фельдмаршал К. Г. Разумовский, сенатор Н. И. Панин получили пожизненные пенсии по 5000 рублей.

Остальные получили одновременно от 24 000 до 1000 рублей, а также крестьян. Всего сорок с небольшим гениев народа получили 526 000 рублей и 18 000 крестьянских душ. Иными словами: 18 000 избирателей были подарены в пожизненную кабалу своим депутатам.

Екатерина знала, как делается история: она торопилась с коронацией.

В августе «для отправки в Москву было сделано 120 дубовых бочек с железными обручами по расчету на 5000 рублей серебряной монеты в каждую бочку», — 600 тысяч рублей.

600 тысяч рублей были нужны Екатерине на сурпризы друзьям и «для бросания денег в народ».

Коронация Екатерины II состоялась 22 сентября в Москве, в воскресенье, в Кремле, на Красном крыльце, под звон колоколов, — салют! Шесть камергеров поддерживали императорскую мантию, конец мантии нес граф Шереметьев, обер-камергер, сенатор. 20 архиереев и 35 архимандритов пели псалом «Милость и суд воспою тебе, господи!». Началось священнодействие: К. Г. Разумовский поднес Екатерине II на золотой подушке золотую корону. Императрица взяла двумя руками корону и надела ее на свою голову. Произошла пушечная пальба. На Красной площади жарили быков. Били фонтаны рейнвейнского.

После коронации произошли подарки.

Все Орловы были возведены в графское достоинство. К. Г. Разумовский получил бриллиантовую шпагу. Все так называемые *соучастники заговора* получили серебряные сервизы.

Коронационные торжества продолжались еще три месяца, потом государственная деятельность Екатерины II, Великой, стала налаживаться и вошла постепенно в свою колею.

Вот выписка из камер-фурьерского журнала — перечисление характерных для царствования Екатерины событий, своеобразная летопись России со 2 января 1763 года по 2 февраля 1763 года:

- 2 января маскарад у графа Шереметьева П. В.,
- 7 » маскарад у графа Чернышева И. Г.,
- 9 » маскарад для всего дворянства,
- 10 » опера на русском диалекте,
- 12 » куртаг (дворцовый прием с банкетом),
- 13 » маскарад у Локателли,
- 16 » маскарад публичный,
- 17 » маскарад у князя Воронцова И. Л.,
- 18 » маскарад у князя Гагарина С. В.,
- 19 » трагедия на русском диалекте,
- 20 » прием у графа Букингема, милорда, посла Англии,
- 22 » прием у графа Гендрикова И. С., в селе Пруссы,
- 23 » маскарад публичный, по приглашительным билетам,
- 24 » венчание подпоручика конного полка Алексея Челищева с графиней Варварой Гендриковой (племянницей Петра III)
- 25 » трагедия на русском диалекте, балет, нахт-комедия, вечернее кушанье у графа Орлова Г. Г.,
- 26 » русская трагедия,
- 30 » в барже, поставленной на полозья, и в фигурных санях,— к Бецкому И. И. смотреть маскарад, оттуда в Кусково, к Шереметьеву П. Б.,
- 31 » русская опера,
- 1 февраля публичный маскарад по приглашительным билетам, билеты были напечатаны тиражом 3000 экземпляров,
- 2 » маскарад для малолетних детей генералов и дворян (от 8 до 12 лет).

Начало государственным долгам и выпускам бумажных денег было положено в царствование Екатерины II. Царствование Екатерины II оставило в наследство потомству 280 000 000 рублей долгу.

Это лето выдало только четыре теплых дня, да каких там теплых, тепловатых, — проклятое лето.

Стояли традиционные петербургские холода: семь градусов в тени, а солнца все лето не было ни разу.

В это лето произошло еще четырнадцать заговоров и четырнадцать простых процессов над заговорщиками. Все заговоры были в пользу Иоанна Антоновича, двадцатитрехлетнего императора Российской империи, который вот уже двадцать два года сидел в Шлиссельбургской крепости, которого не видела еще ни одна живая душа. Его не видели — на него надеялись.

В это лето в дебрях Российской империи появилось четыре самозванца, четыре Петра III под простыми фамилиями: Кремнев, Чернышев, Богомолов и Асламбеков. Первые три — беглые солдаты и крестьяне. Последний, Асламбеков, — даже инородец. Призрак Петра III появлялся повсюду, и не только в России, но и в Сербии, в Черногории, в Польше, в Киргиз-Кайсацкой орде. Ходили по всей Европе и Азии, бунтовали под именем Петра III незамысловатые авантюристы.

В это лето в России появился и распространился в списках «плач холопов» — крестьянское произведение поэзии, безымянное, в котором автор восклицал: «О горе нам, холопам, от господ и бедство!»

Стояла плохая погода, петербургские тучи плыли на запад, петербургское небо не меняло своей повседневной окраски, — легкое, тяжелое, как ртуть, а время от времени в небе кто-нибудь видел (или оно ему мерещилось?) северное солнце, нарисованное детской кисточкой, петербургское светило, оно освещало кое-как улицы столицы, просачиваясь сквозь тяжелые тучи, но — никакого тепла. Моросило.

В то же лето в Петербурге появилось множество летучих мышей.

Сначала они жили незаметно, в Казанской церкви, потом разлетелись по всему городу, во все стороны. По ночам они кричали страшными голосами, бились в окна, устраивали шабаши на чердаках.

Петербург боялся летучих существ, с амвонов провозглашались проклятья им, суеверие нашептывало, что никакие это не мыши — вурдалаки, вампиры в образе таких тварей, мстители за убийство императора Петра III, вестники восшествия Иоанна Антоновича.

Действительно, в окрестностях Петербурга летучие мыши предпочитали Шлиссельбургскую крепость. Часовые стреляли в них из мушкетов, мыши толпились в вечернем воздухе над казематами, от их крика становилось не по себе, тошно и страшно, часовые стреляли и стреляли, ночами напролет, а наутро солдаты Шлиссельбургского гарнизона подбирали мышей и выбрасывали в Неву, твари плыли вверх лапками, их гигантские шерстяные крылья шевелились в жуткой бессолнечной воде, живые крылья мертвых тварей!

Император Иоанн Антонович, рыжеволосый и белолицый, как девушка, тоже боялся летучих мышей, прятался под одеяло, плакал в подушку и крестился при свечах (несколько малиновых огоньков за решетками в полутьме), — молился.

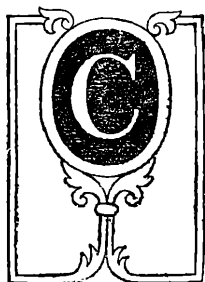


О время, время преходящее,
В котором дней дни множат!

(В. Мирович)

ВЕРСИЯ ПЕРВАЯ:
СМЕРТЬ СУМАСШЕДШЕГО
И КАЗНЬ АВАНТЮРИСТА

1



емнадцатого октября 1740 года в Петербурге скончалась императрица Анна Иоанновна. Она царствовала десять лет. Она прожила 46 лет.

Великая княгиня Анна Леопольдовна была дочерью Карла-Леопольда, герцога Мекленбургского, и Екатерины Ивановны, дочери царя Ивана Алексеевича, старшего брата Петра I. При крещении ее нарекли Елизаветой-Екатериной-Христиной. В 1733 году она приняла православие и переменила имя: стала Анной Леопольдовной.

С 1722 года Анна Леопольдовна воспитывалась при русском дворе. Она была племянницей Анны Иоанновны. Анна Иоанновна ее удочерила.

В 1739 году, в возрасте 21 года, Анна Леопольдовна вышла замуж за Антона-Ульриха, принца Брауншвейг-Вольфенбительского. Антон-Ульрих был племянником Шарлотты-Христины, жены казненного царевича Алексея, сына Петра I.

Двенадцатого августа 1740 года у Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха родился сын. Он был назван Иоанном, Иоанном Антоновичем. Итак, Иоанн Антонович —

правнук Ивана Алексеевича, правнучатый племянник Петра I.

Когда Иоанну Антоновичу исполнилось десять недель, племянница Петра I, императрица Анна Иоанновна, объявила его императором. Регентом при младенце-императоре был назначен Бирон.

Анна Иоанновна умирала.

Ей мерещились призраки, ей грезились кладбища и кошмары. 17 октября у нее отнялась левая нога. Она перепугалась, попросила ружье, но не сумела выстрелить. Принесли бриллианты, но и бриллианты не развеселили умирающую. У нее начались судороги. Вечером 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась.

Все сословия России ненавидели Бирона. Ему нужен был официальный пост, поэтому Анна Иоанновна перед смертью разыграла комедию. Императором стал двухмесячный ребенок. Титул регента при нем создавал иллюзию законности диктатуры Бирона.

Но торжественный титул не спас Бирона.

Фельдмаршал Миних арестовал Бирона.

Переворот был прост.

Снег повсюду.

Восьмого ноября в два часа пополуночи фельдмаршал Миних, его адъютант подполковник Манштейн, три офицера гвардии и восемьдесят grenадеров пришли во дворец Бирона. Дворец спал. Часовые пропустили Манштейна. Бирона охраняло триста человек. Двери спальни были не заперты. Подполковник Манштейн и двадцать рядовых Преображенского полка открыли двери. Часовые ходили, удаляясь в темные коридоры дворца, делая вид, что их ничего не касается. Бирон услышал и забрался под кровать. Когда его вытаскивали, он истерически рыдал и проклинал все на свете. Когда его вытащили, отяжелевший от слез и от страха регент пустил в ход кулаки. Манштейн расхохотался и солдаты — тоже. С минуту он смотрел, как невозмутимый в обычных обстоятельствах и жестокий диктатор размахивает кулаками и мундиром с золотыми пуговицами. Потом — схватили, связали, завернули в шубу и унесли.

Миних привез Анну Леопольдовну, и все ей присягнули. Ей было 22 года. Она стала правительницей Российской империи до совершеннолетия Иоанна Антоновича, сына. Антон-Ульрих стал генералиссимусом всех русских войск.

Ни Анна Леопольдовна, ни Антон-Ульрих ничего не

знали о заговоре Миниха. Он самостоятельно распределил награды. Кроме звания правительницы, Анна Леопольдовна получила еще орден святого Андрея и сама надела на себя этот орден.

Лишь 9 ноября, прочитав манифест о перевороте, государственные чиновники с изумлением обнаружили, что и они причастны к событию, и они получили награды и повышения.

Канцлер граф Андрей Иванович Остерман стал великим адмиралом. Князь Алексей Михайлович Черкасский стал великим канцлером. Граф Михаил Гаврилович Головкин стал вице-канцлером. Все стали великими. Зять графа Остермана сенатор Стрешнев был награжден орденом святого Александра Невского. Барон Менгден, президент коммерц-коллегии, тоже получил орден святого Александра Невского. Просто так — ни за что. Миних назначил самому себе награду в 200 000 рублей серебром и получил их. Он хотел стать генералиссимусом, но Антон-Ульрих успел предупредить его, и Миних стал первым министром.

Антон-Ульрих стал во всеуслышание говорить, что он хотел произвести переворот, а Миних, по хитрости, предвосхитил. Остерман мстил Миниху за то, что Миних — талантливее. Головкин глядел за Остерманом, чтобы занять его пост, Черкасский доносил на Головкина, — змеиный клубок вельмож. Миних получил отставку как раз накануне войны со Швецией, когда командовать армией никому, кроме Миниха, было не под силу. Он получил отставку и пенсию 15 000 рублей в год.

От имени Иоанна Антоновича публикуются указы, объявляется война, распоряжаются финансами империи.

Больше года империей юридически правит ребенок. Он еще только-только учится ходить по комнате, в его невнятном лексиконе пока только одно слово — «мама».

Но политические приемы требуют присутствия. Петербург должен видеть своего императора. Петербург иллюминирован. По Невской перспективе церемониальным маршем идут индийские слоны. Их четырнадцать. Они взяты в Дели. Четырнадцать слонов и тридцать верблюдов. На мраморных спинах слонов — кружевные квартирки-будочки, там — посол Шах-Надира с миниатюрным гаремом для путешествий. То ли посол хочет установить дипломатические отношения с Россией. То ли — хочет увезти для Шах-Надира Елизавету Петровну, великую княжну, будущую императрицу. Петербург пьет и

обсуждает характерные особенности и внешний вид больших животных: слонов еще Петербург не видел. Этому сногшибательному зрелищу устраиваются овации. Мелькают выстрелы и фейерверки. Слонов забрасывают цветами, живыми и искусственными. Петербург торжествует:

— Ура! Урра! Императорра!

Петербург хочет, чтобы император присоединился к всеобщему воодушевлению.

Император присоединяется.

Вспыхивают все балконы дворца. На большом балконе — вельможи. Они улыбаются всеобщей улыбкой. Выносят драгоценный сверточек с императором. Разворачивают однозное одеяльце и показывают народу ножку или ручку императора, маленькую, розовенькую и живую, чтобы все присутствующие убедились, что Иоанн Антонович не бестелесен, не куколка для игр в политические кошки-мышки, но — настоящее, самостоятельное существо, то же самое, которое изображено на монетах в профиль и анфас. Все — рады. Все — рукоплещут.

Ровно через год и две недели, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, происходит очередной государственный переворот. Дочь Петра I Елизавета Петровна арестовывает внучку Ивана Алексеевича Анну Леопольдовну, мужа Анны Леопольдовны генералиссимуса Антона-Ульриха, их сына императора Иоанна Антоновича.

Император Иоанн Антонович особенно опасен для дальнейшего благоденствия империи: ему — год три месяца двенадцать дней.

Напрасно хитрили и мучили друг друга интригами вельможи. Миних, Остерман, Головкин, Черкасский были сосланы.

Елизавета Петровна издала манифест:

«Хотя Анна Леопольдовна и ее сын Иоанн Антонович не имеют *ни малейшей претензии и права* к наследию всероссийского престола, но *из особенной к ним нашей императорской милости*, не желая им причинять *никаких огорчений, с надлежащей им честью и достойным удовольствием*, предав все их *предосудительные поступки* по отношению к нам забвению, *всемилоостивейше повелели* отправить их в их отечество (то есть в Брауншвейг)».

Император Иоанн Антонович «не имеет ни малейшего права» на престол. Но что подразумевать под правом: если генеалогический статут — Иоанн Антонович правнук великих царей, он имеет все права; если силовые приемы,

которые применила Елизавета, — то все права в таком случае — фикция, ни больше и ни меньше.

«Предосудительные поступки». Какие предосудительные поступки совершил пятнадцатимесячный мальчик по отношению к тридцатидвухлетней женщине?

«Особливая милость», «никаких огорчений», «с достойным удовольствием», «всемиловитейше повели».

Елизавета подписала манифест об отправке Иоанна Антоновича в Брауншвейг. Она сама расписалась в неприкосновенности его личности. Но расписки расписками, а дело делом.

Иоанна Антоновича отправляют из Петербурга. Всю семью.

Двенадцатого декабря 1741 года мальчика-императора отправляют из Петербурга в замаскированных кибитках, под конвоем. Маршрут: Нарва — Рига — Кенигсберг — Брауншвейг. Такой маршрут официально сообщают газеты. Но это — лишь для общественного мнения, для огласки. Она пообещала — она исполняет.

Кибитки благополучно минуют первый пункт — Нарва.

Но уже во втором пункте — Рига — этот караван осторожно останавливают.

Девятого января 1742 года Иоанна Антоновича поселяют в Риге, в маленькой каменной казарме. В смежных комнатах расквартировывают множество полицейских. Официальным надзирателем над ребенком ехал В. Ф. Салтыков, один из свиты Елизаветы. Но и к Салтыкову она подселила нескольких негласных агентов Тайной канцелярии. Вот как выглядели клятвы императрицы, «особливая милость», «никаких огорчений».

Блокада. Тюрьма. Полицейские.

На всех заводах уничтожают и переплавляют монеты с профилями и фасадами Иоанна Антоновича. Медали с его изображением отнимают у ветеранов и переплавляют на монетном дворе. Тысячи манифестов, официальные бумаги, всю государственную писанину пересматривают педантичные представители Тайной канцелярии. Каждая бумажка, в которой упоминается имя Иоанна Антоновича, — в канцелярские костры! Пусть его имя превратится в пепел, пусть полиция пепел рассылет, никакой памяти, все — забвению.

Прошло восемь месяцев. Июль 1742 года. Заговор Турчанинова.

Камер-лакей Турчанинов, прапорщик Преображенского полка Ивашкин, сержант Измайловского полка Сновидов.

Мотив заговора: Елизавета не выполнила обещания по отношению к Иоанну Антоновичу. Император не в Брауншвейге, на родине своих родителей, а все они в Риге, в тюрьме. Елизавета обманула Россию, а следовательно, смертельно оскорбила все сословия. Начало ее царствования — обман. Что же дальше?

План действия: убийство Елизаветы, престол — вернуть Иоанну.

Результаты заговора: Турчанинову вырвали язык и ноздри, Ивашкину и Сновидову — только ноздри. Всем троим — кнуты и Сибирь.

Июль 1743 года. Заговор Лопухина. Подполковник Лопухин, тринадцать заговорщиков. Им обещает помочь австрийский министр, посол маркиз де Ботта. Мотивы заговора: те же, что и у Турчанинова. План действий: тот же. Результаты: те же. Четверым вырывают языки, — в Сибирь. Двум кнуты, двум плети, — в Сибирь. Трех переводят из гвардии в пехотные полки, из дворцовой гвардии — в простую пехоту. Одного ссылают в саратовские деревни. Самое странное наказание получает подполковник Лопухин, душа и вождь заговора. Его разжаловали в матросы (?) и отправили на Камчатку.

Добровольного помощника маркиза де Ботта австрийская королева Мария-Терезия посадила в замок Грац.

Эти заговоры не имели никакого значения для благосостояния империи. И императрицы. Они никак не повлияли ни на маскарады Елизаветы, ни на парки, ни на ее кухню, ни на урожай страны. Тайная канцелярия оперативно ликвидировала опасность.

Заговор Турчанинова — вообще миф, состряпанный Тайной канцелярией, чтобы хоть как-то оправдать свое существование, потому что после ссылки всех высокопоставленных вельмож прошлого царствования полиция бездействовала. Кто-то был в кабаке, кто-то что-то сказал, — вот и готово дело. Суд, смерть.

Заговор Лопухина — никакого заговора, пошлость. Жена генерал-кригс-комиссара, Лопухина, была любовницей маркиза де Ботта; красавица, сестра графа Головкина, которого сослали; ее муж был братом государственного канцлера Бестужева-Рюмина. Она говорила повсюду, что Головкина сослали несправедливо. Отомстить ей было немислимо — нужно было арестовывать весь двор.

Арестовали ее сына, подполковника Лопухина, и его подчиненных. Мария-Терезия была в курсе всех событий. Только из политики она арестовала де Ботта. Он жил в замке Грац ничуть не хуже, чем в Петербурге, и через несколько недель был назначен главнокомандующим армии, действующей в Италии.

Заговоры не напугали Елизавету. Она их совершенно определенно мистифицировала. Раньше не было причины притеснять Иоанна Антоновича. Елизавета «заподозрила» заговоры в его пользу — теперь причина появилась. Во всеуслышание императрица объявляет, что потенциальным вдохновителем бунтов является Иоанн Антонович.

Заговоры пустяковые: три простолюдина, один подполковник-повеса, который узнал, что он вождь восстания, лишь в тюрьме, и сочувствующий всем им, как всякий нормальный человек, кстати сказать, — австрийский министр-идеалист.

Беспокоиться — нечего. Но есть возможность еще дальше убрать Иоанна. Пусть ему три года — он претендент.

Елизавета опять играет: она сообщает своим двенадцати гренадерам, что ее священная жизнь в опасности. Свои светлые волосы она перекрашивает в черный траурный цвет. Она заставляет перекрасить волосы в цвет траура всех фрейлин и всех новых невест из Правительственного Кабинета Двенадцати Гренадеров. Она пишет специальный манифест (все о волосах!). Манифест публикуют петербургские и московские газеты.

Отечество — в опасности! Автор опасности — трехлетний мальчик. Его нужно изолировать. Пусть поблуждает по тюрьмам до совершеннолетия, пусть поумнеет, а потом — посмотрим.

Начинается лихорадка: поиски изоляторов.

Тринадцатого декабря 1743 года Иоанна перевозят в крепость Дюнаминде.

Это еще не так далеко и не надежно.

Через полтора месяца Иоанна переправляют в Раненбург.

Это еще досягаемо.

Двадцать седьмого июля 1744 года Елизавета пересылает указ барону Н. Корфу, полицмейстеру Петербурга. Указ гласит: «Переправить Иоанна в Соловецкий монастырь».

В сентябре переправляют. Четырехлетнего человечка везет капитан Пензенского полка Миллер. Конвой — двести солдат с заряженными мушкетами.

Распутица. Дождь. Холод. Лошади вязнут и тонут в болотах. До Соловецкого монастыря не добраться.

Девятого ноября они останавливаются в Холмогорах. И останавливаются там на двенадцать лет. Итак, вместо Брауншвейга — тундра, сектанты, рыбаки, комары, болота, морошка, отдельный деревянный домик.

— Хорошо ли жить ему? — радостно беспокоится Елизавета.

— Замечательно! — в письменной форме отвечают полицейские. — Он уже потихоньку читает Библию, цитирует наизусть тексты псалмов Давида и Асафа, смотрит не насмотрится на северное сияние. Просит прислать серебряную посуду.

Елизавета посылает посуду и обращается к своему фавориту А. Г. Разумовскому:

— Вот, пожалуйста! Все сплетничают о недопустимых условиях Севера. Он ест на серебряной посуде как самый настоящий принц!

Он ел на серебряной посуде: соленую треску, винегрет из ревеня и турнепса и котлеты из тюленины.

Двенадцать лет одного ребенка охраняла целая «секретная комиссия», сто тридцать семь человек!

Вот состав «секретной комиссии»:

1. Военный караул — 14 военных чинов и 17 вдов;
2. Придворные официалисты — 1 мундкох; 1 мундшенковский ученик, 1 тафельдекерский ученик, 1 подлекарь, 6 вдов;
3. Мореходы — 13 матросов первой статьи, 9 матросов второй статьи, 1 подлекарь, 2 подштурмана, 1 писарь, 1 штурманский ученик, 2 квартирмейстера, 4 канонира, 7 мушкетеров, 3 камердинера, 1 кормилица, 2 поваренных ученика, 1 мундкох, 14 вдов;
4. Штатная команда — 29 человек, 6 приказных и канцеляристов, 9 вдов.

Сорок шесть вдов?! два подлекаря! и два повара (мундкох)!

В какой роскоши жили эти 137 полицейских, свидетельствуют документы из канцелярии тогдашнего архангельского губернатора, генерал-поручика П. П. Коновницына.

Анна Леопольдовна умерла в 1746 году в Холмогорах. Ей было 28 лет.

Через десять лет, в 1756 году, из 137 полицейских осталось в живых лишь 62! Остальные умерли от голода и от цинги. Они не просили сверхъестественных милостей у Елизаветы. Их послали насильно, они добросовестно исполняли свои обязанности — держали Иоанна в тюрьме, они за свою принудительную работу просили совсем немного, пустяки — хлеба!

В канцелярии Коновницына сохранилось 42 прошения, написанных 62 живыми и 75 ныне мертвыми охранниками.

Они писали:

«Всемиловитейшая государыня! Матерь отечества! Воззри милосердным оком на наше бедное состояние и благоволи, из монаршиего своего милосердия, высочайше повелеть нам, всеподданнейшим, в рассуждении означенных недостатков и дороговизны хлеба к получаемым ныне тридцати рублям наградить еще чем-нибудь».

Двенадцать лет они караулили ребенка и умирали.

Двенадцать лет Иоанн просидел в Холмогорах и сошел с ума.

В 1756 году сержант лейб-компания Савин переправил Иоанна в Шлиссельбург. Тайно. Совершеннолетие настало. Теперь — пусть поближе к столице, непосредственный контроль и присмотр.

Тайная канцелярия, граф А. И. Шувалов писал коменданту крепости полковнику Бередникову:

«В ту казарму никому, ни для чего не входить. Чтобы арестанта никто видеть — не мог. Арестанта из казармы не выпускать. Когда кто впущен будет к нему для убирания в казарме всякой нечистоты, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Без особого приказа Тайной канцелярии не впускать в крепость никого».

2

Шлиссельбург.

Опять одиночка.

Крепость, церковь, крест, колокола, офицеры караула, какие-то коменданты. Одно зарешеченное окошко, забрызганное черной масляной краской, железная койка, табурет, Библия, деревянный люк в полу — уборная. В блюдечке — свеча, над свечой трепещет ночная бабочка, вот и бабочка прилетела, потрепетала и уснула, на постолконнике, что ли, — живое существо.

Еще восемь лет заключения.

В 1764 году Иоанну было 24 года, он просидел в тюрьмах уже двадцать лет.

Естественно, император был болен. Вши и нечистоты, от тюремной пищи — рахит. Двадцать лет он ни с кем не разговаривал, запрещалось — и ему, и с ним. Он говорил только с самим собой, заговаривался. Он говорил невразумительно, сильно заикался.

Искалеченный двадцатью годами тюрьмы. У него отваливалась нижняя челюсть, когда Иоанн что-нибудь пытался попросить у караульных, — так сильно он заикался.

Естественно, Иоанн перестал быть человеком в настоящем смысле этого слова, — просто существо, оно. Рыжеволосый, с белым и нежным лицом, он был больше похож не на двадцатичетырехлетнего юношу, а на девушку-монахиню; он еще ни разу не брился — ни усы, ни борода у него совсем не росли.

Несчастный дегенерат; ничего удивительного — таким его сделали исключительные условия жизни, если этот кошмар животного существования можно назвать жизнью. Пещера с решетками, свеча-огонек, полусырое мясо.

Теперь о наследственности.

Группа историков «Русской старины» (XIX век, журнал по истории России) девять лет (1870—1879) занималась беспристрастным исследованием документов семьи Иоанна Антоновича.

Вот объективные выводы.

Причины многих важных исторических событий заключались в болезненном состоянии отдельных личностей, в руках которых находились судьбы государства. Так, сыном слабоумного Клавдия был Нерон — свирепый монотан. Сыном Иоанна Грозного, страдавшего, как и Нерон, припадками монотании, был слабоумный Федор. В династии французских Меровингов почти все короли были идиотами. Примеры наследственного помешательства находим мы в истории шведского королевского дома Вазы, в истории ганноверско-английского дома и у Габсбургов. История испанского королевского дома особенно поучительна. Вот потомки королевы Изабеллы и Фердинанда Католика: их дочь, Иоанна Безумная, вышла замуж за эрцгерцога Фердинанда Австрийского. От этого брака (Иоанна — помешанная, Фердинанд — глупец и эротоман) родился император Карл V. Он сошел с ума. Его сын Филипп II был кровожадным фанатиком. Но что такое фанатизм, если не то же сумасшествие? Сын Фи-

липпа II — инфант дон Карлос — с детства страдал припадками помешательства.

Краткий очерк всемирной истории. Теперь — конкретно.

Иоанн Антонович — правнук Ивана Алексеевича (1666—1696). Иван Алексеевич — брат Петра I. В истории его называют «царь Иван».

«Царь Иван был от природы скорбен головой, косноязычен (заика), страдал цингой, плохо видел.

Жена царя Ивана, царица Прасковья Федоровна, выросла в предрассудках и суевериях, грамоте была обучена довольно плохо, хитрость и вкрадчивость заменяли ей ум, страдала припадками бешенства.

Дед Иоанна Антоновича Карл-Леопольд был известен по сварливому, вздорному и беспокойному характеру, был слабоват умом.

Бабка — царевна Екатерина Ивановна — могла служить типом пустой избалованной барышни. Все умственные способности ее, от рождения слабые, были подавлены еще в юности одной чувственностью.

Отец — Антон-Ульрих — не кончил полного курса наук. Белолицый, подслеповатый, золотушный, очень робкий.

Сестра Иоанна Антоновича, Екатерина, сложения больного, чахоточного, несколько глуха, говорила немо и невнятно, одержима болезненными припадками.

Вторая сестра, Елизавета, подвержена частым головным болям, страдала помешательством в 1777, но после оправилась.

Брат — Петр — имел спереди и сзади горбы, кривобок, косолоп, страдал геморроидальными припадками, прост, робок, застенчив, молчалив, до обмороков боится вида крови.

Второй брат — Алексей — совершенное подобие своего брата в физическом и нравственном отношении».

Комиссия по генеалогии обобщает:

«Достаточно, наконец, взглянуть на силуэты этих несчастных, чтобы по профилям, по неправильной форме голов их догадаться о врожденном их слабоумии. Болезненное состояние Иоанна Антоновича само по себе не только лишало его всяких прав на престол, но едва ли могло допустить и самостоятельное пользование правами простого гражданина».

Это — синтез и анализ через сто пятнадцать лет.

То же пишут и современники.

Овцын, комендант Шлиссельбургской крепости, доносил:

«Май 1759 год.

Он (Иоанн Антонович) в уме несколько помешался.

Июнь 1759 год.

Видно, что сегодня гораздо более помешался прежде него.

Апрель 1760 год.

Арестант временами беспокоен».

Капитан Данила Власьев и поручик Лука Чекин, непосредственные представители Тайной канцелярии, надзиратели, показывали на суде:

«Ни единого нами не замечено момента в течение восьми лет, когда бы он настоящим употреблением ума пользовался».

Екатерина писала о Власьеве и Чекине, и писала справедливо, как о «двух честных и верных гарнизонных офицерах». Восемь лет они ежедневно общались с узником и ни разу не услышали от него ни единого умного слова.

Им можно верить. Им нет смысла лгать. Их служебная совесть чиста.

Власьев и Чекин постеснялись рассказывать на суде подробности помешательства Иоанна. Слишком вопиющие факты идиотизма компрометировали всю царскую семью. Но впоследствии, в домашней обстановке, они рассказывали следующее. Молва распространила их достоверные рассказы по всей России.

Иоанн Антонович никогда не видел солнца. Пыльная камера, мутные свечи. Прогулок по тюремному двору еще не существовало.

Он одичал. Его все боялись, — он делал невесть что. Если бы его связали, его судьба была бы получше. Екатерина слишком снисходительна к узнику. По приказу императрицы Власьев и Чекин должны были выполнять все желания Иоанна. Все претензии.

Он панически боялся воды и не мылся. Помыть его — мұка. Волосы перепутались на его голове и стали как настоящие, какой-то рыжий, красноватый парик.

Голубые крошечные глазки прятались в путанице волос. Нос у него красный, в склеротических прожилках, он поминутно вытирал нос рукавом, и от этого рукав стал как стеклянный.

Он кричал по ночам. Он требовал любви, то есть женщин. Власьев и Чекин трепетали перед Иоанном: зажигали свечи и молились, а при свете свечей у него — не

лицо, а оскаленный череп, так просвечивали кости сквозь тонкие, как перламутровые, щеки. Ничего удивительного: Иоанн двадцать лет не дышал свежим воздухом.

Читать он не умел, сколько его ни учили. Он запомнил какую-то молитву и шептал ее постоянно, задыхался, челюсти сводили судороги, он плакал.

Он грыз ногти и заусенцы. Он ел мыло. Он бросался на всех, под утро, хихикая хитренько, выламывал дверные ручки.

А по ночам он ходил со свечой в матросской шинели и в вязаном колпаке (дурацком!) и ловил крыс. Он вывешивал крыс на решетки окна, как игрушки, и — хохотал, а потом только — спал.

Ничего не поделаешь: Власьев и Чекин снимали крыс, выбрасывали трупики в Неву.

Он хорошо ловил мух и давил их на листе белой бумаги, а потом расклеивал листки по стенам камеры и любовался, как красивыми картинками.

У него было всего несколько зубов, и проваленный рот никогда не закрывался.

Там, где висит икона, в левом углу темницы, он разводил пауков и объяснял с веселой усмешкой своим полицейским, что пауки — самые питательные существа на земле, что ему не хватает жиров, — и бросал пауков в свои и без того жирные щи. Власьев и Чекин выхватывали пауков из щей — деревянными ложками, чтобы дурачок не отравился.

Он был совсем слаб, после очередного приступа бешенства он лежал несколько дней и не вставал, так ослабевал.

Исполнительные мученики, Власьев и Чекин сдерживали слезы страха и сострадания, восемь лет издевательств этого так называемого императора.

Теперь по достоинству можно оценить беспристрастие Екатерины. Ведь она читала донесения. Она слышала об Иоанне.

Используя показания Власьева и Чекина, донесения Овцына и вспоминая свою страшную аудиенцию с самим Иоанном (Екатерина встречалась с Иоанном в 1762 году, в доме А. И. Шувалова, чтобы удостовериться, действительно ли так невменяем юноша-император, как о нем говорят, может быть, он еще может быть полезен государству и обществу хоть в какой-нибудь деятельности? Аудиенция потрясла и расстроила императрицу — так безумен, так болен был Иоанн, когда его привезли к Шу-

валову в закрытой карете), анализируя допросы свидетелей, свои личные впечатления и слухи, Екатерина написала объективное объяснение смерти Иоанна Антоновича:

«Кроме косноязычия, ему самому затруднительного и почти невразумительного другим, он решительно был лишен разума и смысла человеческого. Иоанн не был рожден, чтобы царствовать. Обиженный природою, лишенный способности мыслить, мог ли он взять скипетр, который был бы только беременем для его слабости, оружием его слабоумных забав?»

Бильбасов писал:

«Таков был Иоанн Антонович. Безвинный, безобидный для общества, ни на что не способный, он родился, жил и умер коронованным мучеником деспотизма. С колыбели до могилы, в течение двадцати четырех лет, он всегда был только слепым бессознательным орудием политических страстей: никто не хотел в нем видеть человека, для всех он был политическим «фантомом». Он был и убит потому только, что появился какой-то подпоручик, избравший его орудием своих честолюбивых замыслов».

3

Подпоручику пехотного Смоленского полка Василию Яковлевичу Мировичу было двадцать четыре года. Как и императору Российской империи Иоанну Антоновичу.

Предыстория Мировича пустая.

Екатерина писала:

«Он был лжец, бесстыдный человек и превеликий трус. Он был сын и внук бунтовщиков».

Действительно, дед Мировича, переяславский полковник Федор Мирович, был (не бунтовщиком) предателем. Он предал Петра I, присоединился к Мазепе и с войсками Карла XII ушел в Польшу. Отец — Яков Мирович — несколько раз был в Польше, тайно. Был сослан в Сибирь. За Польшу и за связи. Все наследственные имения Мировичей (правда, небольшие) конфисковала Тайная канцелярия. Род Мировичей не был ни знаменит, ни влиятелен. Как-то известен в пределах Украины был дальний родственник Мировичей, полковник Полуботок. Он тоже оглядывался на Польшу. Семья Мировичей попала в Сибирь. Полуботок — в крепость, в кандалы.

Так бесславно окончились претензии этого рода.

Мирович — мечтатель. Он пишет письма.

Он пишет письма императрице Екатерине II, в которую после переворота были влюблены все офицеры гвардейских, конных и пехотных полков. И Мирович влюблен. Всех награждают, всех повышают, повсюду — пир, а подпоручик нищ. И он участвовал в перевороте, но не познакомился с вождями, он всем сердцем был со всеми и два дня — 28 и 29 июня 1762 года — ходил с обнаженной шпагой и на каждом перекрестке обнимался с кем попало, со всеми пил и торжествовал.

Потом все просили поощрений и получили кое-что. Мирович — ничего. Его даже не принимают в гвардию, не потому, что нищ, хотя и поэтому, но и потому еще, что — опальная фамилия. А все опальные каллиграфически записаны в Книгу Судеб — в секретные списки Тайной канцелярии. Тайной канцелярией теперь заведует Никита Иванович Панин, сенатор, действительный тайный советник, кавалер, первый франт петербургской полиции. Кем он был до Екатерины? Никем. Мальчиком на побегушках в иностранных миссиях. Вовремя возвратился из Швеции, стал воспитывать цесаревича Павла, попался на глаза после переворота, и теперь в его холеных, женственных руках, окольцованных бриллиантами, — все списки, все судьбы.

Мирович просит императрицу: пусть возвратит ему хоть несколько крошечных поместий его фамилии, он — займется усовершенствованием хозяйства, он заплатит государству втрое, он останется служить, а служит он лучше всех, вот и характеристики, писал их не кто-нибудь, а полковник Смоленского полка Петр Иванович Панин. Он, Мирович, не виноват, что его родители — предали, сам-то он — честен и ненавидит родителей за прошлое, ему не нужны ни слава, ни счастье — хоть как-то устроиться с деньгами, а служба — сама пойдет!

Безответные мольбы.

Он служит в простом пехотном полку и занимается текущими офицерскими делами: молодежь — пьянствует.

Он играет в карты, но не умеет, проигрывает последние копейки. Питается в дешевых трактирах, живет где попало, кто пустит, а завтра — будет завтра.

Ничего судьба не сулит. Ничего он не умеет делать. Нигде он не учился. Никакую службу не любит. В отставку не уйти — некуда податься, если только в Сибирь, в Тобольск, к родителям.

Девятнадцатого апреля 1763 года Мировича вызывают в канцелярию полка. Вестовой сообщает: на петициях гос-

подина подпоручика появилась резолюция. Резолюцию написала сама императрица.

Мирович опрометью бросается в парикмахерскую. Предчувствия одно другого восторженнее. . . Парикмахер бреет его светлую щетину, поддвигает горячими щипцами парик (совсем запущенный) и припудривает парик серебрястой пудрой. Мирович подмигнул себе в зеркало: юноша, двадцать три года, смуглое цыганское лицо, парик — серебрится! Прощай, жизнь — жуть! Здравствуй, жизнь — надежда! Пусть парикмахер почистит ему ботфорты. Парикмахер посопротивлялся, а потом почистил ботфорты, как отлакировал.

Мирович влетает в полковую канцелярию и хватается свое письмо. Резолюция написана красными чернилами. Глаза слезятся. Поперек пространных жалоб и просьб подпоручика — одна фраза: «Детям предателей Отечества счастье не возвращается».

Надеяться больше — не на что. Императрица помнит свои резолюции, а Тайная канцелярия фиксирует их. Нужно что-то делать.

Но что может предпринять подпоручик пехотного полка? Он опять — пьет. И проклинает весь род людской.

Тогда трактиры были демократичны. «Съестной трактир город Лейпциг». Там пили и фельдмаршалы, и барабанщики. Знакомство с фельдмаршалами не сулило ничего хорошего — лишь насмешки собутыльников. Знакомство с барабанщиками — определенные знания закулисной политики, полезные для продвижения по службе. Барабанщики в качестве музыкантов присутствовали на многих государственных церемониях, недоступных простым пехотным офицерам.

Двадцать четвертого октября 1763 года Мирович услышал от барабанщика Шлиссельбургского гарнизона новость: в шлиссельбургском каземате, в камере-одиночке, сидит «безымянный колодник номер первый». Так его называют официально.

Барабанщик пьян и хвастается своей эрудицией:

— Кто он, «номер первый»? Не знаешь? Кто бы мог подумать! Ну, признайся, кто это? Какой квас! — восхищается сам собой вдребезги пьяный барабанщик.

— Не знаю и не думаю, — чистосердечно признался Мирович.

Барабанщик оглянулся, посмотрел, как будто поправляя суровый ус — левый и правый, — и сказал счастливым голосом Архимеда.

— Безымянный колодник номер первый — на самом деле не кто-нибудь, а сам император Иоанн Антонович! — воскликнул изо всех сил барабанщик, упал головой в тарелки и уснул, улыбаясь, а суровые усы солдата разметались по всему лицу.

Про Иоанна Антоновича ходили опасные слухи. За слухами охотилась Тайная канцелярия.

Мирович перепугался. Потихоньку, осмотрительно, подпоручик выбрался из трактира, опустив глаза; гвалт, гул, пьяные ораторы и оратории, охапки пивной пены — все позади, Мирович побежал.

Он бежал через мост (куда-то!) быстро-быстро, не касаясь перил, потом остановился, оглянулся — никого, — ни на мосту, ни на всем свете! Вечерело.

Шел дождик, парик промок, был вечер, на Неве шаталась баржа с углем, на барже суетились, как чертики, крохотные фигурки грузчиков-солдат.

Руки замерзли. Мирович вспомнил, что позабыл перчатки, зеленые, замшевые, выронил в трактире, или украли, — ну и пусть!

В брезжущем всернем воздухе летали дождинки, совсем невидимые и незаметные, как иголки.

Шлиссельбургская крепость мутно просматривалась в дождевой завесе, там, в устье Невы.

Мирович рассмеялся.

Уже были заговоры.

Уже был заговор Петра Хрущева, трех братьев Гурьевых. Они уже попытались освободить Иоанна. Но не успели. Их было слишком много: тысяча офицеров и солдат. На тысячу человек всегда найдется десяток агентов Тайной канцелярии.

Сенат. Приговор — смерть.

Но императрица заменила смертный приговор публичным ошельмованием. Ошельмовали и сослали на Камчатку.

Это было 24 октября 1762 года. Фатум: сегодня 24 октября 1763 года. Жребий брошен: или все, или ничего.

К оружию! К действию!

Оружие — одна шпага. Действующее лицо — один подпоручик.

Мировича лихорадит. Он ищет сообщников. Немного. Хоть нескольких.

Он спрашивает офицеров, сослуживцев. Отклика — нет. Все смеются. Все думают: его вопросы — пьяный бред.

Мирович не понимает, как он смешон. Денег — нет, связей — никаких, авторитет — лишь застольный, чин подпоручика — сомнителен для организации батальонов восстания; Мирович — вождь несостоятельного государственного переворота, над ним смеются товарищи по оружию, на него даже не доносят в Тайную канцелярию, так бессмысленна, так бессистемна его болтовня.

За что же он борется? Какова его программа?

Впоследствии, на суде, Мирович диктует Никите Панину все свои претензии по пунктам. Офицерское самолюбие. Офицерские формулы. Программа плебея. Вот пункты:

1. В те комнаты, где присутствовала императрица, допускались только штаб-офицеры. Мирович мечтает, чтобы и его допустили, чтобы и он присутствовал.

2. Императрица посещала оперу. Туда допускались только любимцы Екатерины. Мирович мечтает стать любимцем Екатерины. Он хочет ходить в оперу.

3. Штаб-офицеры недостаточно уважали его, Мировича, когда приходилось сталкиваться с ним по служебным обязанностям. Он мечтает, чтобы штаб-офицеры достаточно уважали его.

4. Императрица не возвращала ему имения фамилии. Надо возвратить.

Четыре пункта, объясняет Мирович на суде, — первопричина бунта. Но пункты ничтожны и пошлы.

Вольное честолюбие, дешевое фрондерство — присутствовать там, где присутствуют любимцы власти. Жажда обожания.

Но эти объяснения — для суда, трусливые объяснения, для помилования.

Это — офицерская обида. Потом, когда суд принимает все более ответственный и серьезный характер, Мирович проговаривается.

Граф Никита Панин спросил Мировича мягко, поигрывая перстнями, охорашивая холеными пальцами парик: — Для чего вы предприняли сей злодейский умысел?

Мирович сказал быстро, и цыганское лицо его — побледнело:

— Для чего, граф? Чтобы стать тем, кем стал ты, дубина!

Вот программа Мировича. Не пустяки. Стать первым министром, великим вельможей, а там — и генералиссимусом. Если Иоанн Антонович при помощи Мировича ста-

нет императором, «генералиссимус Мирович» — зазвучит не так уж плохо!

Мирович с пафосом писал перед казнью:

«Я желал получить преимущества по желаниям и страстям».

Писатель Г. П. Данилевский писал о Мировиче. Его романы были опубликованы в конце XIX века. Он писал:

«Я старался быть верным преданию и истории, которые рисуют Мировича самолюбивым, мало развитым и легкомысленным «армейским авантюристом», завистливым искателем карьеры, картежником, мотом».

Да. У Мировича — самомнение. Он неврастеник. В его судьбе нет никаких предпосылок власти, он ее жаждет.

Своим птичьим умом он размышляет:

«Что такое государственный переворот? Пустяк, меланхолическое шествие с барабанным боем, не нужно никакой особенной организации, вон как прост был переворот 28 июня 1762 года!»

Его лихорадит. Он позабыл, что простым переворотом руководила Екатерина, жена императора. Что восстанию содействовали фельдмаршал Кирилл Разумовский, сенатор Никита Панин, статс-дама Екатерина Дашкова, сорок офицеров гвардии, что практически их семьи — это вся свита, все правительство России. Что на ИМЯ «ЕКАТЕРИНА» явилась многотысячная армия, как на ИМЯ СПАСИТЕЛЬНИЦЫ ОТЕЧЕСТВА.

А Мирович? — подпоручик, и ничего больше.

Что такое государственный переворот в стране с населением в двадцать с лишним миллионов обывателей, с полумиллионной регулярной армией, с двумя миллионами регулярных чиновников, с миллионом полицейских и с несколькими тысячами тюрем?

Абстрактная обстановка, не так ли? Государственный переворот — веселое затейничество. Со всем этим фарсом Мирович справился бы и один — так он думал.

Но Мирович — актер.

Ему нужен сообщник. Не столько помощник, сколько слушатель. Какой-нибудь офицерик-балбес, который бы беспрекословно слушал храбрые глаголы вождя. Перед которым можно покрасоваться умом и изобретательностью. Мировичу, эстету бунта, необходима небольшая, но рупоклещущая аудитория.

Подпоручик не бросает пить. Вино сопутствует успеху. Пьяному — и море по колено, и морда на коленях.

Девятого мая 1764 года Мирович напивается и идет легким, несколько условным, как у всех пьяниц, шагом к последнему другу — к поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушакову.

Аполлон, как и Василий, пьян.

Он стоит на карауле при кордегардии у Исаакиевского моста.

У него восемнадцать солдат-атлетов, он смотрит на солнце очами орла, у него золотые офицерские ремни, он поет популярную песню.

Счастливая встреча. Приятели вынимают шпаги и приветствуют друг друга взмахами шпаг. Они — обнимаются.

Мирович восклицает, без предварительных объяснений:

— Все свои силы, весь разум, все помышления мы обязаны к тому употребить, чтобы одного императора Иоанна Антоновича, вызволивши из Шлиссельбургской крепости, привезти в Санкт-Петербург для водворения его на престол всероссийский.

Ушаков еще не слышал о таком дивном намерении своего приятеля.

Но Аполлон понимает Василия с полуслова. Он слышит и радуется. Он откликается на слова Мировича:

— Правильно говоришь! Но нужны обязательства. Друг перед другом. Крепкая клятва. Так давай действовать побыстрее, чтобы в кратчайшие сроки отвязаться от этой галиматии. А при новом императоре мы утолим все страсти и пожелания наших юношеских сердец.

— Не волнуйся! — восклицает Мирович. — Вся эта, как ты правильно сказал, галиматия — дело на несколько дней. В первую очередь нужно помолиться. Бунт бунтом, а грехи грехами.

— Когда же? — восклицает Ушаков. — Когда же мы можем молиться?

— Тринадцатого мая, — отвечает Мирович. — Тринадцатого! Это число я — люблю.

— И я! — соглашается Ушаков. — Это число — мне нравится. В нем — опасность и приключения. А что делать сейчас?

— Делать что делается! — философия Мировича.

И они делают то, что им делается.

Мирович и Ушаков ходят по кабакам и хохочут. Они тем и другим рассказывают о своем замысле. Одни одобряют. Другие порицают. Все они — собутыльники. Алкоголь всегда настраивает умы на опасные и грозные приключения. Алкоголь раскрепощает даже лакейские сердца и делает их свобододолюбивыми.

Чтобы запугать и затравить Екатерину, Мирович и Ушаков ходят по ночам, как бесы, вокруг Зимнего дворца и подбрасывают в подъезды красные конверты. В конвертах — письма. В письмах — подробности заговора. И ультиматумы.

Они советуются с полицейскими. Тайная канцелярия — относится к их глаголам дружелюбно. А полицейские говорят:

— Ну что ж, друзья, бунт бунтом, а тюрьма — тоже государственное учреждение.

Так проходит пять дней.

Предварительная подготовка восстания.

Несравненное руководство двух вдохновенных алкоголиков.

Комеднанты; их действия — пустые. Никто не принимает всерьез их немислимые признания. Даже Екатерина в письме к Н. Панину от 10 июля 1764 года вспоминала:

«Нищая нашла на улице письмо, писанное поддельным почерком, в котором говорилось об этом. С святой недели о сем происшествии точные письменные доносы были, которые моим неуважением презрены».

Вот именно.

Если бы Мирович преднамеренно избрал такой открытый метод бунта, он был бы гениальнейшим стратегом всех восстаний. Лучший метод сохранения опасной тайны — самое широковещательное разглашение ее. Когда все знакомы с тайной — в нее уже никто не верит. Сам факт этой тайны подсознательно выносятся за скобки. И тогда начало действий — неожиданный и сокрушительный удар!

Но все несчастье Мировича заключается в том, что он ничего преднамеренно не делал. Он действовал как сомнамбула, как придется.

Тринадцатого мая Мирович и Ушаков идут в церковь Казанской божьей матери. Самая государственная церковь в России. Там принимали присягу многие императоры.

Они приближаются к алтарю настоящим шагом офи-

церов пехоты и, на всякий случай, отслуживают — сами по себе — акафист и панихиду.

Так поступали ветераны: панихида по самим себе на случай смерти в торжественном бою.

Мирович и Ушаков растроганы. Они дают следующую сентиментальную клятву: если заговор удастся (какие сомненья!), то ни Мирович, ни Ушаков во всю свою блистательную жизнь не выпьют ни наперстка коньяка, перестанут нюхать табак и не побегут уже, как барбосы, сломя голову ни за какой первой попавшейся юбкой.

Крепкая клятва.

С 13 по 23 мая Мирович работает.

Двадцать третьего мая Мирович оповещает Ушакова о результатах работы.

Драматическим голосом он читает ему план действий.

Вот вкратце партитура этой оперы.

Действующие лица: солисты Мирович и Ушаков.

Место действия: Шлиссельбургская крепость.

Время действия: ночь с 4 на 5 июля 1764 года.

Декорации: белые ночи, белая луна и нежное небо, каменные казематы, светятся огоньки Светличной башни, золотится купол церкви святого апостола Филиппа, часовой ходит по стене и поет позывные часового:

— Слу-шай!

А вообще — тишина. Естественно, что откуда-то с окраин раздается трепетный лай собак.

На башне бьют часы — двенадцать ударов.

Как раз в этот момент на Неве мелькает шлюпка.

Это Аполлон Ушаков плывет на шлюпке. У него за пазухой пистолеты. Пули подготовлены.

На Неве блещут блики.

В шлюпке корзина. В корзине провизия. Шампанское, херес, коньяк и индейка, откормленная грецкими орехами. Вина холодные, индейка жареная, еще тепленькая, все завернуто в фольгу.

Мирович стоит на карауле. Он — дежурный офицер. Он — командует караулом. Он — освещен голубоватыми небесами. Он — машет небрежно белой ручкой. Он окликает лодку:

— Стой! Кто плывет?

Лодка останавливается.

Блещут блики.

Ушаков откликается:

— Это я! Мое имя — подполковник ее императорско-го величества ординарец Арсеньев!

Никакой конспирации. Все должны слышать.

— Часовой? Слышал? — кричит Мирович изо всех сил. — Пропусти ординарца ее величества!

— Слы-шал! Слу-шай! — поет часовой.

Лодку пропускают в крепость.

— Давайте бумагу, подполковник, ординарец ее величества Арсеньев! — кричит Мирович с таким расчетом, чтобы все слышали.

Ушаков-Арсеньев без лишних слов подает бумагу. Бумагу написал сам Мирович. Это — манифест от имени Екатерины. Манифест начинается словами:

«Освободить «безымянного колодника номер первый», который есть не кто иной, как император Иоанн Антонович. Освободить императора Иоанна Антоновича в самый этот момент, нимало не мешкая!»

Мирович читает манифест с хорошей дикцией.

— Слышал? — кричит Мирович часовому. У часового блестит штык. — Что должен делать часовой в таком случае?

— Слы-шал! Слу-шай! — поет часовой. — Я знаю! Слу-шай! В ружье! В ружье!

Часовой объявляет тревогу.

Все солдаты выбегают.

Пока Мирович оповещал манифест, все, так или иначе, проснулись, все уже в курсе дела.

Комендант Шлиссельбургской крепости полковник Бередников Иван выходит на крылечко из своей семейной спальни; каменное крыльцо, на стропилах висят ведра.

Полковник выносит кандалы и цепи.

— Заковывайте меня, ребята! Поскорее! — восклицает Бередников. — Это кандалы и цепи Иоанна Антоновича. Я хорошо расклепал молотком кандалы. Вы ведь знаете, Иоанн — рыжий, а у рыжих такая нежная кожа и вся в веснушках. Я ничуть не повредил его веснушки! Заковывайте меня, я осмелился принудительно содержать в темнице императора. Не надо мне ни суда, ни ссылки. Наденьте на меня цепи и бросайте меня, как там поется в русской народной песне, — «в набежавшую волну!» Пусть я мгновенно пойду ко дну и захлебнусь по заслугам.

— Молодец, полковник! — похвалил Мирович. — И песни знаешь! Честный поступок с твоей стороны, простодушный и новый! Никто не бросит такого полковника на дно Невы. Нечего такому храбрцу захлебываться! Но

про цепи — это ты хорошо придумал. Цепи — вот чего столько лет не хватало тебе в крепости.

Бередникова заковывают в цепи, и он благодарит.

Как раз в этот момент солдаты под предводительством Ушакова разбегаются по квартирам гарнизонных офицеров.

— Вы арестованы! — заявляет офицерам Мирович. Он отбирает у них шпаги, ломает сталь о согнутое колено.

— Убирайтесь прочь! — говорит Мирович.

— Как же так? — удивляются офицеры. — А может быть, вы нас убьете? — робко спрашивают два толстяка, Власьев и Чекин. — Убить нас или повесить — как раз благоприятный момент. Это будет торжество справедливости.

— Ну нет! — говорит Мирович. — И не настаивайте! Живите, жабы, мучительно раскаивайтесь.

Победители церемониальным маршем идут к камере Иоанна.

Они взламывают все деспотические замки и засовы.

На них из полутьмы бросается что-то: в трепещущих тряпках, волосатое и заикающееся. Солдаты хотят схватить императора, чтобы сообщить ему приятную новость. Но Мирович не только военный вождь, он еще и психолог.

Он останавливает солдат. Он говорит:

— Не трогайте императора. Пусть он подышит хорошим воздухом. Подышит — и сумасшествие с него как рукой снимет.

Несколько минут Иоанн Антонович бежит по двору каземата и дышит хорошим воздухом.

Потом он останавливается перед Мировичем и смотрит на него осмысленными глазами.

Мирович удовлетворен: у императора появились некоторые признаки ума. Знает ли он, кто он на самом деле? Мирович спрашивает:

— Ты кто?

— А ты кто? — огрызается император. Иоанн — пришел в себя!

Мирович обижается:

— Знаешь, если мы так и будем «тыкать», ничего не получится из нашего государственного переворота.

Иоанн оживляется:

— Что, разве произошел государственный переворот?

— Вот именно.

— В чью пользу? — деловито осведомляется император.

— В пользу императора Иоанна Антоновича!

— Я — император Иоанн Антонович! — сурово и грозно говорит Иоанн.

— Ну вот, пожалуйста, — сумасшествия как не бывало! — восхищается Мирович. — Поздравляю вас, ваше императорское величество! Вы выздоровели, и, как бы лучше выразиться, вы уже не сумасшедший, а взшедший на ум!

Солдаты быстренько парят Иоанна в финской бане, опрыскивают его веснушчатое лицо, завивают его свежие красноватые кудри теплыми шомполами.

На Иоанна набрасывают халат (малиновый, золотые цветы!), купленный Мировичем в антиквариате для такого случая (торжественного!).

В крепостные шлюпки садятся солдаты. В отдельную шлюпку садятся: император, Мирович, Ушаков, барабанщик и флейтист.

Уже рассвело и небо покраснело. Вот-вот взойдет солнце. Оно уже поигрывает наверху: на окнах учрежденный, на вертикальных решетках петербургских мостов. На крышах кричат кошки. Они ходят по крышам и подслеповато шуряют на солнце.

Император пьет шампанское и совсем перестает заикаться: подействовал наш оздоровительный напиток! Иоанн прекрасно пьет, — неопишное счастье, он и помянуть позабыл, что еще вчера страдал сумасшествием.

Они приплывают в артиллерийский лагерь на Выборгской стороне.

В лагере — артиллеристы и артиллерия.

Уже утро.

Повсюду — пушки, деревянные бочки с порохом, арбузные ядра, гадючьи фитили, артиллерийская прислуга с факелами, офицеры со светлыми, стальными саблями, рассеивается веселый ветерок, на Неве блещут блики, — восстание!

Мирович встает во весь рост и читает манифест. Он сам сочинил манифест. Вот смысл ответственного документа:

«Долой деспотию Екатерины! Да здравствует демократия Иоанна!»

Войска и простой Петербург — все присягают. Все восклицают традиционное «ура!» и надевают шляпы, увитые дубовыми ветвями.

Беспрестанно бьют барабаны, играют флейты, пушки — стреляют, солдаты — стреляют из мушкетов в сто-

ропу Зимнего дворца, простой Петербург, народные массы — бросают все свои ножи и тяжелые камни в сторону Зимнего дворца, — остервенение, вот это бунт так бунт!

При поддержке народного мнения войска быстрым и блестящим штурмом берут Петербург. Все улицы и переулки в руках бунтовщиков. Мирович рассыпает рукописные экземпляры манифеста. Документы относят в Сенат, в Синод, во все коллегии и присутственные места.

— Что же нам делать с Екатериной Второй? — растерянные, спрашивают Сенат, Синод, коллегия, присутственные места. — Повесим ее, четвертуем или просто напросто расстреляем?

— ...Что же вы хотели сделать с Екатериной Второй? — спрашивал (впоследствии) Мировича на суде генерал-поручик петербургской дивизии И. И. Веймарн, следователь.

Мирович милосерден. Он отвечает:

— Сослать императрицу в отдаленную и уединенную тюрьму, а кроме того, для здоровья и жизни ее никакого вреда учинить у нас не было.

Думал Мирович, что получится такая оперетта.

Заговор задуман, и Ушаков узнал подробности. Но осуществление надежд всегда зависит от случайностей, пустяков.

Они были романтиками, но получился реализм.

5

Двадцать третьего мая 1764 года военная коллегия командует Аполлона Ушакова в Смоленск.

Исполнение мечты оттягивается. Ушаков уехал. Мирович служит. Он ходит в караулы и ожидает возвращения Ушакова.

Проходит месяц. Никаких известий.

Мирович беспокоится, посещает фурыера Новичкова: они вместе были в командировке, все возвратились, но нет Ушакова, где же он, черт побери, куда запропастился этот тип? Он мой лучший друг!

Фурыер Великолуцкого полка Григорий Новичков пожимает плечами: подпоручик Мирович только что спохватился, а уже всем известно — Ушаков утонул. Все пили в командировке, духота, купались, кто-то неизбежно должен был утонуть, вот Ушаков и утонул.

Вот и утонул. Мирович скис. Но не расплакался. Ушаков участвовал в плане-мечте. Но: и план, и мечта оста-

ются, в конце-то концов, несмотря ни на каких Ушаковых.

Ушаков сыграл свою положительную роль на первом этапе восстания: он смотрел на Мировича, главнокомандующего, с нескрываемым восхищением и беспрекословно слушал его сентенции.

Что ж, рабочую часть восстания можно выполнить и одному, тем более — уже написан такой подробный план с репликами и ремарками.

Как всякий уважающий себя заговорщик, Мирович начинает подготовку, или обработку общественного мнения.

Вот как хитро он пропагандирует свои идеи и что из этого получается.

Он ловит придворного лакея Тихона Касаткина, гуляет с лакеем по Летнему саду, говорит:

— Вот что, Тихон, братец. Как скучно сейчас и как может быть весело потом, когда произойдут прекрасные перемены.

Лакей Тихон объясняет Мировичу свое мировоззрение:

— Да. Сейчас грустно и гнусно. На этот счет не может быть двух мнений. Вот что, Василий, братец. Знаешь ли ты причину всего плохого, что происходит в Российской империи? А причина простая. Причина проще простой: прежде, когда увольняли придворного лакея, то ему присваивали звание подпоручика или поручика. А теперь? Страшно даже сказать вслух, засмеют: теперь увольняют — кого же? — придворного лакея! — в звании сержанта! Стыд и стыд! Никакого торжества справедливости!

Мирович поддакивает и провоцирует:

— Вот бы переворотик! Чтобы вместо этой ведьмы Екатерины Второй — Иоанн Антонович!

Тихон приседает, оглядывается во все стороны, его бритое лицо покрывается гусиной кожей от страха, даже пуговицы на его лакейской куртке как-то бледнеют, он быстро-быстро крестится:

— Господи, господа, упаси нас от очередных переворотов! И так эти прекрасные перемены осточертели. При Петре Третьем выплачивали жалованье серебряными деньгами, теперь — суют медяшки. Еще какой-нибудь переворот — и совсем перестанут платить! Пусть уж так, как есть!

Лакей как лакей.

Сомнения лакея.

Касаткин поуспокоился и рассказал Мировичу сказку, сказку лакея.

Был в Египте самый страшный фараон.

Народы Египта носили цепи и рыдали.

Много-много лет полиция не фиксировала ни одной улыбки.

Слева и справа от Нила ничего не осталось — лишь слезы и муки.

Душевное состояние у всех было самое худшее, и только одна старушка, самая старая старушка во всей вселенной, ходила в храм бога Солнца Ра.

Она ходила и хохотала в храме. По нескольку часов.

Она молилась за здоровье и за продление срока жизни жуткого фараона.

Фараон слышал краем уха: народы его ненавидят. Это совсем не расстраивало тирана, но интересовало в некоторой степени. Заинтересовала его и старушка.

Фараон спрятался за жертвенным камнем, и, когда старушка перестала хохотать и молиться, когда она подобрала свои тяжелые цепи, чтобы уйти восвояси, фараон встал и спросил.

Он сказал:

— Скажи, пожалуйста, красавица, почему весь народ меня ненавидит, а ты молишься за мое здоровье с таким хорошим хохотом?

Старушка ничуть не смутилась и не испугалась.

Она сказала:

— Слушай. Я знала твоего прапрадеда, прадеда, деда и отца. Я видела, как управляли они по очереди Египтом. Таким образом, я пережила четырех властителей. И каждый из них был хуже предыдущего. Все хуже и хуже. Теперь ты — пятый. Ты, безусловно, самый скверный. Потому-то я и молюсь, чтобы ты как можно дольше прожил на свете, потому что думаю: кто же, в таком случае, будет после тебя? Кажалось бы, хуже быть не может. Но так думают только глупые народы. А я знаю: нет пределов человеческой злобе. И я знаю: если ты умрешь — будет еще хуже.

Египетская мораль.

Если челядь напоена таким медом премудрости, то чего же ожидать от остальных.

И Мирович совсем один приступает к исполнению заманчивого замысла.

Двадцатого июня 1764 года Екатерина уезжает в путешествие по Лифляндии.

Она уже две недели путешествует. Заговор нужно привести в исполнение в ее отсутствие.

Мировичу не терпится.

По графику его караул — в ночь с 7 на 8 июля. Мирович просится в караул 4 июля. В ночь с 4 на 5 июля, в ночь с субботы на воскресенье, весь Петербург пьянствует. А когда Петербург пьян, все антиправительственные действия — воспринимаются, под влиянием алкоголя организм человека настроен антидеспотически.

Мирович в крепости. У него команда — 38 солдат.

Вечер 4 июля. Мирович ходит по крепости. Он старается определить на глаз: где окошко «безымянного колодника номер первый»? Никто не знает, в какой камере Иоанн Антонович. Знают Власьев и Чекин. Но узнавать у них — нелепо. Они — личные телохранители императора. У них — служба, тайна.

Солнце гаснет поздно.

Последние муравьи уползают в щели крепости. Неподвижные мухи — на потолках. На Неве уже потемнели разводы от рыбы. Спят птицы, спит Петербург.

Мирович возвращается в кордегардию. Он пересматривает манифесты, написанные собственной рукой, — фальшивки. Именем Екатерины II, именем Иоанна Антоновича. Все правильно, все убедительно. Никаких описок, никаких недоразумений. Сердце бунтовщика бьется спокойно. Его ожидает удача.

Он занавешивает окно голубым кафтаном от комаров, от мух, от постороннего глаза. Вызывает своего вестового Писклова. Объясняет ситуацию.

— Бунт! — говорит Мирович, и его цыганские глаза пристально изучают лицо Писклова, гипнотизируют. — Все! — говорит Мирович, отпуская Писклова. — Потом ты будешь майором!

Писклов согласился.

Мирович вызывает трех капралов: Андрея Кренева, Николая Осипова, Абакума Миронова. Капралам он обещает — «потом — подполковниками!».

Он вызывает остальных. Поодиночке. Он сулит им блестящее будущее. Он осыпает их орденами, одаривает именьями, присваивает звания. Он их провоцирует: все согласны, а вы? Солдаты вы, товарищи по оружию или сопливые трусы?

Солдаты отвечают по прусскому уставу:

— Если все согласны, и бунт — будет, и я — последний, — присоединяюсь.

Полутьма в комнате.

Глухо в крепости.

На крепостной стене стоят фонари.

На небе нет звезд. Не темно и не светло. Белые ночи. Белая тьма.

По стене, как по луне, ходит часовой и кричит время от времени, чтобы не уснуть, и голос его раздается еле-еле, как в высоте, в безвоздушном пространстве:

— Слу-шай!

Все хорошо, все просто, солдаты согласны, жарко, сыроватый воздух, летом в Петербурге не бывает темно, только — туманно, воздух сыр и туманен, Мирович лежит на кровати, голубым пламенем мерцают свечи, нужно встать и отдать две-три команды, все — произойдет, успех.

Часы бьют полночь. Пол-ночь.

Часы бьют час. Груст-но.

Часы бьют четверть второго. СТУК В КОРДЕГАРДИЮ! Мирович вздрагивает, вскакивает. *Передвинул на столе пистолет.*

В дверях фигура.

— Кто ты?

Это фурыер Лебедев. Он рапортует:

— Комендант приказал пропустить из крепости гребцов.

— Пропустить!

Лебедев поворачивается на каблуках, уходит (дверь открыта) в пустоту (дверь закрывается).

Мирович вытаскивает шпагу из ножен, протирает ее суконкой, опускает шпагу на стол (чтобы не услышали, чтобы не зазвенела!), теперь на столе пистолет с пулями, шпага (поблескивает!) и подсвечник с тремя простыми свечами.

Мирович улыбается самому себе, он рассеян, он гасит одну из трех свечей (фитилек давит пальцами, фитилек — мнет), он отодвигает подсвечник на край стола, от себя, поближе к двери, чтобы свет свечей освещал вошедшего, чтобы кровать подпоручика оставалась в тени, невидимка. Актер играет с самим собой в опасность.

Часы бьют половину второго.

Стук.

— Кто ты?

Опять Лебедев.

— Комендант приказал пропустить в крепость гребцов и канцеляриста.

(Кан-це-ля-ри-ста!)

— Пропустить! — Мирович подписывает пропуск на том краю стола, где свечи.

Больше ни слова.

Часы бьют без четверти два. Опять Лебедев.

— Комендант приказал пропустить из крепости гребцов и канцеляриста.

Мирович подписывает пропуск.

(Греб-цов-и-кан-це-ля-рис-та!)

И вдруг! одна мысль! одна-единственная:

«Предательство».

Мирович уже семнадцатый раз на карауле в крепости.

Лебедев стучит по каменной лестнице каблуками, каблуки стучат все тише и тише, как часы, которые останавливаются, как ос-та-нав-ли-ва-ю-щие-ся часы.

Случайность? Один час — три пропуска. Такого еще не бывало. Ни в в крепости, ни в Петербурге никаких чрезвычайных происшествий. Значит, комендант знает о заговоре, узнал! Солдаты рассказали! Бередников отправляет канцеляристов в Тайную канцелярию! С доносами на Мировича! Больше для торопливости — нет причин!

Мировичу не страшно, он играет с самим собой в страх.

Он лежит в ботфортах и слушает часы. Часы тикают. Часы бьют два раза.

Мирович вскакивает. Не одевается. Как в романах про венецианские приключения, подпоручик хватает шарф и шляпу, оставляет пистолет и шпагу, чтобы случайно вспомнить о них и возвратиться, на лестнице *вспоминает* и возвращается, распахивает двери, *чтобы погасли свечи*, одна свеча гаснет, одна не гаснет, колышется огонек, на столе блестит шпага и — тусклый пистолет, Мирович — хватает пистолет и шпагу, локтем — смахивает на пол свечу, свеча на лету — гаснет, Мирович — бежит вниз по лестнице, перепрыгивая в полутьме через ступеньки, ни о чем он не думает, он думает вот о чем: хорошо, что он знает все ступеньки, не спотыкается, — вниз, в солдатскую караульню, он кричит в караульню, в пустую, пьяную полутьму:

— К ружью! К ружью!

Он стоит на лестнице (казарма, камни!) — и тяжело и легко дышит.

Темнота, в темноте вспыхивает огонек, трепещет ма-

ленькая, как пальчик, свечечка, она мелькает и падает на пол, на каменный пол (каменного цвета!), вспыхивает тряпка (ружейная промасленная тряпица!), чья-то волосатая рука бьет по тряпке пустым сапогом, стучит железо и дерево, бормотанье, блестит множество пуговиц.

Мирович истерически плачет, без слез, его просто лихорадит: началось!

Солдаты уже унесли ружья, убежали. Мирович без мундира, шляпа упала на лестнице, укатилась (куда-то!), серебряный парик порвался, висит на последней шпильке, ползет по шее, над глазами перепутались волосы (цыган! кудри!), в крепости туман, теплый, светлый, июльский.

— Ружья! пулями! заряжай!

Солдаты заряжают.

Туман совсем не рассеивается и не рассеивает звуки: шомпола и замки звенят в тумане.

Мировича вдохновляет этот оркестр, он уже — на сцене — главный герой. Он отдает приказания бешеным голосом, жестикулирует, а рукава красной сорочки болтаются на локтях.

На крыльцо комендантского домика выбегает полковник Бередников, карлик в очках, в золотистом халате жены, он запутался в халате супруги, маленькая мумия, на лобике блестят очки, он растерялся, у него фальцет:

— Я... ружья заряжать не приказывал! (Кашляет.) Я... тревогу... не объявлял! Сами... самовластье! Дисциплина! Подпоручик Мирович! Объяснитесь!

Мирович объясняется с комендантом, но по-своему: бросается на крыльцо, бьет подполковника (кулаком — в лоб!), карлик в халате катится с крыльца, крошечная лысая головка затерялась в халате, Мирович хватает халат за шиворот и тащит, и бросает халат в караульной и оторопевает — совсем нет коменданта, это пустой халат, расстояние — короткое, до кордегардии десять шагов, Мирович и не почувствовал, как Бередников выпал из халата, подпоручик притащил и бросил пустой халат, комендант пропал, ну и пусть — пропал так пропал!

Повсюду солдаты зажгли факелы.

Факелы сильно сияют в тумане, — нимбы.

Лихорадка охватывает всех.

— Примкнуть штыки! Обнажить тесаки! Мы должны умереть за государя!

— Мы! должны! умереть!

— Где гарнизонная команда? Пусть присоединяются!

— В три шеренги становись!

— Какой туман! Где казарма? Где гарнизонная команда?

— Стой, кто идет? Стой, сволочь!

Мирович со шпагой и с пистолетом:

— Иду к государю!

— У нас нет государя! Где государыня?

В тумане голос:

— Часовой, почему не стреляешь?

Выстрел!

Еще голос:

— Всем фронтом пали!

Залп!

Мирович тоже кричит:

— Всем фронтом пали!

Залп!

У Мировича — 38 ружей, у гарнизонной команды — 16. Беспорядочная перестрелка. Стрельба в пустое пространство, приблизительная стрельба, — туман!

Около склада пожарных инструментов солдаты окружают Мировича. Передышка в стрельбе. В тумане передвигаются лишь лица солдат. Мирович вынимает манифест, написанный им самим от имени Иоанна Антоновича. Мирович читает манифест бешеным голосом!

Впоследствии (на суде) солдаты признавались:

— Хоть манифест и был зачитан Мировичем в самый ответственный момент, когда мы сомневались, нужен ли братоубийственный бой в крепости, но никто так ничего и не понял, каково же содержание манифеста, к чему он клонится.

Поддействовал голос. Голос начальника. Он загипнотизировал солдат.

У Мировича мелькает мысль:

«Во время перестрелки убьют императора. Шальная пуля — смерть!»

Мирович объявляет своим солдатам:

— Прекратить стрельбу!

Они прекращают. Но гарнизонные солдаты продолжают стрелять.

— Прекратить стрельбу! — кричит Мирович им, в туман.

Но у гарнизонных солдат свое начальство — Власьев и Чекин. Солдаты стреляют. Пули слышны, но на некотором расстоянии, стреляют не прицеливаясь — туман! Мирович в бешенстве.

— Ах так! — кричит он в туман. — Тогда выкатить пушку!

Выкатывают пушку.

Пушка шестифунтовая, медная. Приносят порох, пыжи, фитили, шесть ядер. Те, из тумана, стреляют.

— Заряжай! Зажигай фитиль!

Пушка заряжена, фитиль зажжен, из тумана голос:

— Стойте! Не стреляйте! Мы — сдаемся!

Из тумана выходит капитан Власьев. В расстегнутом мундире, безоружный, толстое лицо трясется и как-то слезится, что ли.

— Все! — вздыхает капитан. — Пошли.

Он вздыхает и ни на кого не смотрит, отворачивается.

Мирович восхищен; обнимает капитана, эту тушу ему не обхватить, усы у Власьева обвисли, соломенные, он осторожно отстраняется от Мировича, как *несоучастник*.

Солдаты разбегаются по казармам (искать камеру Иоанна). На галерее всех встречает поручик Чекин.

Мирович хочет обнять и Чекина, а Чекин, как и Власьев, отстраняется, он тоже туша, но поменьше и без усов, а с какими-то студенистыми (в тумане, что ли?) бакенбардами.

— Где государь? — спрашивает Мирович резко. Он возбужден до последней степени, он то вскакивает, то садится на камень, то хватается за рукава, за пуговицы офицеров. Его мечта — в двух шагах! Его лицо — подергивается, нервный тик.

Осуществленьё! У него совсем пересохло во рту, он дышит, как рыба, судорожно хватая раскрытым ртом воздух.

И Власьев, и Чекин — в нерешительности, в меланхолии.

— Где государь? Ты, туша! — Мирович обращается к Чекину, приставляет к его горлу острие шпаги.

— Нет государя, — чуть не плачет добродушный Чекин, и его бакенбарды трясутся.

Ни слова не говоря, Мирович бьет (болван!) рукояткой пистолета — в лоб! Он хватается Чекина за бакенбарды и тащит тушу и трясет:

— Где государь? Показывай камеру!

Власьев стоит у перил галереи, отделяется от перил, усы — опущены, лицо — толстое, блестит, как слезится:

— Пошли... я покажу... отпусти человека.

Мирович отпускает и послушно идет. Идет за Власьевым, и хвалит его, и дает ему всякие обещания. Влась-

ев — ни слова, безответен, не оборачивается. Он какое-то время возится с ключами.

А Минович кричит на всю галерею, в сторону Чекина. Минович еще не остыл, кричит:

— Посмотри на Власьева, ты, байбак! Это — молодец! У него усы! А ты? Тупица! Другой бы давно заколол тебя, кабан! Колите кабана! — кричит Минович, обращаясь неизвестно к кому.

Миновичу нужно покричать. Никто не понимает его криков и не прислушивается. Кого колоть? Какого кабана? Солдаты переспрашивать — боятся.

Дверь камеры открыта, распахнута. Минович рвется в камеру. Там темно.

Неизвестно откуда взялась свеча: Власьев зажигает свечу, прикрывая огонек от легкого ветра ладонью (большой, с толстыми пальцами, ладонью).

Он входит в камеру.

— Ну вот, — вздыхает Власьев и поднимает свечу.

Камера освещена, большая и пустая, в стены вбиты деревянные колышки, гвоздики, на колышках одежда, матросская, на подоконнике склеенные из газет и раскрашенные кубики и матрешки — игрушки двадцатичетырехлетнего императора. В последнее время Иоанн окончательно впал в детство и мастерил детские игрушки, кубики и матрешки.

— Где же... — Минович оглядывается и не договаривает.

Власьев опускает свечу. На полу — распростертое человеческое тело... Чье?

— Это... кто? — спросил Минович и не пошевелился.

— Кто это? — закричал Минович, оглядываясь то на Власьева, то на труп.

Власьев не отвернулся. Он смотрел на Миновича не мигая. Смотрел, и ни один мускул не шевельнулся на его толстом лице с соломенными опущенными усами. Он смотрел на Миновича так, как смотрят в окно, в пустую тьму.

Все.

Бунта — не будет.

В ушах — какой-то странный тик, руки онемели и повисли, они болят, наверное болят от напряжения ногтей, то есть под ногтями, — Минович еще судорожно сжимал рукоять шпаги.

Все. Мирович вкладывает шпагу в ножны. Он вертит в руке отяжелевший пистолет и не знает, как с ним, с пистолетом, быть, он делает несколько шагов в сторону подоконника, подходит к подоконнику и бросает пистолет на подоконник, перебирает раскрашенные кубики, безучастно рассматривает матрешек.

В дверях уже — солдаты. Самих солдат не видно, они в какой-то мути, брезжат лишь тусклые лица и поблескивают, серебрятся и золотятся пуговицы и пряжки.

На полу блеснула бритва. Мирович поднимает бритву, рассматривает, — не дешевая, английская, с английской короной, выгравированной на лезвии, и с вензелями на лезвии.

В камере — уже вибрирует голос Чекина. У него так вибрирует голос, скорее всего, потому, что Чекин отчаянно жестикулирует. Голос — вопль, но все время срыгается:

— Это — мы! Но не мы! То есть, мы не виноваты! Нам все равно, кто он! Он не император для тюрьмы, — арестант! Мы по присяге! Так — приказано! Мы знали, кто он, но — присяга! Мы виноваты! Или — нет!

Чекин совсем запутывается. Что он говорит — разобратся нет сил.

Мирович ни на кого не смотрит.

— Эх вы, — говорит Мирович, — сволочи. Бессовестные вы люди, — говорит он тихо и страшно, — убийцы. Его-то за что вы убили? Ну, ладно, меня бы, ладно уж, — говорит он, — но такого-то человека за что?!

— Мы не убили! Присяга! Мы только ударили! — бормочет Чекин.

— Он же был глупый и тихий, как птица, — говорит Мирович. — Разве можно ударить птицу — бритвой?

Мирович подходит к трупу и опускается на колени, целует руку мертвеца, поднимает свою черную цыганскую голову, глаза его полны слез, он целует ногу мертвеца. И встает.

Он распрямляется и приказывает положить мертвое тело на кровать и накрыть простыней. Притихшие солдаты опускают тело на кровать и прикрывают простыней. Кровать выносят из казармы, солдаты строятся, Мирович идет перед кроватью, за ним шагает Чекин и спрашивает шепотом, когда кровать переносят через канальный переход:

— Что же теперь с нами будет? Что же произойдет? Солдаты останавливаются и опускают кровать.

— Что произойдет и будет? Это — ваше дело, — бросает Мирович.

Переживания прошли, Мирович становится опять самим собой, он входит в новую роль. По всей крепости несут кровать с мертвым императором. Ни шепота. Факелы потушили. Рассветает.

Золотится фрунтовой песок.

Команда строится в четыре шеренги. Маленькая команда, 54 человека.

Мирович стоит простоволосый, без парика. От пота, от солнца его волосы блестят, как угольные, он поправляет волосы пальцами, глаза — отрешенные, он говорит:

— Солдаты! Отдадим последний долг императору Иоанну Антоновичу! Он страшно жил и страшно умер.

— Солдаты! Бить утреннюю побудку!

— В честь мертвого тела ружья на караул!

— Бить полный поход!

— Залп!

— Солдаты! Вот наш государь Иоанн Антонович! Мы могли бы быть счастливы, а вот — несчастны. Я виноват. Я за всех отвечаю. Вы несколько не виноваты, ведь вы не знали моей цели, вы подчинялись. Так я вам говорю: пускай вся ответственность, пускай все муки — на меня.

Мирович обходит шеренги и целует рядовых.

Появляется солнце, оно еще только немножко краснеет в стеклянном тумане. Солдаты в смятении. Никто не знает, что же дальше.

Первым опомнился капрал Миронов.

Хитрец, капрал подкрался к Мировичу сзади и выхватил из его ножен шпагу. Солдаты перестали обниматься и целоваться, зашевелились.

— Отдай шпагу, трус, — закричал Мирович, — комендант, я отдаю вам шпагу!

Солдаты бросились на Мировича.

6

Семнадцатого августа 1764 года был опубликован манифест Екатерины II о заговоре Мировича и об убийстве Иоанна Антоновича.

Власьев и Чекин ничем не поплатились за убийство. Они выполнили свой долг полицейских. Правда, их никто не уполномочивал убивать Иоанна, но в такой ситуации у них не было другого выхода: или смерть одного сумасшедшего, или государственное кровопролитие, между-

усобная война. Убийство порицала и Екатерина, но делать было нечего — в манифесте она похвалила их за выполненный долг, а потом отстранила от службы.

Сентенцией Сената Минович был приговорен к четвертованию.

Императрица пожалела авантюриста. Она заменила четвертование «обезглавлиением».

Шестьдесят два солдата были наказаны шпицрутенами и батогами и сосланы в Сибирь.

Капрал Абакум Миронов, несмотря на хорошую инициативу при аресте Миновича, получил 10 000 палок и был сослан на каторжные работы.

Приговор был приведен в исполнение 15 сентября 1764 года.

Весь Петербург пришел посмотреть на бунтовщика — как его будут казнить.

Миновича казнили на Петроградской стороне.

Подпоручик Минович был в голубом кафтане. Кафтан застегнут на все пуговицы, а пуговицы блестели. Он в серебряном, припудренном парике. Холодногато, и его лицо раздумянилось: Миновича не пытали и хорошо кормили в крепости. Он был — весел!

Надеяться — не на что. Он совершил двойное преступление: бунтовал против императрицы и спровоцировал смерть императора. Пощады быть не могло. Моросил дождик.

На эшафоте Минович подмигнул священнику:

— Батюшка! Не смотри на меня, смотри на Петербург. Вот он весь — у эшафота. Смотри — глаза. Они — ненавидят. Не сочувствуют! А если бы поменять на минутку декорации? Если бы это не эшафот, а тронное место, а я — генералиссимус победившего восстания? Какие были бы глаза! Не глупость и злоба, о нет, — восторг и холуйство.

Минович рассмеялся тихонько, и темное цыганское лицо его посветлело.

— Чего ты смеешься, дурачок! — пожалел Миновича священник.

Полицмейстер читал сентенцию о казни.

Минович махнул рукой. Все — равно. Это — его последняя сцена. Последняя игра. И она должна быть превосходна.

Минович стоял во весь рост и не шевелился, лишь серебряный парик и голубая шинель понемногу темнели от маленького дождика. Минович поблагодарил полицмей-

стера за то, что он прочитал указ. Поблагодарил императрицу и Сенат, что в приговоре нет никакой напраслины. Он поблагодарил простой Петербург, что пришли его посмотреть. Он сказал, что раскаивается во всем, в чем только хотят чтобы он раскаялся, но не перед кем-то его молитвы — лишь перед богом.

Простой Петербург залюбовался храбрцом, все заплакали.

Мирович был превосходен.

Он театральным жестом снял с пальца перстень и бросил палачу. Палач ничего не понял и отшатнулся. Палач еще не имел никакого опыта в своей области (в России уже двадцать лет не существовало публичной смертной казни). Обыкновенный гренадер, бурлак, он стал палачом лишь неделю назад, ему предложили несколько рублей на кабак, он и согласился. Неделю его обучали: как получше отрубить голову барану. На баранах и научился.

— Возьми перстень, — сказал Мирович, — он дорогой. Такой у тебя труд: пожалеешь — промахнешься. Возьми перстень, дружок, и смотри — не промахнись.

Мирович откинул полы голубой шинели, встал на колени, снял серебряный парик, отбросил парик, положил свою черную цыганскую голову на плаху.

(В толпе: «Какие кудри!»)

Приблизительно так выглядит версия официальной историографии.

Теперь посмотрим другие документы.

ВЕРСИЯ ВТОРАЯ: СМЕРТЬ УЗНИКА И КАЗНЬ ПОЭТА

1

Все факты остаются.

Император Иоанн Антонович родился 12 августа 1740 года.

Шестнадцатого октября 1740 года императрица Анна Иоанновна объявила его императором.

Двадцать пятого ноября 1741 года Елизавета Петровна арестовала Иоанна.

С 25 ноября 1741 года арестанта перевозят из крепости в крепость, а 5 июля 1764 года офицеры Данила Власьев и Лука Чекин убивают его.

Все факты остаются.

Василий Яковлевич Минович родился в 1740 году.

Он был подпоручиком Смоленского пехотного полка.

В ночь с 4 на 5 июля 1764 года Минович поднял восстание. У него было 38 солдат.

Он был казнен 15 сентября 1764 года, в среду, в Петербурге, на Петроградской стороне, в Обжорном ряду.

Все факты остаются. Факты — важны. Но не менее важна и трактовка фактов.

Итак, трактовка.

Происхождение Иоанна Антоновича. Что говорит о происхождении официальная историография? Вот список слабоумных предков Иоанна и попытка комментария:

1. Прадед — царь Иван Алексеевич: от природы скорбен головой, заика, болел цингой, плохо видел.

Почему царь Иван был «от природы скорбен головой» — хорошо известно. Только потому, что, как старший брат, он должен был стать императором, а стал — Петр I, младший.

Цингой он болел не потому, что был глуп. «Плохо видел» — этим недостатком страдали тысячи гениальных людей, в том числе и Гомер. Но никому еще не приходило в голову приписывать Гомеру идиотизм.

2. Прабабка — царица Прасковья Федоровна: выросла в предрассудках и суевериях, грамоте была обучена довольно плохо, хитрость и вкрадчивость заменяли ей ум, страдала припадками бешенства.

В предрассудках и суевериях выросли Архимед, Спиноза, Кант, Лейбниц, Локк, Ломоносов, Гегель, Федоров, Ницше; Жанна д'Арк, Мария-Терезия, королева Виктория, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина I и Екатерина II, Мария Медичи, Мария-Антуанетта, Маргарита Наваррская. Хитрость и вкрадчивость заменяли ум и им. Никакими припадками бешенства царица Прасковья не страдала. Она была вспыльчива и истерична.

3. Дед — Карл-Леопольд: был известен сварливым, вздорным и беспокойным характером; был слабоват умом.

Вздорны, беспокойны были Микеланджело, Гойя, Лев Толстой, Бетховен, Гюго, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор. «Слабоват умом» — суффикс «ат» вообще имеет только литературно-художественное значение, когда нужно сказать что-то приблизительное.

4. Бабка — царевна Екатерина Ивановна: могла служить типом пустой, избалованной барышни.

«Пустая, избалованная барышня» — уж никак это не характеризует дегенератизм рода. Так можно сказать о любом, кто тебе не нравится.

5. Мать — Анна Леопольдовна: недалая по уму и ветреная, она была плохо воспитана. Все умственные способности ее, от рождения слабые, были подавлены еще в юности одной чувственностью.

Так пишет историографическая комиссия через сто с лишним лет. А вот что пишет современник Анны Леопольдовны, который видел ее ежедневно и служил в ее кабинетах. Петр Панин пишет:

«Она одарена была хорошим умом, добрым сердцем и возвышенно душою, никому в жизнь свою не сделала зла, даже слуги ее обожали, была весела и приятна в обхождении, по-русски, по-немецки и по-французски говорила свободно».

6. Отец — Антон-Ульрих: не кончил полного курса наук, белолицый, подслеповатый, золотушный, очень робкий.

Самый сильный аргумент не в пользу Антона-Ульриха — «белолицый». «Очень робкий» или «очень смелый» — пустословие. Гораций был «очень робкий» — он бросил щит на поле боя и убежал писать стихи. Герострат был «очень смелый» — он сжег прекрасный храм, только чтобы прославиться. Но это ничего не прибавило и не убавило в характеристиках потомства: первый — гений, второй — дурак. «Не кончили полного курса наук» — Бальзак, Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Байрон, Бах, Ван-Гог, Сен-Симон и другие.

7. Сестра — Елизавета: подвержена частым головным болям, страдала помешательством в 1777 году, но после оправилась.

«Подвержено частым головным болям» три четверти человечества. Как можно страдать помешательством в энном году, а потом оправиться? в следующем году? Помешательство — это все-таки не грипп.

8. Брат — Петр: имел спереди и сзади горбы, кривобок, косолап, страдал геморроидальными припадками, прост, робок, застенчив, молчалив, до обмороков боится вида крови.

Паганини был уродлив. Геморроидальными припадками в средние века страдали чуть ли не все. Чтобы доказать глупость Петра III, Екатерина писала, что он — «любил устриц!» Чтобы доказать слабоумие предков Иоанна Антоновича, историческая комиссия пишет об их

«застенчивости и простоте»! Особенно если человек до обмороков боится вида крови — он, безусловно, сумасшедший. Придется еще прибавить. Байрон был калека. Сервантес — тоже. Тургенев до обмороков боялся вида крови.

Все перечисленные выше разоблачения комиссии — никак не криминал для определения умственных способностей, а ведь комиссия пишет именно об умственных способностях предков Иоанна, чтобы приписать ему наследственное сумасшествие. Бетховен был глухой, а Фонвизин паралитик. Но они не были сумасшедшими.

В русской народной песне поется:

Лишь слепые все видят,
Лишь глухие все слышат,
Лишь немые поют песни.

Из всей монографии о предках — только два серьезных обвинения:

«Скорбен головой и слабоват умом».

Но эти обвинения несерьезны. «Скорбен головой и слабоват умом» — так говорят о любом, кто не согласен с моим мнением.

Все.

Генеалогия Иоанна Антоновича медицински вполне нормальна.

Замечателен вывод комиссии:

«Достаточно взглянуть на силуэты этих несчастных предков, чтобы по профилям, по неправильной форме головы догадаться о их слабоумии».

Теперь. Как же доказывает сама Екатерина сумасшествие — самого Иоанна Антоновича?

Она доказывает еще проще. Она использует документы Сената, протоколы следствия по делу Мировича.

Прочитируем еще раз донесения Овцына и показания Власьева и Чекина.

Вот какую фразу использует императрица для своего манифеста:

«Овцын: „Иоанн Антонович в уме несколько помешался“».

Так цитирует Екатерина. Но донесение Овцына выглядит несколько иначе:

«Овцын: „Хотя в арестанте болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался“».

Екатерина цитирует:

«Овцын: „Видно, что сегодня в уме помешался больше прежнего”».

А вот фраза Овцына из протоколов Сената:

«Видно, что сегодня в уме гораздо более прежнего помешался. *Не могу понять, воистину ль он в уме помешался или притворничествует*».

Екатерина использует фразу Овцына о хроническом беспокойстве Иоанна Антоновича:

«Овцын: „Арестант временами беспокоен“».

Фраза Овцына на самом деле:

„Арестант *здоров* и временами беспокоен, а до того *его всегда доводят офицеры, которые его дразнят*”.

Екатерина ни слова не пишет об офицерах, которые дразнят Иоанна. Почему-то ей необходимо реабилитировать их, убийц — Власьева и Чекина. Почему — попытаемся выяснить ниже.

Сейчас главное: опровергнуть основной тезис императрицы — Иоанн болен. По традиционным понятиям медицины того времени («в здоровом теле — здоровый дух»), если человек болен телом, то он болен и душой.

Но здесь-то и начинается крушение всех аргументов, так старательно подтасованных Екатериной.

Ничего подобного.

В течение двух лет комендант Шлиссельбургской крепости Овцын ежедневно видит заключенного. Овцын еженедельно и честно доносит в Тайную канцелярию: «Арестант здоров».

Тайная канцелярия провоцирует — по наущению Елизаветы, а потом Екатерины:

«Не помешался ли узник?»

Им нужно, чтобы опасный претендент на престол был сумасшедшим. Тогда — расправа проста и безответственна.

Два года Овцын пристально присматривается к молодому человеку. И доносит о своих сомнениях:

«Если Тайная канцелярия подозревает, что узник помешался, может быть он и помешался, только тщательно скрывает свой психоз. Но, может быть, он и не помешался, а притворяется».

«На прошлой неделе его опять дразнили офицеры. У него от ненависти почернело лицо».

Почернело лицо — ну, значит, помешался.

«Но арестант все время здоров и физически развит, даже больше, чем положено узнику, не занимающемуся физическими упражнениями».

Так, пока Овцын подглядывал в замочную скважину за поведением «безымянного колодника» и прикидывал, помешался ли Иоанн или притворяется, это дитя темных тюрем подкралось к двери, распахнуло дверь, Иоанн схватил Овцына за рукав тулупа и так рванул, что оторвал рукав.

— Отдай хоть рукав, ты, полоумный! — в отчаянье взмолился Овцын.

— Ничего, померзни, холуйская морда! Не будешь больше подглядывать, свинья!

Оторвать рукав у тулупа, сшитого из овчины, замерзшей на морозе, как свинец, может человек не просто сильный, а — очень сильный. Полицию никогда не одедали в гнилые шубы.

Овцын в смятении, он рассуждает:

«Иоанн или помешался, или высок и горд духом: он не побоялся оторвать рукав у коменданта, от которого зависит многолетнее его (Иоанна) благосостояние».

Иоанн Антонович был здоров.

Он был здоров, как может быть здоров человек двадцати четырех лет, который двадцать лет провел в камере-одиночке, плохо питался, не дышал свежим воздухом.

Но ведь его посадили в тюрьму ребенком, его организм с детства приспособился к *таким* условиям, *такие* условия стали для него — естественными.

Никогда — за двадцать четыре года — Иоанн не болел ни одной болезнью.

Сама Екатерина не упустила бы случая перечислить его болезни, если бы они были.

Она не упустила бы распространиться о его единственной болезни, если бы болезнь — была.

Она ни слова не написала о его болезнях. Значит, их — не было.

И императрица Екатерина II, и ее обер-гофмейстер, действительный тайный советник Никита Панин, глава Тайной канцелярии, сенатор и кавалер, — и она, и он мечтали, чтобы Иоанн заболел. Об этой их мечте свидетельствует инструкция, данная коменданту Бередникову (Овцын ушел в отставку, Бередников — заместил).

Вот текст инструкции:

«Гарнизонного лекаря к Власьеву и Чекину допускать, лишь бы лекарь не увидел арестанта. А если арестант заболет, то лекаря к нему не допускать, а сообщить мне (Панину)».

Та же мечта и в инструкции об обслуживании арестанта. Инструкция Власьеву и Чекину:

«Если арестант опасно заболает и не будет никакой надежды на выздоровление (!!!), то позвать в таком случае для исповеди священника (!!!)».

НО НЕ ВРАЧА!

Напрасные грезы.

Иоанн Антонович оказался катастрофически здоровым больным.

Власьев и Чекин дразнят узника. Им тем более приятно его дразнить, что им нечего делать. Их обязанность — лишь смотреть на императора и кормить его. Но Иоанн — не шедевр живописи, чтобы на него можно было беспрестанно и с наслаждением смотреть. Но Иоанн — не гусь в клетке, которого нужно откармливать на ярмарку. Полицейским персонам — скучно. Они дразнят Иоанна еще и потому, что дразнить его — лестно. Они простые офицеры, а он император. Это-то и льстит их холуйскому самолюбию.

Иоанн сердится, ругается, дерется, бьет офицеров по морде ложкой. Офицеры обижаются и доносят:

«Он буйствует. Он бьет нас по морде ложкой. Он — сумасшедший».

Кто же сумасшедший?

Молодой человек двадцати четырех лет, который на оскорбление словом (его дразнят два дурака) отвечает оскорблением действием (бьет двух дураков ложкой по морде)?

Более нормальную реакцию нормального человека трудно себе представить в такой ситуации. Сумасшедший еще подумает, бить или не бить обидчика, — человек нормальный обязательно ударит.

Самый сильный силлогизм в донесениях Овцына:

«„Безмянный колодник“ кричит на все обиды и оскорбления: „Я — император Иоанн Антонович! Я — вашей империи государь, вы — свиньи!“».

Овцын пишет:

«В припадках бреда называл себя императором. Он, несомненно, умалишенный».

Без тени стеснения последующая историография цитирует эти фразы как самые несомненные доказательства сумасшествия Иоанна Антоновича.

Пускай у недоразвитых офицеров хватало наглости писать о сумасшествии Иоанна. Они — убийцы. Они — свидетели пристрастные. Им нужно оправдаться во что

бы то ни стало. Одно дело — убить помешанного колодника, другое — убийство разумного императора. За это просто поплатиться. Клевету офицеров можно понять. Она — во имя спасения самих себя.

Но как можно оправдать исторнографическую комиссию, — ведь им досконально известно, что сумасшедшие слова: «Я — император Иоанн Антонович!» — кричит сам император Иоанн Антонович!

Он, доведенный до отчаянья тупоумием телохранителей, орет в их пьяные морды свою страшную и беспомощную тайну, а это бешеное полицейство хохочет и — определяет степень его умственных способностей!

Запомним: больше *ни в одном* показании, *ни в одном* донесении, *ни во время* процесса, *ни после* суда, нет *ни одного* доказательства, *ни одного* конкретного примера или случая, который *каким бы то ни было* образом, прямо или косвенно, доказывал бы, что Иоанн был сумасшедшим.

ЗНАЧИТ, ОН НЕ БЫЛ СУМАСШЕДШИМ.

Власьев и Чекин рассказали на допросе новеллу о косноязычии императора. Их новелла — гипербола. Для пушей убедительности они рассказали, что он заикался до такой степени, что его нижняя челюсть ходила ходунком и совсем отваливалась.

Екатерина подтвердила версию убийц.

Она сама оповестила Сенат, что встречалась с Иоанном. Он произвел на нее самое отталкивающее впечатление. Она расплакалась и уехала вся в слезах. Ей страшно было разговаривать с ним — так он заикался, как самый что ни на есть настоящий сумасшедший. У него была уродливая физиономия зверя.

Это — неправда.

Екатерина не встречалась с Иоанном.

Если бы она встречалась, она посмаковала бы встречу *сразу же*.

Она все перепутала. Одним она рассказывала, что встречалась с императором два года назад в доме А. И. Шувалова. Другим — что встречалась год назад в доме И. И. Шувалова. Третьим — что встречалась в крепости. Четвертым — что Иоанна привозил в ее кабинет Н. И. Панин. И так далее.

Екатерина помнила все даты и все встречи до мельчайших подробностей. Все ее записки сверены с архивами — ни разу она ничего не перепутала. Если уж Екатерина перепутала событие двухлетней давности, значит,

этого события — *совсем не было*. Императрица *не видела* заключенного, иначе она не стала бы описывать его «уродливую физиономию зверя».

Потому что барон Ассебург, тайный советник датского посла при русском дворе, видел Иоанна.

Восемнадцатого марта 1762 года Ассебург вместе с Петром III посетил Иоанна Антоновича в Шлиссельбурге. Петр хотел освободить Иоанна, но не успел. Произошел государственный переворот 28 июня.

Ассебург записал в дневнике:

«Иоанн был очень белокур, даже рыж, роста среднего, очень бел лицом, с орлиным носом, большими глазами».

Ни слова об отваливающейся челюсти. Он описывает красавца! — *орлиный нос, большие глаза, рыжие кудри*.

Восемнадцатого марта 1762 года Петр III посетил Иоанна в Шлиссельбургском каземате.

Петр III не заметил, что Иоанн заикается.

Петр рассказывал английскому послу графу Букингеми:

«Разговор Иоанна был не только рассудителен, но даже оживлен».

Может быть, Иоанн схитрил и притворился не заикой?

Можно скрыть любую болезнь, косноязычие скрыть невозможно.

Петр несколько часов говорил с Иоанном — и ничего не заметил.

Первое же слово, произнесенное калекой, должно было выдать его.

Барон Н. Корф, полицмейстер Петербурга, присутствовал при этой встрече, он знал Иоанна с детства.

И барон Корф — ничего не заметил!

Обер-шталмейстер Нарышкин, барон Штернберг, секретарь Волков сопровождали Петра III. Они — присутствовали, они ни на минуту не отлучились из каземата.

И они — ничего не заметили. Никакого косноязычия.

Иоанн жаловался, шутил, шумел, — волновался. Он даже запустил в потолок табуретку, и табуретка разбилась вдребезги.

Но «безымянный колодник» — ни разу не заикнулся.

В. Ф. Салтыков, который отвозил мальчика в Ригу, капитан Миллер, который отвозил Иоанна в Холмогоры, полковник Вындомский, начальник полиции в Холмогорах, сто тридцать семь несчастных полицейских, которые жили с Иоанном в Холмогорах двенадцать лет, сержант лейб-компания Савин, который тайно вывез Иоанна из Холмогор в Шлиссельбург, майор Силин, который возил юношу в Кексгольм, капитан Шубин, первый полицейский при Иоанне в Шлиссельбурге, четыре коменданта Шлиссельбургской крепости — майор Гурьев, капитан Чурмантеев, майор Овцын, подполковник Бередников — *более ста пятидесяти свидетелей в течение двадцати лет!* — никто не заметил, что Иоанн Антонович был косноязычен.

ЗНАЧИТ, ОН НЕ БЫЛ КОСНОЯЗЫЧЕН.

Итак.

Иоанн был здоров.

Он не был сумасшедшим.

Он не был заикой.

Он знал, что он — император.

Он был — опасен.

Он был уже серьезно опасен, потому что ему было уже *двадцать четыре года*, потому что в его пользу было уже *четыренадцать заговоров*.

Это Власьев и Чекин были малограмотны. Об этом свидетельствуют все (больше полусотни) их доносы. Овцын писал:

«Арестант доказывал Евангелием, Апостолом, Минеею, Прологом, Маргаритою и прочими книгами».

А Власьев и Чекин писали, что «он не знал азбуки».

Чтобы читать перечисленные комендантом Овцыным книги, нужно было знать по крайней мере два языка: современный русский и церковно-славянский.

Комендант Бередников писал, что он «читал газеты».

Иоанн читал книги и газеты: он многое знал, обо всем слышал. Над ним издевались двадцать лет только потому, что он — претендент на престол. Он мог взбунтоваться.

Он мог взбунтоваться и найти в той же Шлиссельбургской крепости людей, которые с радостью помогли бы ему расправиться с Екатериной.

Все мысли всех сословий — Шлиссельбургская крепость. Все мысли, все слухи. Наивность — Россия думает, что любой новый император ее спасет. В крепости — император. Ему — 24 года. Все знают — он разумен и ре-

лигиозен. Чуть ли не каждый месяц — Сенат, суд: открылся еще один заговор в пользу Иоанна. Его имя — уже миф. Четырнадцать заговоров за два года, — неслыханно за всю историю России.

Екатерина храбрится (диктатор — прихорашивается); но она напугана. Смертельно.

Что-то нужно делать с Иоанном Антоновичем. Но — что?

Убить тайно невозможно. Будет — бунт!

Убить публично нельзя: ни собственная Россия, ни Европа не простят. Будет — бунт в России и ссора, разрыв со всеми королевскими домами Европы, то есть — смерть.

Но и жить — нельзя, когда в нескольких верстах от Зимнего дворца в камере-одиночке — император. Вся Россия — в беспокойстве, вся Европа сочувствует Иоанну.

Опасного претендента нужно устранить. Но как?

Сама по себе напрашивается другая версия убийства Иоанна Антоновича.

Императрица — хитра.

Она ищет исполнителей.

Ей не нужны исполнители — слепые, ей нужны романтики.

2

Впоследствии, в манифесте от 17 августа 1764 года, Екатерина писала:

«Мирович, проведя жизнь свою в распутстве, мотовстве и беспорядке...»

Какую — жизнь?

Мировичу двадцать четыре года.

Он родился в Тобольске. Семья Мировичей, потерявшая все имения, сосланная, совсем обнищала. Отец Мировича служил капитаном в армейском полку. Из последних сил, из последних средств мальчика отдали в «немецкую» школу.

В школе училось всего восемь человек, дети ссыльных дворян.

Директором и преподавателем по всем предметам был Сильвестрович, русский немец, лютеранин, человек блестящего образования. Он обучал юношей немецкому языку, музыке, математике и нескольким другим предметам.

Один из восьми учеников Сильвестровича, капитан Иван Андреев, соученик Мировича, так писал о последнем:

«Василий Мирович отличался перед товарищами способностями, шел быстрее всех их и выучился между прочим хорошо говорить по-немецки и играть на скрипке и на бандуре».

Мало того.

В рапорте Бередникова Н. И. Панину комендант писал:

«При аресте подпоручика Мировича найдены у него мною... живые писания».

«Живые писания» — Мирович рисовал.

Мало того.

Писатель Г. П. Данилевский, педантичный исследователь архивов, писал:

«Прилагаю список с предсмертного, донныне нигде не изданного стихотворения Мировича».

Он писал стихи. Не может быть, чтобы он написал только одно стихотворение, предсмертное. Судя по слогу этого стихотворения, автор был, несомненно, талантлив.

М. В. Ломоносов, угрюмый гений, — вся профессура шарахалась от него, ему одному позволяли являться в университет без парика, ненапудренным и ненапомаженным, и он вот именно — являлся, а не приходил читать лекции, облысевший, обрюзгший, с толстыми и мягкими губами, с тростью, выточенной собственноручно из голубого агата, в малиновом халате, расшитом золотыми цветами, круглый год — в восточных валенках, инкрустированных собственным стеклом, когда Ломоносов произносил (вот именно — произносил, а не говорил) речь в университете, он цитировал стихотворение Мировича (речь о «новейшей поэтической школе»).

Когда Бецкий, блестящий администратор и эрудит XVIII века, объявил конкурс на рисунок перил для больших петербургских мостов, победителем конкурса был Мирович.

Мирович жил в Петербурге всего два года.

В доме партикулярной зерфи в Литейной части он снимал карликовую мансарду над сенями. Он сам смеялся над своей беспросветной судьбой. Вот что он написал на обратной стороне билета — пригласительный билет на придворный маскарад 21 февраля 1764 года:

«Было и гулено, и пешком с маскарада придено по

причине той, что гранодер с шинелью ушел, и я, не сываск лошадей, в маскарадном платье домой пришел».

Что Минович мог *проматывать*?

Офицерское жалованье, которое ему не выплачивалось вот уже восемнадцать месяцев? Воровать гороховую похлебку в трактирах и продавать похлебку — кому? фельдмаршалам? а выручку проматывать?

Какому «распутству» мог «предаваться» нищий подпоручик?

Играть в карты? Не исключено. Только — так, по последней копейке.

Женщины? Может быть. Но... в такой беспросветности вряд ли Минович был основателем гарема.

Конечно же, он хотел славы, денег, поместий, орденов и чинов. Но не больше, чем любой молодой офицер. Он знал: он имеет больше оснований, чем кто-либо, мечтать о привилегиях и о самостоятельности, — он талантлив.

Если бы он был бездарен, распутен, глуп, труслив (так охарактеризовала его императрица после расправы), то его кандидатура не привлекла бы внимания Екатерины.

Не сохранилось ни одного документа, который бы доказывал связь императрицы с Миновичем. Остались только смутные слухи, недобросовестные сведения иностранцев.

Но эта связь — была.

Попробуем на основании косвенных документов доказать эту связь.

Попробуем при помощи перекрестных вопросов определить степень причастности Екатерины к делу Миновича, то есть к убийству Иоанна Антоновича.

Н. И. Панин, Н. Корф, С. Шешковский, И. Н. Неплюев, И. Веймарн — вельможи Екатерины, и сама Екатерина, и все последующие государственные историки единодушно пишут, что Минович был безвестен и не мог иметь сторонников.

Это — не так.

Минович не только был известен — **ОН БЫЛ ЗНАМЕНИТ.**

Он был знаменит как поэт (не по публикациям, по рукописным спискам), он был знаменит и своей родословной.

Пятьдесят пять лет (с 1709 года!) восемь императо-

ров и восемь поколений Сената занимаются делом Ми-
ровичей.

Прадед Мировича, Иван Мирович, бежал в Крым. Переяславский полковник, он отстаивал независимость Малороссии, он был один из предводителей Запорожья. За ним охотились, к нему подсылали убийц, чтобы «этого бездельника истребить».

Дед Мировича, Федор Мирович, был генеральным есаулом при Орлике. Генеральный есаул — это почти канцлер Запорожской республики. Он сражался в войске Мазепы. Он сбежал в Швецию, а потом в Польшу. Его брат Василий собирался бежать в Швецию, но его схватили и сослали в Сибирь, на каторгу. Еще пять братьев Мировичей были сосланы в Тобольск.

Дядя Мировича, Петр Мирович, был секретарем Елизаветы Петровны.

Отец, Яков Мирович, был секретарем польского посла графа Потоцкого.

Петр и Яков составляли заговор в пользу Малороссии, но их схватили и отправили в Тобольск.

Сам Василий Яковлевич Мирович — не был простым подпоручиком Смоленского пехотного полка, он был адъютантом П. И. Панина, полковника Смоленского полка, родного брата Н. И. Панина, начальника Тайной канцелярии.

Ближайший родственник Мировичей, полковник Полуботок, герой Малороссии. Полуботок — в тюрьме, в кандалах. Нужно учесть, что все вельможи Малороссии, как и вельможи России, были — родственники, одна семья. Мирович несколько раз говорил с К. Г. Разумовским, который был родственником Полуботока.

Неизвестно, о чем говорил Разумовский Мировичу, которого знал с детства, известно лишь, что посоветовал подпоручику «хватать фортуна за чуб».

И Мирович — *хватает*.

Василий Мирович еще только два года в Петербурге, но его уже знают. Его не только знают, его узнают на улицах и в трактирах. Он затеял процесс в Сенате: он требует возврата имений своего рода.

Процесс бессмысленный. Поступок дерзкий.

Его дед еще жив и бунтует в Варшаве. Возвратить имения внуку — значит опять создать легальный очаг бунта в Малороссии.

Сенат отказывает Мировичу. Поэт пишет челобитные Екатерине. Он не стесняется в выражениях по адресу

Сената. Поступок опасный — челобитные. Ни у кого нет желания пропагандировать эту фамилию. Брось клич «Мирович!» — и все Запорожье схватится за свои крытые сабли.

Василия Мировича еще просто убрать, устранить, сослать, чтобы — ни слуху ни духу.

Почему же Екатерина 1 октября 1763 года присвоила прапорщику Мировичу чин подпоручика? За какие особые заслуги? Срок следующего чина еще не подошел. Успокоить скандал в Сенате? Дать взятку (чином!) скандалисту? Посмотрим.

Почему Екатерина не наказала Мировича за сенатский процесс, а назначила Мировичу аудиенцию, как общаются слухи?

Потому, что она нашла кандидата.

Мирович знаменит, но нищ. Его можно обласкать. Ему можно посулить, к примеру, гетманскую булаву.

Но Мирович — потомок еще живых бунтовщиков. С ним просто будет расправиться.

Неизвестно, на что может решиться обездоленный подпоручик.

А тут задание пустяковое: под каким-нибудь благовидным предлогом вывезти из крепости Иоанна Антоновича. И — никаких усилий: гетманство обеспечено.

Диалоги Мировича и императрицы нигде не записаны. Какое было соглашение (подробности!) — неизвестно. Но на допросах Мирович намекает на свое истинное желание — гетманство, значит разговор был и о гетманстве. Какой план предложила Екатерина Мировичу — неизвестно. (Последующие события доказывают поговорку: какой план — такой и клан.)

Но начиная с октября 1763 года (присвоен чин, дана аудиенция) фрейлины Екатерины чуть ли не ежедневно находят в подъездах и в урнах Зимнего дворца подметные письма. Письма не запечатаны, в письмах пространное изложение нового заговора в пользу Иоанна Антоновича. Фрейлины предупредительно передают письма Екатерине. Императрица спокойна. Были письма и поглупее. Не обращает никакого внимания.

Проходит еще два месяца, и Екатерина получает еще несколько десятков писем. Копии — распространяются по всему Петербургу. Весь Петербург только и сплетничает о письмах. Императрица — спокойна! Впоследствии она скажет:

— Все эти письма моим молчанием презрены были.

Неизвестно. Может быть, и «молчанием презрены были», может быть, и написаны были ее собственной рукой и переписаны Миновичем.

Правдоподобнее второе предположение.

И вот почему.

Вспомним так называемый «заговор Хрущевых и Гурьевых».

Никакого заговора не было.

Двадцать девятого сентября 1762 года была пьянка в «Съестном трактире город Лейпциг».

Пили: П. Хрущев, пригласивший, и гости — А. Хрущев, И. Гурьев, В. Сухотин, С. Бибииков, П. Гурьев, И. Хрущев, Н. Маслов и домохозяин Петра Хрущева — Данилов. Обслуживали: хозяин трактира Колька Конянин, его супруга Анфиска.

Была простейшая офицерская пьянка с простейшей офицерской болтовней.

Поручик Измайловского полка, хвастун, болтун и пьяница, постоянный посетитель «Съестного трактира город Лейпциг», сказал следующие слова. Он уже был вдребезги пьян, исчерпал весь свой словарный запас, язык не слушался уже этого поручика. Вот что сказал Хрущев, слово в слово:

— Последний день пью, десятый день, — и хватит пить. Это последний день радости. Ныне будет фейерверк. Мы дела делаем, чтобы государыне не быть, а быть Иоанну Антоновичу!

Типичное офицерское бахвальство. Простейший бред алкоголика.

Каковы же были результаты этого бреда?

Ведь на следствии все выяснилось. Как императрица квалифицировала эту чепуху?

Вот что было.

Был шум, дебош, бокалы, цыганские бубны, табачный туман, солнце и тьма.

Н. Сухотин был вдребезги пьян, он ничего на свете не слышал, только пил за здоровье какой-то то ли *собачьей* радости, то ли *последней* радости.

В. Сухотин совершенно ничего не слышал, потому что он вообще-то не пьет, а тут его невзначай напоили.

П. Гурьев ничего на свете не помнил, потому что он — алкоголик, и отстаньте на веки вечные! — он ухитрился напиться и на первом следствии.

П. Гурьев не помнил даже состав компании, потому что он пришел на обед «в пьяном беспамятстве».

Д. Данилов, домохозяин, сказал, что П. Хрущев живет в его доме, и больше ничего он прибавить не в силах к характеристике этого типа. Тогда его пытали, Д. Данилова, домохозяина. Данилов сказал, что П. Хрущев — такое трепло гороховое, что его буйную болтовню уже давным-давно не слушает, на него никто давно не обращает никакого внимания, — шут этот человек.

П. Хрущев, вождь заговора, сказал, что за здоровье *последней радости* — пил, про фейерверк — говорил, а про императрицу и про Иоанна Антоновича говорил в самых теплых и нежных дружественных тонах. «Но никогда не прощу доносчикам — Маслову и Хрущеву!» — гневался П. Хрущев.

Гнусный донос. Никакого заговора. Это подтвердили и те, кто обслуживал обед: хозяин трактира Коняхин, его жена Анфиска.

Следственная комиссия развила бурную деятельность. Допрошены были чуть ли не все офицеры Измайловского и Преображенского полков (там служили Хрущевы — Гурьевы). П. Хрущева и С. Гурьева пытали. Ничего: никакого заговора — пустая пьянка.

Однако императрица назвала эту чепуху, эту безвестную историю — «повреждение спокойствия нашего любезного отечества» и расправилась с «повредителями» следующим образом. По ее наущению следственная комиссия приговорила к смертной казни П. Хрущева, А. Хрущева, С., И., П. Гурьевых; к ссылке — В. и Н. Сухотиных и Д. Данилова. Потом процесс — еще продолжался, потом их, кажется, не казнили, но всех били палками и сослали.

Екатерина боялась даже пьяных восклицаний, даже упоминания всеу имени Иоанна Антоновича.

Как же расценивать ее величественное молчание в данном случае — в деле Мировича? Пятнадцать писем — с подробностями серьезного заговора, петербургская полиция (барон Н. Корф), Тайная канцелярия (граф Н. Панин) умоляют императрицу поручить им расследование, а императрица — спокойна! Она отнекивается. Она запрещает заниматься «ерундой».

Значит, был сговор.

Нужно было хорошенько подготовить общественное мнение к предстоящему событию: пустому восстанию. Только — так.

Иначе: при такой сложной ситуации уехать путеше-

ствовать в Лифляндию можно только в припадке умопомрачения. А она уехала путешествовать 20 июня 1764 года — за две недели до осуществления заговора.

3

«Съестной трактир город Лейпциг».

Об этом трактире иностранные дипломаты и драматурги написали немало.

Хозяину трактира Кольке Коняхину и его жене Анфиске приписывали чудесные роли: Коняхин — чуть ли не русский Цезарь Борджиа, Анфиска — вообще Медуза Горгона.

Но это и так и не совсем так. Биография трактира проста и поучительна.

Колька Коняхин был никем, поваром Коняхой, крепостным жандарма-комильфо Н. И. Панина. Коняху любила горничная Анфиска. Она была старше Коняхи на много-много лет, но девушка. Это-то и потрясло повара. Он любил ее снисходительно и восторженно, как всякий юноша, который впервые познакомился с девушкой. Он, как бывает в таких случаях, пообещал жениться.

Обещания обещаниями, а действительность — она невыносимо реальна.

— Когда же он женится? — узнавала Анфиска у псарей Панина. Но какие сентиментальные чувства у псарей? Они отвечали (формула популярная):

— Отдайся — узнаешь!

Анфиска забеременела. Повар Коняха к этому времени хорошенько потолстел и — не расплакался. Первое потрясение прошло. Коняха посматривал по сторонам — где какие девушки ходят. Коняху совсем замучила жажда ласки.

Беременная Анфиска была горничной. Она жила в хорошей семье. Хозяин — Маркел Тимофеевич, умница, скромник, брился, играл на арфе, 65 лет. У него были кое-какие поместья. Управляющий присылал ему деньги за поместья. Жена — Оленька, умница, скромница, квасила капусту со слугами, играла на лютне, 22 года. Ничего у нее не было, никаких поместий. Только — муж. У них было тогда четверо детей.

Анфиска показала тяжелый живот Оленьке. Оленька пощупала живот и прищурилась.

А н ф и с к а, Выхожу замуж. Позволяете?

Оленька. Позволяю. А как же! Будь счастлива! Получишь приданое.

Анфиска. Согласна. Пусть приданое. Но жених-то мой — Коняха, крепостной. Выкупайте!

Оленька. Прости, пожалуйста! Как это — выкупайте? А деньги?

Анфиска. Но, барыня! У вас денег — уйма!

Оленька. Ты с ума сошла, моя радость! У меня — ни копейки.

Анфиска. Да-да, ни копейки! Пусть платит хозяин.

Оленька. Но хозяин меня засмеет, а ты получишь по морде, моя радость!

Анфиска. А вы попросите у Сухотина.

Оленька (*лицо ее, еще совсем девичье, заливаается постепенно белой, а потом красной краской, смятение*). Ну, если только у Сухотина... попробую... не знаю.

Сухотин, капитан Преображенского полка, уже четыре года лучший друг семьи. Лучший из лучших. Он друг Маркела Тимофеевича, друг Оленьки, друг детей, всех четырех. У него наследство — миллион, но из-за сердечной привязанности к этой семье он даже не путешествует в свободное от службы в лейб-гвардии время, не кутит в карты, не алкоголик, не добивается девок, — Сухотин квартируется в доме Маркела Тимофеевича и советует всей семье полезные советы, настоящий товарищ.

Оленька попросила — Сухотин дал Анфиске пять тысяч рублей. Анфиска принесла золото и банковые билеты Коняхе. Коняха потрясен во второй раз. Его не касается, откуда все это. Крепостной повар выкупает себя сам. Теперь Коняха — независимое существо. Он женится на Анфиске. Ничего не поделаешь. Прощай любовь и грезы, здравствуй роскошь. Во вдохновенном воображении Коняхи мелькает мысль: если открыть трактир — это как раз то, чего ему не хватало в его крепостной жизни.

Анфиска опять пошла и попросила Оленьку. Оленька опять пошла и попросила Сухотина. Сухотин дал деньги Оленьке, Оленька дала деньги Анфиске, Анфиска — своему любимому Коняхе. Трактир открывается. Но не хватает денег — трактир нужно переоборудовать: в подвале нужен ледник для свежих овощей, фруктов, рыбы и мяса; на чердаке — нет никаких запасов продовольствия; мало вина, круп; нужны современная мебель и бронзовые подсвечники.

Просьбы повторяются. Сухотин дает 15 000 рублей. Трактир расцветает. Сухотин начинает играть в карты. Трактир трактиром, но и Анфиске ни с того ни с сего потребовались кольца с бриллиантами и персидская шаль с кисточками. И Коняха уже присмотрел себе в немецком магазине часы с брелоками и соболий халат, вечерний.

Оленька отсылает все свои драгоценности Анфиске. Месяц все счастливы, и каждый по-своему.

И вот, в конце концов известному в Петербурге трактирщику Коняхину потребовалась карета. И шесть английских лошадей. Анфиса побежала к Оленьке: в последний раз! покупай карету и — простимся! Оленька осатанела, она швыряет в Анфиску шипцы для завивки волос. Тут же и Сухотин. Он совсем проигрался, он пьян, он обнищал. Он бьет Анфиску кулаком по морде и выбивает у нее передний зуб. Анфиска огорчается и идет в спальню Маркела Тимофеевича, который еще совсем-совсем ничего не знает, а только спит в спальне и любит свою жену и своего друга Сухотина. Анфиска повторяет просьбу про карету. Маркел Тимофеевич обалдевает (ведь он все проспал и не в курсе всех предыдущих просьб). Анфиска все рассказывает и обижается, что ей прежде не отказывали, а теперь — еще и бьют. Маркел Тимофеевич ласково разговаривает с Анфиской, сочувствует ее стесненным обстоятельствам, целует ее в здоровенные губы, гладит ее по черноволосой башке, потом нежно берет ее голову в обе свои ладони, зажимает ее между своих колен, задирает подол и — более часа! — хлещет Анфиску кавалерийской плетью!

Анфиска не плачет. Хозяин устал, вспотел, он как большая, несчастная птица после дождя, у него тяжелое дыхание, 65 лет, астма. Он отпускает Анфиску. Анфиска оправляет бархатную юбку, усмехается мстительно и просит Маркела Тимофеевича прочитать в таком случае вот эти две-три незначительные записочки. Еще не отдышавшись по-настоящему, Маркел Тимофеевич несколько раз читает записочки, знакомый почерк. Так и не отдышавшись, Маркел Тимофеевич скоростижно скончался на 65-м году жизни и счастья.

Записочки писала Оленька. Она писала Сухотину когда-то, а передавала Анфиска. Но она и передавала и припрятывала. По записочкам выясняется: еще до свадьбы с Маркелом Тимофеевичем Оленька была любовницей Сухотина. После свадьбы ничего не изменилось, все

осталось так, как было. Все четверо детей — от Сухотина. Маркел Тимофеевич, оказывается, имел к счастью приблизительное отношение. На Сухотина впоследствии донес Коняхин, и разорившегося миллионера приписали к заговору Хрущевых — Гурьевых и сослали. Оказалось, что у Сухотина есть брат, поручик лейб-гвардии конного полка. Сослали и брата.

«Съестной трактир город Лейпциг» расцветает.

Там собирается богема: поэты и полицейские из Тайной канцелярии, философы русского Просвещения и фавориты императрицы, барабанщики Шлиссельбургского гарнизона и адъютанты ее императорского величества.

Там бушует капрал Гаврила Державин. Он еще беспомощен и безвестен как поэт, но хорош и хорошо известен как шулер. Он сидит за ломберным столиком. Он выигрывает тысячи золотых монет, и взбешенные офицеры и генералы допытываются, как это ему удастся: махинации Державина невидимы и блестящи. Генералы допытываются — капрал Державин отмалчивается. Они пьяны — он не пьет ни капли, только уносит тысячи золотых монет.

Там лихорадочный прапорщик Новиков. Он остроумен, он ядовит, он декламирует полицейским Тайной канцелярии Вольтера и еще черт знает что, а они его боятся, он не только начинающий писатель, но и великолепный фехтовальщик. Новикову двадцать лет.

Там вельможа-пенсионер, фельдмаршал Миних, полководец восьми русских императоров, со студенистыми немецкими бакенбардами, он курит лучший в мире табак, «суперфин-кнастер», он сидит в матросской куртке, в шароварах, в деревянных башмаках и рассказывает в завесу табачного дыма — сам себе: какая мерзость и мразь ваша современная действительность, как его любили бабы, как он шел к Екатерине I, никому не кланялся, посмотрит на солнце и кивнет, как собаке, какому-нибудь временщику Меншикову, — вот и весь юбилей! Какая у него, Миниха, была трость из слоновой кости, на трости золотой набалдашник, похожий по форме на голову царя Соломона. Бабы его любили (не Соломона, а Миниха), бабы его уж так любили, — вот основа основ. Императрица Анна Иоанновна пала к его ногам, как спелая слива. Правительница Анна Леопольдовна смотрела на него, как рысь, — влюбленно. Бутылка коньяка для него была — как наперсток амброзии. Хлебнет бутылку, сожрет лимон — и все бабы у его ног, и что нам,

нибелунгам, Семилетняя война! Хватай баб за жабры и радуйся, мальчик мой. Как он скакал на колесницах! Стоит на колеснице во весь рост, в России — эллинский праздник! А он стоит и смотрит на ипподром, как Фэзтон. Светло-зеленый сюртук, лацканы — красные, обшлага — такие же, шпага и молодое лицо! А на ипподроме одни бабы, все — императрицы, все — принцессы! А сейчас? О время!

Там девкам приносят сидр из яблок и фаянсовые блюдца...

— Что я теперь имею? — кричит фельдмаршал с болью. — Вместо баб — оранжерей с померанцевыми, лимонными и лавровыми деревьями!

Там капралы курят табак и запивают пивом.

Говорят капралы, адъютанты, фавориты и барабанщики:

— Что сказала матушка? Слушайте. Не трясина пепел в винегрет, ты, барбаросса!

— Эй, девка, чего ты машешь всеми ногами!

— Перед вами гений. Снимите шляпу, капустаница!

— Если ты гений, так почему скрывал раньше?

— Она читает в очках, притом с увеличительными стеклами. Ну и смех! Уже столько лет, а читает в очках.

— Ум хорошо, два лучше, а три с ума сведут.

— Ну и морда у моей вакханки!

— Петербург!

— Я и говорю, мы — Петербург. Москва — столица бездельников и холуев!

— Что ты там сказал про Москву, сын человеческий? Повтори — и не нужно будет никакой дуэли. Смерть на месте!

— Смерть — смертный грех.

— Не трогай мою сестру, она — моя сестра, и у нас есть мать.

— А у меня что — нет матери? Я что — сирота, что ли?

— Это не я сказал про Москву. Это слова ее императорского величества — Екатерины Второй.

— Блеф — твоя Вторая!

— Эй-эй! Не попадай к Панину, сын человеческий!

— Солдат — это Россия!

— Дурак! Россия — это солдат!

— Мама, я еще вернусь в твой домик!

— Семь «червей»! Все «черви» — мои!

— Вист!

— Все «черви» — твои, и сам ты не человек — а червяк, мой мальчик!

— Отдай мне всех червей — я отнесу их матушке государыне нашей, пусть половит рыбку в мутной водичке!

— Что Генрих Четвертый, Наваррский, говорил французам? Он говорил вот что: «Монсеньоры! Вы — французы, неприятель — перед вами!» Вспышка патриотизма. Что генерал Цитен говорил немцам? Он стоял перед немецкими дивизиями с хорошо причесанными седеющими волосами и говорил вот что: «Солдаты и офицеры! Сегодня у нас генеральное сражение, следовательно — что? Следовательно, все должно идти как по маслу». Рассудительно! А как победили мы Берлин? Кто крикнул «За бога, за царя, за святую Русь?» Кто крикнул? Мы — не знаем. Все без памяти бросились на врага, и — победа! Вот это клич!

— За бога мать тоже можно крикнуть.

— Молодец, и это — клич!

— Дадите вы мне, в конце концов, сказать слова Екатерины?

— Давай. Уймись, этот словарь хочет сказать слова!

— Вот что сказала императрица: «Дворянство с величайшим трудом покидало Москву, это излюбленное ими место, где главным их занятием является безделье и праздность».

— Ха-ха-ха! Вот так уха!

— А еще что она сказала, не помнишь? Я помню: «В России всегда было много тиранов, потому что народ по природе своей бездеятелен, а также много доносчиков, и все их любят».

— Эй-эй! Не цитируй стерву!

— Мама, я еще вернусь в наш домик!

— Не пей вино, дитя, от вина слепнут!

— Пас!

— Чепуха! Я пью, пью, четырнадцать лет пью — и не ослеп.

— А ты попей месяц подряд, потом выверни карманы — и ничегошеньки не увидишь!

— Никита Иванович Панин!

—

— Что я слышу? Я слышу — тишину, и все встают!

— Скотские шуточки.

— Адьютант, послушайте про Панина. Марья Дмитриевна Кожина посплетничала насчет Орловых. Импе-

ратрица узнала и позвала Панина. Эта Тайная канцелярия явилась во всем блеске своих бриллиантовых пряжек и бакенбард. В этот момент во дворце был маскарад. Кожица, как ни в чем не бывало, плясала на маскараде и вертела хвостиком и язычком. Государыня приказала Панину, он исполнил: он тихонько попросил генеральшу Кожицу поехать с ним, побыстрее, их ждут. Она поехала. Он привез ее в Тайную канцелярию, снял свои франтовские манжеты из драгоценных бруссельских кружев и высек Марию Дмитриевну собственной холерной ручкой, в которую он взял розгу — ветку голландской розы с цветами и шипами. Потом Никита Иванович отvez, как и полагается, танцовщицу на бал. Обратнo. Бедняжка, еще совсем молоденькая и неискушенная генеральша, не сказала ни единого слова. Она затаила слезы и продолжала пляски. Менуэт, мoнимаска, котильон — она все плясала. Только острый глаз мог бы заметить, что она танцует со странностями, приседает. А ведь была — королева бала.

— Я — Николай, а ты?

— Ну, тогда и я — Николай! Давай называть друг друга «Николай» — все же жить будет повеселее.

— Ну, что ж, Николай, мне кажется, что жизнь потихоньку налаживается.

— Правильно, Николай. Жизнь потихоньку налаживается: потихоньку поумираем!

— Все полки как полки, только у нас, негодяев, не полк, а черт знает что: казаки, греки, албанцы, татары, горцы, черемисы, один я — русская душа.

— Пей, пей, колокольчик, а потом поблюем — и баюшки-баю!

— Ах, Княжнин! Княжнин написал драму «Вадим». Панин побеседовал с автором. Голос начальника Тайной канцелярии был — одна лишь ласка. Княжнин прибежал домой в слезах. Он поплакал, слег и умер утром. А Александр Николаевич? Ему сказали это имя — он упал в обморок.

— Какому Александру Николаевичу? Какое имя сказали?

— Радищеву — Панина!

— Послушай, Мирович, писать пиши, хоть стихи, хоть что хочешь, но прошу тебя Христом — не плюй в мою душу! Знать не знаю я твоего Иоанна Антоновича! Не слышал такого имени!

— А у кого теперь есть имена? Имен-то и нет, мой мальчик! Все — псевдонимы.

— Ну-ка, ну-ка, объясни!

— Чего объяснять? Догадайся! Петр Третий — псевдоним Карла-Петра-Ульриха, Екатерина Вторая — псевдоним Софин-Фридерики. А ЕГО спрятали в Шлиссельбург.

— Ты-ты, кого — его? Договаривай!

— Иоанна! Ивана Антоновича! Припрятали, свои лочи!

— Мама, мама, я еще вернусь в твой домик!

— Где капрал Державин?

— Нет, и нет поручика Ушакова! Ребята, мы не досчитались в своих рядах лучших из лучших: шулера и алкоголика. Где они, дети наши?

Державин сидел на канapé с девчонкой. Девчонке семнадцать лет. У нее фарфоровое личико, фарфоровая шейка. Двое цыган, с большими животами, в малиновых жилетах, с толстыми черными усами, все пальцы в серебряных перстнях, — цыгане яростно рвали струны гитар и пели сногшибательными голосами:

Рассудок мне велит
Себя ты не губи,
А сердце все твердит:
Пожалуй, друг, люби!

Поручик Аполлон Ушаков проигрался на бильярде. Он расстегнул свой мундир медного цвета и сосредоточенно, с разумным выражением лица отрывал пуговицу за пуговицей. Время от времени он брал со стола бутылку мадеры и поливал свою мраморную грудь вином, объясняя себе разумным голосом (голос разума!) — не жалко мне мадеры, только бы на груди росли волосы страсти.

Красномордый от пива Коняхин разносил на деревянных подносах блины: с вареньем, с коровьим маслом, со сметаной, с подливками, с красной икрой, с семгой, с гусиной печенкой. Блины — блестели! Падали бокалы и кружки, их пинали башмаками, они кувыркались и звенели.

Подпоручик Мирович декламировал:

— По почтовому тракту мимо галерной гавани ехала оливковая с гербами карета. Солдаты обзвали шляпы и мушкеты дубовыми ветвями. Кто ехал в карете? В карете был котенок Ее императорского величества Екате-

рины Второй. Котенок был пушист и пьян. Он повеселел, а потом повесился.

— Пюсовый фрак и синие панталоны с узорами по бантам — сорок рублей! Ничего себе сняя лососина!

— Дуй мою музыку, мандолина!

— Кто изобрел бильярд? Не знаешь? А я знаю! Я! Это мной и никем другим открыта священная форма бильярдного шара. Меня обокрали! Посмотри на этот паршивый бильярд: даже фигура шара та же самая, какую изобрел я!

— Ты что? Посмотри на себя. У тебя и очи-то от пьянства стали бирюзовыми. Зачем ты выписываешь на бумажную салфетку цифры? Ты что, хочешь превратиться в Пифагора?

— Поздно, Гаврила! Я пересчитываю свое призванье!

— Ну и как? К чему же ты призван в нашей бренности?

— Простейшая арифметика. Возьми грифели и пиши: сколько времени ты потратил на жратву, сколько проспал, сколько опохмелялся, сколько побегал за бабами — вот и все твоё время и все призванье. Остаток, полезный отечеству, — мал. Смысл бытия — пуст. Смысл, говорю я тебе, мал и нуден — комарик?! Это ты давно сочинил: «Жизнь — жертвенник торжеств и крови».

Петербургские судьи сидели и пили квас и ели толстые пироги с подливкой.

Граф Н. Н. Блудов ходил по трактиру, маневрировал. Он был в белом кафтане с золотыми позументами. Его не интересовали офицеры. Он надел небольшую наглазную маску, его интересовали судьи.

У судей были башмаки с оловянными пряжками, манжеты из брюссельских кружев, на пучке пудреной косы — черный шелковый кошелек. Когда происходил спор о юриспруденции, судьи вставали и раскланивались друг с другом, чтобы не пускать в ход кулаки. Судьи время от времени выходили на улицу и ходили на окостеневших ногах вокруг трактира — они разгоняли кровь, и раздавали кучерам по калачу, и подносили по стаканчику пенника, — кучера скучали на козлах.

Граф Блудов положил перед собой заряженный пистолет и пил с судьями.

— Кто ты? Тебя мы не знаем! — изумлялись судьи, уже надравшиеся за счет Блудова.

— Еще узнаете! — успокаивал граф в белом библейском кафтане.

— Давайте познакомимся, — предлагали судьи.

— Еще познакомимся, — пообещал граф.

Судьи смотрели отчаявшимися глазами на пистолет, а граф мирно и свято сидел и вязал деревянными спицами белые перчатки, часто-часто посматривая на судей. Граф Блудов был неизвестный шулер и валютчик и на всякий случай пил со всеми судьями.

Хозяин Коняхин сидел за ширмой и записывал все разговоры посетителей. Писал он грамотно и скорописью, поэтому ни одно постороннее слово, вовремя сказанное, не пропадало даром. Потом Коняхин приносил свои дневниковые записи Н. И. Панину. Красномордый Коняхин был еще и неплохим графиком. Поскольку тогда не существовало фотографии, он делал моментальные наброски неизвестных лиц, а Тайная канцелярия разыскивала их впоследствии.

Пиво, раки, соленые огурцы, соленые сухарики, спаржа, вобла, маринованная свекла, свиные ножки, моченый горох, — потом вся компания отправлялась в городок Валдай.

— Гусар должен знать только саблю и лошадь, как земледелец — плуг и волов, остальные науки — муть, милая моя!

Валдайские баранки были знамениты по всей России, не менее знамениты были и валдайские девки. Девки торговали баранками и изобретали мази для румянца, а также снадобья любви для отдыхающих путешественников. Торговля баранками не останавливала и не тормозила девичьих страстей. Девки продавали в гостиницах баранки и хитренько распространялись о своем целомудрии. Путешественники хитренько сомневались. Чтобы рассеять сомнения, девки приглашали вечером в баню. Там никого не будет. Никто не узнает. Нужно только хорошенько отдышаться днем и отоспаться. Путешественник спал весь день. Сон был несладок и мечтателен, какой там сон, человек предвкушал вечернее целомудрие. Вечером приходила суровая старуха в черном, требовала денег и приводила взволнованного юношу или мужа в темную баню. Там уже сидели на белых деревянных полках две-три девки. Они раздевали путешественника, а сами уже были нагие. Зажигали свечи. Затягивали окна бычьими пузырями. Не потому, что не было стекол, потому, что пузыри чуть-чуть прозрачны, пусть для случайного постороннего глаза чуть-чуть брезжит огонек, людей — не видно, и что там в бане девки дела-

ют — неизвестно. Вместо воды на парильные камни бросали пиво (из ковшиков!) и парились в пивном пару. Путешественник лежал, как Нерон, и не шевелился. Девки без всякого смеха переворачивали его распаренное тело, хлестали (для здоровья!) березовыми вениками, обмывали с торжественностью, как мертвеца, мазали тело мазями, и человек со всей активностью ощущал радость жизни и прелесть женщин. В бане была полутьма, колебались и мигали синенькие огоньки нескольких свечей, ОН забывал пошлый реализм службы и семьи, он чувствовал себя как на небе с небесными приищессами, — теперь все смеялись и хохотали, все вместе веселились, грызли гречские орехи, кусали конфеты, флиртовали в фантики, ну и до тех пор, пока обессиленный ОН, совсем больной, ослабленный, без карманов, не убежал на последней коляске в Петербург, с радостью уступая баню следующему.

Страсти страстями, но ростовщики тоже не дремали.

«Съестной трактир город Лейпциг» посещали все лучшие ростовщики Петербурга. Эти-то не пили и не играли. Они дышали и ждали. Когда кто-то проигрывался, ростовщики успокаивали его и давали в долг деньги. Проигравшийся подписывал вексель. Цирюльник Преображенского полка Мишка Евсевьев быстрым глазом оценивал фракы, камзолы, сапоги. Он платил наличными — серебром и медью. Он платил примерно в двадцать раз меньше настоящей стоимости, но игра — крутилась, никто на такие пустяки не обращал внимания, у всех горели глаза, тряслись руки. Цирюльник Мишка Евсевьев уезжал из трактира на специальной фуре по полкам — распродавать барахло, палаши и пистолеты. Офицеры и генералы с лихорадочной поспешностью проигрывали последние нитки и, бесперспективно тоскуя, ожидали наступления темноты (сидели в шерстяных шезлонгах, в комнатах хозяина Коняхина, сидели с закрытыми глазами и цедили сквозь судорожные зубы ругательства и матерщину в адрес правительства и Российской империи, а Коняхин ходил за ширмы и записывал). Когда наступала темнота, офицеры и генералы заворачивались в простыни Коняхина и, согрешившие, убежали из трактира вприпрыжку — по переулкам! по перекресткам! — по своим квартирам и казармам.

Двадцатого июня 1764 года Екатерина отправилась путешествовать. Она позабыла передать Панину инструкцию о начале следствия над лицами, сочиняющими возмутительные письма (Мирович и Ушаков!).

Но ум ее был — пунктуален.

Потому что: ничто не помешало ей, она не позабыла передать инструкцию Власьеву и Чекину.

Кто же такие Власьев и Чекин? Действительно ли «больные и честные офицеры»? Все архивные исследования опровергают эту версию императрицы.

Сержант Ингерманландского пехотного полка Лука Матвеевич Чекин и прапорщик Ингерманландского же пехотного полка Данила Петрович Власьев — два «больных» бандита — заурядные карьеристы. Они ушли с регулярной службы в тюремные надзиратели в 1756 году. Ингерманландский полк входил в состав петербургского гарнизона. Петербургский гарнизон никогда не воевал. Какой болезнью болели молодые офицеры? Больных на службу не брали. Им захотелось чинов и денег — они продались Тайной канцелярии. И — не ошиблись. Через шесть лет, в 1762 году, прапорщик Власьев — уже капитан, сержант Чекин — поручик. Через два года, после убийства Иоанна Антоновича, Власьев — премьер-майор, Чекин — секунд-майор. Они получали жалованье и премии, а питались вместе с узником. Таким образом, за восемь лет безделья в Шлиссельбургской крепости они отложили около 50 000 рублей каждый. Это бешеные деньги для простого армейского офицера. Если министру платили 10 000 ежегодной пенсии, то капитану — не больше 50 рублей. На службе в Тайной канцелярии Власьев и Чекин заработали на 1000 лет обыкновенной пенсии. Был смысл продаваться и убивать? Для них — был. Убивать и чувствовать себя честными — редкая привилегия, за всю историю человеческих отношений ее заслужили только государственные полицейские, — безответственность и безнаказанность. Их служба — несложная: донесения. В Государственном архиве хранятся все их донесения с 23 августа 1762 года по 5 июля 1764 года (день смерти Иоанна). Сорок пять доносов.

Сохранились инструкции Н. Панина о питании. За стол садились втроем: Власьев, Чекин, Иоанн. На день «на пищу и питье» — 1 рубль 50 копеек. Фунт говядины стоил от 1³/₄ копейки до 2,5 копеек (первосортной!); фунт

хлеба стоил полкопейки, десяток яиц — 3 копейки, бутылка молока — полкопейки.

Двойники-полицейские клялись на суде, что Иоанн «был лишен вкуса и не отличал приятного от противного», что «арестант насыщался суровыми яствами, оставляя нежнейших и приятнейших яств». Это — понятно. Как же арестант мог отличить «приятное от противного», если они — крали и жрали, а ему оставляли объедки. Мертвые сраму не имут, — Иоанн уже был мертв и не мог опровергнуть их ложь.

Тринадцатого октября, через месяц после казни Миновича, с Власьева и Чекина была взята подписка, что «они никогда и никому ни при каких обстоятельствах не будут рассказывать о том, что участвовали в *секретной комиссии*», то есть что убили Иоанна. Подписка взята, расписка оставлена. И расписка датирована 13 октября 1764 года «в том, что ими за участие в секретной комиссии получено по 7000 рублей». Так Екатерина оценила жизнь Иоанна Антоновича — 14 000 рублей двум убийцам. Сумма, конечно же, баснословная для армейских офицеров, но пустяковая для Екатерины, которая была щедра и никогда не жалела государственной казны. Так, после переворота она послала своему родственнику князю Фридриху-Августу 25 000 000 рублей золотом, чтобы Фридрих позабыл про смерть своего кузена Петра III, и Фридрих — позабыл.

Значит, убийство — не инициатива Власьева и Чекина. С полемическим пылом, с научно-исследовательским темпераментом еще сто тридцать лет после смерти Иоанна доказывали непричастность Екатерины к убийству его; писали, что она дала Власьеву и Чекину инструкцию, где было приказано «в крайнем случае» — убить; что это — молва недоброжелателей, лживые и тенденциозные слухи, что на самом деле Екатерина была человеколюбива и никак не могла дать подобной инструкции.

Через сто тридцать лет в архивах Шлиссельбургской крепости инструкция — все-таки! — была найдена. Это был страшный удар по всей самодержавной историографии. Инструкция написана рукой Н. Панина, подпись Екатерины — несомненна. Обрушились все так старательно построенные дворцы невинности царицы.

Проанализируем же сначала инструкции и письма Н. Панина, а потом — инструкцию Екатерины.

Между Екатериной и Миновичем, несомненно, был стговор.

Все началось где-то летом 1763 года.

По инструкции Н. Панина (предварительной), офицерам Власьеву и Чекину запрещалось: выходить из крепости, переписываться с кем бы то ни было, разговаривать со знакомыми. Они поначалу радостно взялись за гуж, потому что получили чины и деньги, но потом управлять этой тележкой им стало не под силу. И офицеры пишут Панину: вы обещали, что наша секретная служба скоро кончится, что она временная, но мы сами теперь не тюремщики, а заключенные, нам ничего нельзя, как самому последнему колоднику. Панин отвечал: я не сомневаюсь в том, что вы, находясь в вашем месте, претерпеваете долговременную трудность от возложенного на вас дела, однако помню и то, что вам обещано скорое окончание вашей комиссии. «Извольте еще немного потерпеть и будьте благонадежны, что ваша служба тем больше забыта не будет, а при том уверяю вас, что ваша комиссия для вас скоро окончится и вы без воздаяния не останетесь. Ваш всегда доброжелательный слуга Н. Панин. 10 августа 1763 года».

До 10 августа Панин не писал ни разу, что «их комиссия скоро окончится». Значит, еще не было кандидата на провокацию. Теперь кандидат появился. И это был Мирович.

Панин заискивает перед своими полицейскими, просит их. Первое лицо в государстве — просит своих пешек!

Двадцать девятого ноября 1763 года Власьев и Чекин еще пишут Панину: никаких сил нет добровольно сидеть под замком, помилосердствуйте, Христом-богом просим выпустить нас из Шлиссельбурга.

Двадцать восьмого декабря 1763 года Панин отвечает: потерпите еще чуть-чуть, посылаю вам премию по 1000 рублей. «Оное ваше разрешение не далее как до первых летних месяцев продлиться может».

В декабре 1763 года Панин уже знает, что в *первые летние месяцы* произойдет провокация! Через полгода. Как он мог знать точно этот срок, как мог предвидеть пустяковый заговор Мировича, если ни о заговоре, ни о Мировиче еще никто и слыхом не слыхал? Он указал точно дату: первые летние месяцы. Заговор произошел с 4 на 5 июля 1764 года.

Значит, был сговор.

И вот, когда уже все подготовлено, когда сговор уже решен, Екатерина и Панин пишут последнюю, настоя-

щую инструкцию Власьеву и Чекину. Вот ее текст, слово в слово:

«Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришел с командою или один без именного ЕЕ императорского величества повеления и захотел того арестанта у вас взять, — арестанта умертвить, а живого его никому в руки не отдавать».

Вот и весь разговор наивного подпоручика. Ему навязали роль. Он ее исполняет храбро и тщательно, ничего не зная об инструкции. Мирович обманут: его посылают не на славу, а на смерть. Если бы он знал, как его перехитрили, еще неизвестно, чем закончилась бы вся эта история. Мало того — ни одна живая душа, кроме Власьева и Чекина, не знала об этой инструкции. Мало того — еще сто тридцать лет никто не знал об инструкции.

Мирович стал провокатором.

Он еще сто тридцать лет был провокатором перед лицом истории, и только найденная инструкция как-то объясняет его роль в этой истории.

Любимая госпожа предала своего любящего и честолюбивого раба, который писал стихи, рисовал картинки, играл на бандуре и вот — впутался в политику.

Еще одна загадка — Аполлон Ушаков.

Происхождение Ушакова неизвестно.

Судя по всему, Ушаков — сверстник Мировича.

Мирович — подпоручик, Ушаков — поручик.

Мирович говорил на процессе, что он выбрал «верного, надежного и во всем способного товарища». Ушаков — «давнишний, в нравах совсем сходный приятель».

Мирович в Петербурге только два года. Вряд ли среди офицеров-собутельников поэт сумел найти верного и надежного друга. Для этого двух пьяных лет маловато. Тем более — друг «давнишний».

«В нравах совсем сходный приятель». Мирович — поэт и художник. Значит, они сходны по характерам и по роду занятий, если «*совсем* сходный».

Если так, если Ушаков сверстник Мировича, то и ему 24 года. Значит, и он родился в 1740 году. А 1740 год — времена мутные. Умирает Анна Иоанновна, регент — Бирон, заговор Миниха, правительница — Анна Леопольдовна, указы издаются от имени Иоанна Антоновича, интриги Остермана, Черкасского, Головкина, готовится к восстанию партия Елизаветы Петровны. . .

С какой стати Ушаков мог оказаться «давнишним приятелем» Мировича? Все «давнишнее» у Мировича —

в Сибири. Там-то они познакомились, обе семьи, обе посланные. И у Ушаковых, как и у Миновичей, не хватило денег, чтобы определить сыновей в гвардию, — и Аполлон, и Василий пошли в пехотные полки.

Тринадцатого мая 1764 года Ушаков и Минович отслужили акафист и панихиду. По самим себе — как по умершим.

Если бы Ушаков был просто пьяньский солдатик, кукольная игрушка Миновича, он выполнял бы поручения повелителя, но служить панихиду не стал бы.

А это был трогательный и героический шаг.

Значит, Ушаков очень любил Миновича, значит, это действительно были близкие люди, значит, они друг другу беспредельно доверяли, если за какие-то полчаса один открыл другому опасную и грозную тайну и взял его в сообщники, а другой, не задумываясь, пошел за ним, — а это был последний, смертельный шаг.

Императрица пообещала неприкосновенность. Хорошо. Они ей доверяли. Они ее любили. Тогда ее любили почти все без исключения — она всех угощала и всем обещала. Но могли быть и непредвиденные случайности. Любая оплошность в этом предприятии — смерть.

Все-таки в их руках судьбы двух императоров.

Но императрица не так наивна, чтобы вручить свою судьбу какому-то подпоручику.

Это нужно было предвидеть.

Но Минович — идеалист.

Неизвестно, как узнала Екатерина о сообщнике — признался ли чистосердечно Минович или рассекретила Тайная канцелярия.

Но в дальнейшей судьбе Ушакова — все — загадка, все — «почему».

Почему 23 мая 1764 года Ушаков был отправлен в командировку?

В мае в Великолуцком полку это была *единственная* командировка от военной коллегии.

Из всех офицеров полка отправлен был именно Ушаков, *единственный* сообщник предстоящей операции.

Случайность? Нет. Потому что действия развивались так.

Военная коллегия организовала отъезд Ушакова с небывалой для нее скоростью.

Сохранились документы: коллегия оформляла командировки в двух-пятидневный срок. Разыскивали лошадей, ремонтировали колеса, разыскивали командирован-

ных, ремонтировали мундиры, разыскивали деньги, ретушировали дебет и кредит, бухгалтерия выписывала деньги.

Отправка Ушакова — рекорд канцелярской деятельности всего XVIII века!

Ушакова вызвали в девять часов утра, — отправился он уже в час дня!

... Случайность? Нет. Потому что вот что произошло.

Ошеломленный такой стремительностью, Ушаков стал присматриваться. Он заподозрил *что-то не то*.

Ушаков следовал в Смоленск. Ему поручили передать генерал-аншефу и сенатору князю Волконскому М. Н. 15 000 рублей серебром. 15 000 рублей — это не меньше 750 килограмм монет. Следовательно, коляска, в которой уехал Ушаков, была большая, на тяжелых рессорах.

Сопровождал Ушакова фурьер Григорий Новичков. Он ехал в простой кибитке, обитой рогожей.

Места в коляске хватило бы и на троих. Почему Новичков ехал в отдельной кибитке?

Ушаков не страдал манией преследования. В 24 года офицеров не очень-то преследуют мании. Но по обстоятельствам получалось так, что Новичков не *сопровождает* Ушакова, а *конвоирует* его.

Ушакова охватывает беспокойство.

Вот что рассказывает Новичков. Вот его рапорт по возвращении.

Двадцать третьего мая они отправились из Петербурга в Смоленск.

В 37 верстах от Порхова, в Сухловском яму, Ушаков начал жаловаться на головную боль. Он заболел.

До Порхова все-таки доехали.

Ушаков подал рапорт генерал-майору Петрикееву. Петрикеев — командир Новгородского карабинерного драгунского полка. Ушаков писал: он — болен и никуда ехать — не в силах. Позвали полкового врача. Врач осмотрел Ушакова и никакой болезни не обнаружил. Петрикеев приказал ехать. Поехали.

Пока показания Новичкова не вызывают подозрений, Лгать — слишком опасно. Есть два свидетеля: Петрикеев и врач. Немного подозрительна такая точность Новичкова: 37 верст. Версты на дорогах стояли, но не были пронумерованы. Может быть, эта точность — от солдатского усердия? Или же он прекрасно знал местность?

... Дальше.

В 90 верстах от Порхова, в деревне Княжьей, Ушаков окончательно и серьезно заболел. Он остается в деревне, а Новичков с деньгами отправляется в Шелеховский форпост. Там — князь Волконский.

Новичков отдает деньги, получает квитанцию и отправляется обратно.

Так Новичкову и здесь нет смысла лгать. Он поехал к Волконскому один. Он один отдавал ему деньги. Лгать опасно. Свидетель грозный — генерал-аншеф и сенатор. Правда, и здесь есть одно *но*: Михаил Никитич Волконский — самое приближенное лицо к Екатерине после Н. Панина, Орловых и К. Разумовского. Волконский был один из самых ответственных и активных участников переворота 28 июня 1762 года. Во всей этой истории (дело Мировича!) почему-то все те же действующие лица, ни одного постороннего: Панины, Разумовский, Корф, Веймарн, Волконский. Случайность? Нет.

Новичков приезжает в деревню Князью.

Спрашивает: где Ушаков?

Крестьяне отвечают: как только уехал Новичков, Ушаков, не теряя ни минуты, поскакал в Петербург.

Новичков едет дальше. Во всех деревнях он расспрашивает о своем потерянном поручике. Все отвечают: поручик ускакал в Петербург.

Село Опоки. Жители взволнованы. Они рассказывают:

— Здесь, в селе Опоки, в реке Шелони найдена кибитка, обитая рогожей, и в ней подушка, шляпа, шпага, рубашка; потом приплывшее тело офицерское, которое зарыто в землю.

«Кибитка, обитая рогожей». Значит, в деревне Княжьей Ушаков отдал Новичкову коляску с деньгами, а сам пересел в кибитку.

Почему он прикинулся больным? А он *прикинулся* больным, потому что если бы он действительно был тяжело болен, то лежал бы и болел в Княжьей, а не поскакал бы сломя голову в Петербург.

Он поторопился в Петербург, чтобы поскорее приступить к исполнению задуманного? Ни в коем случае. Раз у них тройственный сговор — Екатерина, Мирович, Ушаков, — то в первую очередь они сговорились — о числах. Императрица уезжала в Лифляндию 20 июня. Торопиться было некуда. До 20 июня можно было по крайней мере дважды добраться до Шелеховского форпоста и возвратиться дважды в Петербург.

Предположим, что Ушаков не знал дату отъезда Екатерины, то есть не был участником сговора. Все равно, эту дату не так уж трудно было определить. Разговоры о путешествии начались еще в марте. Но совершенно ясно, что ни в апреле, ни в мае, ни в начале июня в Лифляндию ехать незачем. Там — дожди, распутица, бездорожье, грязь. По таким ландшафтам путешествуют лишь великомученицы, но не императрицы.

Почему же торопился в Петербург Ушаков?

Можно многое предполагать, но не будем делать ложных и бесосновательных предположений. Пусть факты сами говорят за себя.

«В реке Шелони найдена кибитка, обитая рогожей».

Почему кибитка найдена — в реке? Почему — не у реки?

Лошади понесли и занесли кибитку в реку?

Это — исключается. Лошади уже измучены. Без передышки они проделали путь от Петербурга до Княжьей и без передышки поскакали обратно.

Ушаков так торопился, что не стал дожидаться парома, а бросился искать брод, загнал лошадей в воду, лошади стали тонуть, в истерике оборвали постромки и уплыли, а Ушаков — утонул?

Это — исключается. Во-первых, ни одной, даже самой сильной, лошади не оборвать в воде постромки, а лошади — замучены. Во-вторых, как бы ни торопился Ушаков, нужна была *исключительная причина*, чтобы он бросился в воду, на верную гибель.

Но пусть так. Пусть он бросился. Пусть лошади оторвались и уплыли. Он остался в кибитке. Кибитка стала тонуть.

Если Ушаков не умел плавать, то первое, что он сделал бы, как всякий тонущий человек, он — позвал бы на помощь и постарался бы продержаться на крыше кибитки до спасителей (ведь кибитка была из фанеры и обита рогожей, она не могла утонуть ни в каком случае!).

Хорошо, предположим, что это случилось ночью. Что Ушаков звал на помощь и никто его не услышал. Он мог бы просидеть на кибитке до рассвета, даже несколько дней. Река Шелонь — не гоголевский Днепр. Редкая птица не долетит до середины ее. Все равно его увидели бы и спасли.

Если Ушаков умел плавать и так торопился в Петербург, что не в силах был ожидать спасителей, то — пра-

вильно, он бросился в воду и решил самостоятельно переплыть реку.

Пусть так. Он бросился в воду, попал в омут, попытался выбраться и не выбрался — утонул.

Это — исключается.

В кибитке были найдены: «подушка, шляпа, шпага; рубашка». Все. Больше ничего. Значит, он отцепил шпагу, снял и рубашку и бросился в воду. В чем же бросился пловец? Всем известно, что ни в какую командировку никакого офицера никакой армии не отправляют без мундира, без штанов и без сапог.

Что же получается? Ушаков снял рубашку, снял шляпу и шпагу — вещи незначительные и почти не мешающие при плавании, — а потом надел мундир, надел штаны и сапоги и бросился в воду, чтобы... утонуть?

Может быть, он и не надевал, а все эти вещи связал в узелок и поплыл нагишом? Нет. Крестьяне показывают: «Приплывшее тело офицерское». Офицерское. Значит, труп был в мундире. Только по мундиру (а не по шляпе и не по шпаге) можно было определить офицерство. На шляпы нацеплялись только значки полков, Шпаги носили и капралы.

Если Ушаков проделал все эти манипуляции и утонул, то должны были быть *исключительные причины*.

Можно предположить самоубийство. Но версия самоубийства — самая бессмысленная. В XVIII веке ни русские поэты, ни русские офицеры еще не убивали самих себя. Да и для самоубийства не нужно было проделывать столько лишних движений с одеждой, во-первых, и, во-вторых: для этого нужны были *совершенно исключительные причины*.

Что же делает Новичков?

Он ведет себя как опытный человек.

Он только осматривает платье Ушакова, он говорит крестьянам, что это платье он знает, это платье Ушакова. Крестьяне говорят ему: нужно разрыть могилу и посмотреть, Ушаков ли там и нет ли на его теле каких-нибудь следов насилия? Новичков осторожен. Он знает, как поступать в таких случаях. Он вызывает комиссию, но не из Петербурга (а он должен был вызвать опознавательную и следственную комиссию из Петербурга, с места жительства и службы Ушакова, чтобы труп опознали люди, не причастные к происшествию. Ведь Новичков косвенно, но причастен — он отправлялся вместе с Ушаковым), нет, Новичков вызывает комиссию из Пор-

хова. Комиссия прибывает в следующем составе: писарь Василий Холков и солдат Ерофей Петров. Ни писарь, ни солдат не имеют даже приблизительного представления о следствии. Новичков опознает труп — они записывают. Они не удосуживаются даже допросить ни одного из крестьян, постскриптумных свидетелей происшествия. Они не удосуживаются даже осмотреть труп (им не терпится — «сделал дело — гуляй смело!») — они напиваются с Новичковым.

... Нечего мудрствовать лукаво. Ушаков был убит.

Как и кем — неизвестно. Может быть, за ним ехала специальная кибитка Тайной канцелярии. Может быть, его убил Новичков. Ведь в истории существует только рапорт Новичкова, больше нет ни одного показания, ни единого свидетеля. Ведь это Новичков пишет, что он приехал в село Опоки и крестьяне ему сказали... На самом деле он мог накануне объехать стороной село Опоки, убить Ушакова и уехать, а потом возвратиться и спросить крестьян.

Крестьяне говорят, что Ушаков поскакал обратно в Петербург. Неизвестно. Ведь крестьяне говорят только со страниц рапорта Новичкова.

Теперь ТРИ последних вопроса.

Перед вопросами необходимо оговориться, что сговор был только между Екатериной и Мировичем, что Ушакова Мирович пригласил самостоятельно.

Первый вопрос.

Почему в командировку был отправлен именно поручик Великолуцкого пехотного полка Аполлон Ушаков, «давнишний, во всем сходный нравом, верный и надежный приятель» Мировича — накануне заговора?

Второй.

Почему «утонул» при таких *исключительных обстоятельствах* Аполлон Ушаков? Накануне — заговора?

Третий.

Почему через полтора месяца после командировки фурьер Новичков получил чин прапорщика (прыжок через несколько чинов)?

Случайности? Слишком много их. Такой набор случайностей появляется только в одном случае: если совершенно преднамеренное убийство.

Несомненно: Ушаков был убит. Какая разница — может быть, его убил Новичков, может быть, и не Новичков, а мало ли кто — наемных убийц множество. Но при-

частность Новичкова к убийству несомненна. Причастность — соучастие.

Так, убийство Ушакова доказывает, что сговор между Екатериной и Мировичем — существовал.

5

Двадцатого июня 1764 года Екатерина уезжает в Лифляндию.

Событие должно произойти в ее отсутствие.

Впоследствии Екатерина утверждала в манифесте, что Мирович не только не видел Иоанна Антоновича, но и не знал, где он находится, в каком каземате Шлиссельбургской крепости.

Нужное утверждение.

О том, в какой казарме находился Иоанн, знали только пять человек: Бередников, Чекин, Власьев, Панин, Екатерина. Иоанн содержался в строжайшем секрете.

Мирович — знал, где находился Иоанн.

Четвертого июля 1764 года, в воскресенье, в 10 часов утра, в Шлиссельбургскую крепость по своим делам приехал подпоручик князь С. Чефаридзев.

Вот показания Чефаридзева.

Чефаридзев и Мирович закусили у коменданта. Потом пошли прогуляться по крепости. Чефаридзев спросил, просто так:

— Мне говорили, что здесь содержится Иоанн Антонович. Так, слухи.

— Я давно знаю. Он здесь, — сказал Мирович.

Погуляли.

— Интересно, — сказал Чефаридзев, — в какой же камере ОН? Или — нельзя? Или — неизвестно?

— Почему? — сказал Мирович. — Можно и известно. (Сегодня ночью операция, почему бы и не поиграть в кошки-мышки?) Пойдем, — сказал Мирович. — И примечай, — сказал он, — как только я тебе куда-нибудь кивну головой, туда и смотри: где увидишь мостик через канал, над мостиком ЕГО окошко.

Адрес точный.

Мирович — знал. Кто же мог сказать ему, где окошко узника? И Бередников, и Власьев, и Чекин — исключаются. В инструкции ясно сказано: в случае выдачи места заключения «безымянного колодника номер первый» —

смертная казнь. Значит, место заключения указала Мировичу Екатерина: разъяснила. Больше — некому. Сговор — был.

В ночь с 4 на 5 июля происходит событие. Власьев и Чекин великолепно выполнили инструкцию. Екатерина недаром написала столько пьес и опер. Премьера этого спектакля прошла блестяще.

Мирович обманут. Он не ожидал убийства. Он действовал безукоризненно. Он все предусмотрел. Они договорились даже о том, чтобы во время операции не было никаких жертв, никакой крови. Какая материнская забота государыни о своих чадах! Мирович должен был так расположить свою команду, чтобы никто никого не ранил. С обеих сторон было выпущено СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ патрона! И — ни одного убитого, ни одного раненого. Стреляли с расстояния ДЕСЯТЬ — ПЯТНАДЦАТЬ шагов!

Не меньшую заботу об убитом императоре проявил и Н. Панин. 6 июля 1764 года Панин писал Березникову:

«Мертвое тело арестанта имеете вы передать земле в церкви или в каком другом месте, *где бы не было солнечного зноя и теплоты*. Нести же его в *самой тишине*».

Начинается следствие.

Мирович убежден: получилась нелепость, императрица его не бросит. С подпоручиком обходятся прекрасно: хорошо кормят, позволяют бриться и не допрашивают. Ему только не дают газеты и не разрешают ни с кем разговаривать. Поэтому Мирович ничего не знает, он целиком полагается на сговор с императрицей и сочиняет всевозможные были и небылицы — пять пунктов о своем офицерском достоинстве (см. версию первую), чтобы представить себя единственным виновником события.

Этого только и нужно Екатерине. Мирович не знает закулисной игры. А игра идет простая: спектакль сыгран, актера нужно убраться.

Почему же с такой страстью Екатерина и ее приспешники настаивают на том, что у Мировича *не было сообщников*? Казалось бы, наоборот: произошло серьезное антигосударственное событие, подпоручик не мог действовать в одиночку, наверняка замешаны многочисленные враги Екатерины, необходимо их искать и отрубать головы, как она и делала и раньше и позднее.

Но — нет.

Панин пишет:

«Не было в сем предприятии пространного заговора».

Екатерина:

«Я опасаясь, чтоб глухие толки не наделали бы много несчастных. . . Мирович виноват один».

«Осторожность вашу не иначе, как похвалить могу, что вы за Мировичами приказали без огласки присматривать. Однако если дело не дойдет до них, то арестовывать их не для чего, понеже пословица есть: брат мой, а ум твой».

При чем тут пословицы? Она боится Запорожья.

Екатерина всех успокаивает, никого не подозревает. Она даже пишет обращение к Смоленскому пехотному полку, в котором служил Мирович:

«Преступление, учиненное *злосердием* одного, не может вредить другим, никакого участия в том не имевших».

Какая предупредительность. «Злосердие одного»!

Почему Екатерина так старательно не хочет расследовать это дело? Ответ только один — был сговор. Если дело расследовать — все откроется: Власьев и Чекин — проинструктированные жандармы, Мирович — сам спровоцированный провокатор, автор же убийства — ОНА!

Императрица торопит Сенат. Сенат — Верховный суд. Простого подпоручика судили СОРОК ВОСЕМЬ сановников империи: митрополит Дмитрий, архиепископ Гавриил, епископ Афанасий, архимандрит Лаврентий, архимандрит Симеон, граф К. Г. Разумовский, граф А. Бутурлин, князь Я. Шаховской, граф П. Чернышев, граф З. Чернышев, граф И. Чернышев, граф М. Скавронский, граф Р. Воронцов, граф Н. Панин, граф П. Панин, Ф. Ушаков, Н. Муравьев, Ф. Милославский, А. Олсуфьев, князь П. Трубецкой, граф В. Фермор, С. Нарышкин, Л. Нарышкин, граф Эрнст Миних, С. Мордвинов, граф Минних, И. Талызин, князь А. Голицын, вице-канцлер князь А. Голицын, граф И. Гендриков, Д. де Боскет, И. Бецкий, граф Г. Орлов, граф С. Ягужинский, Ф. Эмме, барон А. Черкасасов, И. Шлаттер, А. Глебов, Ф. Вадковский, Г. Вейнмарн, барон фон Диц, Н. Чичерин, Я. Евреннов, Д. Волков.

Такой высокий состав суда — неспроста.

Екатерина знала, что делает: свои сановники и иностранные представители (Беранже, Прассе, Гольц) дол-

жны были разнести по всей вселенной весть о ЕЕ невиновности, — и разнесли. Весть — молва — легенда.

Императрица приказала князю А. А. Вяземскому, генерал-прокурору Сената, смотреть за каждым членом Сената; слушать каждое слово и доносить ей — обо всем.

«Возмутителя Мировича, нимало не мешкая, необходимо взять в Царское Село и в скромненьком месте пыткой из него выведать о его сообщниках. Нужно у него в ребрах пощекотать, с кем он о своем возмущении соглашался?»

Первого сентября 1764 года — очередное заседание Сената. Обер-прокурор Соймонов и барон Черкасов — обсуждают вопрос о пытке. Генерал-прокурор Вяземский приказывает: прекратить!

Черкасов возмутился. Он написал «собственное мнение». Он обращался к Сенату:

«Нам необходимо нужно жестокой пыткой злодею — оправдать себя (себя — Сенат, нас, судей!) не только перед всеми живущими, но и следующими по нас родами. А то опасаясь, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от постороннего вдохновения движущимися, или и комедиантами».

Президент государственной медицинской коллегии барон Александр Черкасов был совестлив. И проницателен. Этот суд так и остался в истории: фарс.

Екатерина сделала Черкасову выговор: «Вместо того чтобы побыстрее закончить пустяковое дело, вы, барон, вздором и галиматьей занимаетесь».

Побыстрее.

То же самое она написала и Вяземскому:

«Одним словом, шепните иным на ухо, что вы знаете, что я говорю, что собрание, чем ему порученным делом заниматься, упражняется со вздором и несогласиями».

Побыстрее!

«Порученным делом заниматься». То есть без последнего следствия, только по предварительному, а следовательно — без суда приговорить Мировича к смертной казни. Концы — в воду...

По всей России прогремели письма митрополита Арсения Мацеевича, который самым серьезным образом предупредил императрицу, что если Мировича не будут пытать, то подозрение, так или иначе, падет на Екатерину — если она противница пытки, значит — сообщница. Мацеевич был темпераментен и мудр, но Екатерина уже

разжаловала его, судила 14 апреля 1764 года и сослала. Мадеевич протестовал из ссылки.

Восходящее солнце полиции, будущий (самый страшный в России) глава Тайной канцелярии С. Шешковский (то ли перестраховался, то ли переборщил!) тоже потребовал пытки Мировичу. Он сказал, что сообщники — существуют. Екатерина воспротивилась. Не из жалости к преступнику, совсем нет. Вспомним пресловутый заговор Хрущевых — Гурьевых. Болтунов пытали несколько суток — самыми зверскими способами.

Государственного преступника, провокатора убийства императора Иоанна Катерина — отказывается пытать! Запрещает. На Шешковского налагается взыскание. ЕКАТЕРИНА БОЛЬШЕ МИРОВИЧА БОЯЛАСЬ ПЫТКИ. ПОД ПЫТКОЙ МИРОВИЧ МОГ ЗАГОВОРИТЬ. А ВЕДЬ СУЩЕСТВОВАЛ СГОВОР.

К Мировичу были приставлены (все те же!) К. Разумовский, Н. Панин, П. Панин — чтобы «уговорили преступника признаться». Но такие «уговоры» — не решение Сената, Сенат совсем растерялся: так — приказала императрица. ЕКАТЕРИНА БОЯЛАСЬ — ОНА ИЗОЛИРОВАЛА МИРОВИЧА ОТ СУДА, приставив к нему преданную ей троицу.

И тогда-то Мирович все понял. И подпоручик помогает императрице — сам!

Примечание к протоколу. Заседание суда 9 сентября 1764 года:

«Примечена в нем окаменелость, человечество превосходящая».

Судьи заметили состояние Мировича — он был потрясен таким предательством, такой провокацией.

Он встал.

Он сказал:

— Недолго владел престолом Петр Третий, и тот от пронырства и от руки жены своей опоен смертным ядом. После него же не чем иным, как силою обладала наследным престолом Иоанна самовлюбленная расточительница Екатерина, которая из Отечества нашего выслала на кораблях к родному брату своему, к римскому генерал-фельдмаршалу князю Фридриху-Августу, на двадцать пять миллионов денег золота и серебра, и, сверх того, она через природные слабости свои хотела взять себе в мужья подданного своего Григория Орлова с тем, чтобы из злонамеренного и вредного Отечеству ее похода

(путешествие в Остзейские провинции) — не возвратиться, за что, конечно, она перед Страшным судом не оправдается.

Мировича предупреждали, что его ожидает помилование (как бы там ни было!), что помилование засекречено, что награды — приготовлены, только бы он молчал о сообщничестве.

Но в эту игру Мирович уже не хотел играть. Он почувствовал себя обманутым и оскорбленным, кровь предков, кровь рода — заговорила. Прозвенели цепи, прозвенели и отзвенели, Панин и Разумовский увели Мировича «уговаривать», и напрасно: теперь и под пыткой он не выдал бы соучастия императрицы, он ЕЕ теперь так ПРЕЗИРАЛ — не рассказал бы, не произнес бы вообще вслух ее имя.

И — не произнес.

Мировича привезли накануне в какой-то, похожей на кораблик, карете, дверцы оклеены какой-то кожицей с цветочками. В таких каретах возили почту или казенные деньги. Конный конвой (башкирцы) сопровождал карету до эшафота, а потом оттеснили толпу, образовалась окружность радиусом метров в двадцать, по окружности расставили роту мушкетеров, а башкирцы летали на лошадках туда и сюда — конвоировали.

Эшафот построили за одну ночь — не хотели волновать обывателей: излишние сплетни, сенсации, — ночью металось два костра, поморосил дождик и прошел, в петушках голосили гуляки, к утру получилось то, что надо — сруб из бревен с лесенкой. Все-таки «сие сооружение» было уродливо, на бревнах пестрели сучки, и командир мушкетерской роты капитан Д. Корольков откомандировал к полицмейстеру С.-Петербурга барону Н. Корфу курьера: не покрасить ли «сию архитектуру»?

Пока полицмейстер просыпался и застегивался, пока соотносился с начальником Тайной канцелярии графом Н. Паниным, а тот, в свою очередь, испрашивал «именных повелений» у Екатерины, а та выразила «высочайшее согласие на приведение места казни в божеский вид», — прошло утро, пора уже было начинать казнь, весь Петербург теснился в Обжорном ряду, проталкиваясь в толпе, девушки-аристократки устраивались на крышах карет, а девки — на водовозных бочках, дети, как всегда в таких случаях, плясали на плечах у родителей и размахивали разноцветными леденцами на палоч-

ках, на холмах домов примостились подмастерья со всеми своими кирзовыми сапогами и самодельными трубками, собаки растеряли хозяев, и невозможно было разыскать в непроходимой толпе родственника.

Седовласый маляр с металлическими зубами (иностранец), в спецовке, в штанах из чертовой кожи, нежно макал кисть в цинковое ведро с масляной краской — докрашивал последнюю ступеньку лестницы, докрасил, опустил кисть в ведро и ушел в толпу, его пропустили.

Мировича привезли накануне, чтобы не было паники, лошадей выпрягли и увели, оглобли опустились на землю; знали или не знали, что там, в карете?

Эшафот был покрашен самой дорогой краской, золотой, солнце слепило, и краска слепила. Землю вокруг эшафота посыпали песком, тоже золотым почему-то, прибалтийским, как будто предстояла не казнь, а премьера итальянской оперы. По песку порхали (повсюду!) воробьи, они что-то искали в песке, мертвых мух, что ли, и что-то клевали, муравьев, может быть.

Палач поднялся на помост первым, он шел, балансируя, чтобы не поскользнуться на свежей краске, на лесенке появились темные пятна от его тяжелых подошв, палач был одет в черно-красный балахон с капюшоном, — прорези для глаз, а у капюшона заячьи уши — тоже оперный гардероб. Палач, как ружье, нес на плече большой блестящий топор; кто выковал такой топор, какой инженер мучился над этим уникальным инструментом, или разыскивали в арсенале Анны Иоанновны, ведь после смерти Анны Иоанновны не было ни одной публичной казни — двадцать два года.

В общем, никому не приходило в голову, что казнь состоится, — слишком похоже на фарс.

А потом произошло следующее.

Карета шатнулась. Разлетелась кожаная дверца с цветочками. С подножки кареты на лестницу прыгнул офицер — блеснули пуговицы, — упал на ступеньки, закарабкался по-собачьи наверх, на коленях, на ладонях, встал на помосте во весь рост, перекрестился быстро-быстро, махнул палачу — и палач, как послушная машина, опустил топор.

Ни вдоха. Никто не осмыслил, не сообразил. Увидели: наверху, в воздухе, блеснула ладошь, измазанная золотом, и блеснул большой топор.

Потом брызнула кровь, потом хлынула кровь, бле-

стящие бревна все чернели и чернели, народ смотрел во все глаза — где голова? А голова упала с эшафота и покатила по песку, переворачиваясь, она уже лежала (с чистым, незамазанным лицом), а из горла, снизу, на песок выливалась кровь, и только цыганские кудри чуть-чуть пошевеливались и поблескивали.

Засуетились солдаты, палач стоял надо всеми, на помосте, ни на кого не смотрел, в капюшоне, с топором на плече.

Дверца кареты распахнута, а на подножке — солдат с морщинистым лицом, в руках он слабо держал кандалы.

Появился полицмейстер, и священник полез на эшафот.

Полицмейстер, белесый немец, моргал куриными глазами, бежал со своей саблей и кричал голосом, растерянным и детским:

— Кто снял кандалы? Кто снял кандалы, дьявольщина!

Священник полез к палачу и зашумел, размахался крестом, а палач кое-как высвободил из-под балахона руку и показал священнику свои часы с цепью.

Мирович был казнен точно: минута в минуту.

Василия Яковлевича Мировича казнили 15 сентября 1764 года на Петербургской стороне, в Обжорном ряду.

Державин писал:

«Осенью случилась поносная смертная казнь на Петербургской стороне известному Мировичу. Ему отрублена на эшафоте голова. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обывший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились».

Бильбасов писал в 1888 году, через сто двадцать четыре года после казни Мировича:

«Записанное поэтом аханье толпы, колеблющиеся мосты — единственное сообщение русского современника о впечатлении, произведенном казнью Мировича на русское общество. Русские люди привыкли быть осторожными, научились уже быть необщительными, они предпочитают молчать. Наша мемуарная литература крайне бедна, у нас мало записок, да и те под запретом».

Пятнадцатого сентября 1764 года был солнечный петербургский день, листья уже пожелтели, но еще не опали. Они свисали с деревьев, вялые и влажные.

В магазине кружев мадам Блюм появились чудесные брюссельские перчатки для девушек не старше пятнадцати лет. Но сейчас витрины были завешены железными гофрированными шторами, а под шторами, чуть-чуть над тротуаром, висел бронзовый литой замок, отполированный, как золотой.

Церкви стояли, как голубые статуи в металлических шлемах.

Караул уже уехал. Оливковые кареты с гербами уже умчались. Солдаты ушли в кабаки. У магазинов мод ходили девушки со страстными глазами. Но оживления — не было.

Петербург был растерян и потрясен.

Слухи о великодушии императрицы — распространялись. Все ожидали помилования.

Украинский писатель Г. Ф. Квитка-Основьяненко писал:

«Екатерина располагала непременно даровать жизнь преступнику. Скрытно от окружающих она подписала о сем указ, чтобы выслать указ к эшафоту перед самым исполнением казни. Но она была обманута действовавшими: казнь была совершена днем раньше. Может быть, некоторые были заинтересованы, чтобы Мирович был казнен скорее».

Может, и были эти некоторые. Но сведения о том, что «казнь была совершена днем раньше», сочинил сам Основьяненко.

Казнь была совершена в срок — минута в минуту.

Правительственные газеты с облегчением писали:

«Великолепный карусель, данный Екатериной Второй на Царицыном лугу, и вслед за тем торжественный въезд в Петербург турецкого посла, осенью того же года, изгладил из памяти жителей столицы впечатление, произведенное на них казнью Мировича».

Примечание

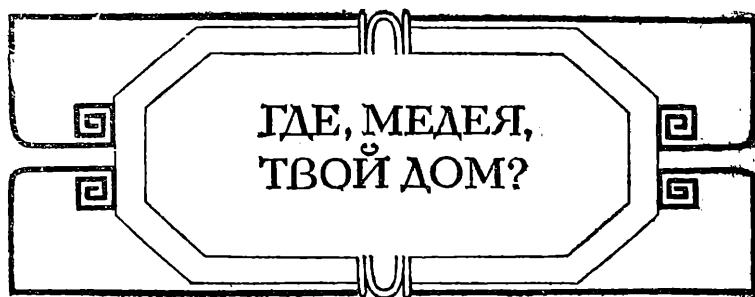
Перед казнью Мирович написал стихотворение. Вот оно:

Проявился, не из славных, козырной голубь, длинноперистый,
Залетал, посреди моря, на странный остров,

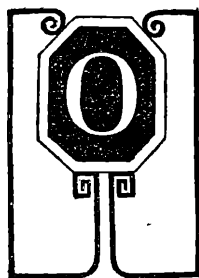
Где, прослышал, сидит на белом камне, в темной клеточке,
Белый голубок, чернохохлистый. . .
Призывал на помощь всевышнего творца
И полетел себе искать товарища,
Выручить из клетки голубка.
Сыскал голубя долгоперистого,
Прилетел на Каменный остров,
И, прилетевши к белому камню,
Они с разлета разбивали своими сердцами
Тот камень и темную клеточку. . .
Но, не имея сил, заплакав, оттуда полетели
К корабельной пристани, где, сидя и думая, отложили,
Пока случится на острове от моря погода, —
Тогда лететь на выручку к голубку. . .
Оттуда, простившись, разлетелись —
Первый в Париж, а второй в Прагу. . .

Аллегии Мировича нетрудно расшифровать, они просты и прозрачны. Поэтому поневоле напрашивается еще одна версия: почему — в Париж? в Прагу?

1968



І. ГЛАВА ПРОЛОГА



дин раз в сто лет Зевс плакал.

Владыка имел миллион оснований плакать чаще, и чаще гораздо, но свод законов Олимпа не предусматривал слезы. Поэтому Зевс плакал один раз в сто лет.

Три стражницы Олимпа, три Оры, не подозревали, что Зевс регулярно плачет.

Когда приближался громовержец к воротам, три вечнодевственные Оры закрывали глаза, чтобы не обозреть ослепительный лик бога, и закрывали глаза на все.

Если бы наивные девочки, с прическами, выкованными поднебесными парикмахерами, выкованными скрупулезно, как выковывают кольчуги, девочки с безмятежными сиреневатыми глазами, блещущими и овальными, узнали, что Зевс плачет, плачет эгидодержавный владыка неба и грома, если бы узнали Оры...

Один раз в сто лет Зевс возлагал свои стопы на Землю, и ни одна душа мира не подозревала, что Зевс направляется плакать.

Мать Зевса, Рея, беременная, сбежала на Крит, чтобы сохранить ребенка.

Отец Зевса, Крон, пожирал собственных детей. Это позднейшие боги освоили изощренные методы пожирания. Крон пожирал — буквально.

Он проглатывал детей. Они проскальзывали в желудок, попискивая, как устрицы.

Над Землей царило солнце.

Под Землей царил мрак.

На Земле царил голод.

Еще не были созданы человеческие расы, домашние животные и питательные растения.

Боги голодали.

Огромны были ящеры, но не аппетитны, костлявы, даже шкуры в костяных пластинках.

Вот почему Крон пожирал собственных детей.

Вот почему Крон проглотил Гестию, Деметру, Геру, Аиду и Посейдона.

Девочки были приятнее на вкус.

Но мальчики сытнее.

Один раз в сто лет Зевс появлялся на Крите, на родине. Две тысячи лет прошло со дня рождения Зевса, но возле горы Дикты ничего не изменилось. Так же прохладно помахивал зелеными ладонями платан, так же позванивала ольха, вся в серьгах, как египетская царица, так же медленно капали листья с лип, продолговатые, покрасневшие, будто смущенные дарованной Зевсом вечной осенью (Зевс любил осень); так же у входа в пещеру, где Зевс вырос, так же возвышались юные куреты с хрустальными щитами в левой руке, с медными мечами — в правой. Их волосы — длинные черные сабли — достигали лопаток. Это куреты, когда младенец Зевс плакал, ударяли мечами по щитам, и щиты звенели, а угрюмый Крон хоть и не слышал плача младенца, воображал, что продолговатый камень, завернутый в пленки, поданный угрюмой Реей для проглатывания, и есть — Зевс. Это в этой пещере обучала Зевса письменности и арифметике изможденная, седая нимфа Идея. Она была прилежна и тщательна, эта Идея. Она бубнила буквы и таблицу умножения. Она была сутула, нос — костляв. Ни одна женщина с таким носом не осмелилась бы показаться на глаза даже смертному, не говоря уже о боге.

Когда Зевсу исполнилось пятнадцать лет, он убил нимфу Идею. Убил раскаленным прутом из меди. Даже не погнулся прут, не задымился даже. Прут вошел в тело непринужденно, как солдат в казарму.

Далее, Зевс пожал с благодарностью все четыре копыта козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен, и козу тем же прутом из меди — убил, а рог ее — рог Изобилия — подарил нимфе Адрастее. Эта нимфа тоже была назначена воспитательницей Зевса. Но проблемы воспитания не вызывали у нимфы энтузиазма. Ей нравились напитки. А соблазнительный аромат хмеля нравился ребенку.

Нимфа Идея гнусавила усеченным гекзаметром:

— Худо закончите вы, Адрастеея, ваше существование!

Так Идея гнусавила, когда, приняв положенную дозу напитков, Адрастеея, в одних сандалиях, позабыв запереленаться в тунику, обнимала Зевса.

Ребенку нравилось и это.

Адрастеея улыбалась нагло и молча.

Зачем Зевс умертвил нимфу Идею? Не из озорства. Зевс был не озорной мальчик. Идея — первый, интуитивный опыт, проба руки.

Но начинающий громовержец понимал, что хоронить нимфу Идею — неразумно. Очень уж разнообразные и богатые знания хранила старуха. Поэтому он сжег Идею, сжег, а пепел заключил в небольшую ладонку, а ладонку прикрепил к поясному ремню.

Когда же возмущались народы и расы и поднималось оружие смерти, тогда Зевс ладонку раскрывал и щепоть пепла нимфы Идеи бросал в центры возмущений, напоминая о знаниях.

Возмущения останавливались.

Олимп говорил: это — положительная сторона деятельности эгидодержавного бога.

Когда коза была изжарена, когда румяная, как вакханка, изжарена была коза и с окороков изжаренной козы капали на уголья белые виноградины жира, Зевс поднял отроческие очи, ощущая немалое сердцебиение.

Адрастеея раскупоривала глиняный кувшин, улыбаясь нагло.

Зевс проямлил что-то ломающимся, как молния, басом.

Разламывая козу пальцами, запивая козу вином, Зевс ощутил прилив отваги и мощи. На лбу его вздулись вены волненья.

Звезды полыхали! Луна увеличилась в миллион раз, угрожая разливом во всю вселенную. Ночь рокотала миллиардами кузнечиков!

Когда Зевс и Адрастея ввалились в пещеру, Зевс было качнулся в сторону своего отроческого ложа, застланного соломой.

Не ясно было богу, но догадывался бог, что произойти должно, ибо разгоряченные оголенные колени Адрастеи касались колен подростка и ощущения — всевозможные — вызывали.

Так Адрастея потеряла девственность.

Так Зевс приобрел мужество.

Так Адрастее было даровано бессмертие.

Один раз в сто лет Зевс являлся в пещеру. Плакать. Куреты загадочно улыбались.

Их волосы касались плеч, а на лопатках загибались, как длинные черные сабли.

И куреты опять ударяли медными мечами по хрустальным щитам, когда Зевс плакал слишком громко, чтобы человечество, изумленное, не услышало плача бога, чтобы остальные боги не услышали плача, а услышав, не отняли власти тучегонителя, ибо до смешного легко отнять власть у плачущего.

Получив бессмертие, Адрастея не слишком восхищалась своим существованием. Нимфа не имела права приблизиться ни к единому смертному, а к богам — подавно, учитывая их мужское происхождение. Только один раз в сто лет посещал нимфу Зевс, и то, лаская, плакал.

Одарив благосклонными взглядами куретов (каждому — по взгляду), Зевс появился в пещере.

Восторженно пылали поленья на медных треногах. Дно пещеры Адрастея устлала козьими шкурами. Еще не окончательно просушенные, шкуры исторгали зловоние — излюбленный запах Зевса. Узкогорлые кувшины с напитками, куски мяса величиной с корму приключенческого судна, огурцы, редис, квашеная капуста, не рубленая, а листьями, соль в деревянных солонках, бычья печень, полукруглая и алая, — пища, любимая Зевсом.

Сто лет Адрастея потрошила рог Изобилия, убирала пещеру цветами — нарциссами, гиацинтами, фиалками, анемонами, ветвями земляничника и можжевельника.

Зевс появился в пещере и заплакал. Он возлег возле блюда с бычьей печенью. Он пожирал бычью печень, раздирая ее ногтями и зубами, плача.

Плакала и Адрастея, умоляя Зевса освободить ее от бессмертия.

Люди остерегаются ее, опасаясь гнева бога.

Даже дети не дразнят ее.

— Худо мне! — плакал Зевс. — Круглые сутки на Олимпе — пиры! Я теряю вселенский размах!

— Так пируй, Зевс. Где же тут — худо? — наивно удивилась нимфа, имеющая право пировать один раз в сто лет.

— Да, пируй! — Зевс трижды отчаянно сплюнул. — Нектар и амброзия, амброзия и нектар. . .

— Худо! — заревел Зевс так неводержанно, что перепуганные куреты ударили в щиты, хотя Зевс и не плакал в этот момент. — Ты воображаешь, для чего я завоевал власть? Чтобы разумно властвовать, на пользу богам и народам? Не воображай так! Я завоевал власть, чтобы ее удерживать! Больше для Зевса деятельности — не существует! Удерживать власть!

— Но у тебя такая жена! Образец женщин вселенной! — выразилась Адрастея, заискивая.

— Жена! Гера! — взревел Зевс. — Ты воображаешь, что такое жена? Нет! Девочка, вообрази: десять лет жена — замечательно, сто лет жена — ладно, но полторы тысячи лет! Полторы тысячи лет ежедневно — жена! Эта умница, которая ложится со мной пунктуально по расписанию: первые четыре дня каждого десятилетия, остальные дни — охраняет нерушимость брачных союзов! Святость брака! Эта ехидна, которая лежит в кровати, как вобла, а целует пылко, как жаба! Я счастлив, нимфа, что жена эгидодержавного Зевса в данный момент висит между небом и землей и привязаны к ее ногам две наковальни.

— Не трудно тебе так наказывать жену, не трудно было? — робко протараторила когда-то наглая Адрастея.

— Трудно, — вздохнул тучегонитель. Его гигантские усы раздувались, как два паруса. — Четыре года подвешивали Геру и год подвязывали наковальни. Всех богов изругала, да и побавивались боги подвешивать Геру — все же богиня выдающаяся. Ничего! Сто двадцать семь лет висит и не пищит. И ничего. Земля землей осталась, небо — небом.

- Она совершила злую ошибку?
— Да нет. Я — разгневался. Худо мне!

Худо Зевсу.

Нет на Олимпе зимы, нет весны и осени.

Повседневный август.

Наблюдая, как на январских склонах дети играют в снежки, Зевс раздражался и швырял в них молнию.

— Опять гром среди ясного неба! — ликовали дети.

И ночи нет на Олимпе. И дождей нет. И мяса.

Но цветочный мед и амброзия — в изобилии.

Скучно богам на Олимпе. Все они — завсегда таи земли. Всем бы им войти в человеческие судьбы, да и женщины необходимы. Направят боги сотню судеб и говорят о решающей роли богов на земле.

А где свершения? Где международные события? Все на земле совершается помимо воли богов.

Ежеутренне съезжаются боги на совет. Станный совет: произносят глаголы всех наклонений, афоризмы — пламенеют, нововведения — утверждают, Зевс дремлет. Надремлется и скажет:

— Земля вам не шар, она приплюснута на полюсах.

Так и записывают в резолюции решения совета:

— Земля не шар, она приплюснута на полюсах.

Был когда-то случай, полторы тысячи лет назад, когда кто-то, вроде бы и не совсем бог, был против. Но этот случай был настолько случаен, что никто и не помнит — куда направили этого юмориста — в Тартар или в Аид.

Очень доволен Зевс.

Очень важно, что Гера висит сейчас между небом и землей и к ногам ее привязаны две наковальни.

Ржавые уже.

Висит лилейнорукая Гера, не повизгивая, по крайней мере, как первые четырнадцать лет.

Облюбовал Зевс Метис — богиню разума.

И, естественно, родила Метис.

Она родила Афину Палладу.

Родила богиня разума, но Зевс божился, что родил — он, самостоятельно, без вмешательства Метис.

Будто Гефест разрубил ему голову, а из мозгов Зевса вынырнула Паллада. Мало кто поверил этому, а кто поверил — поверил мало. Чтобы замять событие, Зевсу пришлось проглотить Метис.

Переждав некоторое время, Зевс проявил благосклонность к Майе, царице Аркадии. В гроте горы Килены отдалась близорукая, застенчивая Майя.

Она родила Гермеса.

В первую же ночь после рождения развернул Гермес пеленки и побежал в долину Пнэрни, в Македонию. Он прибежал в долину и похитил у Аполлона коров.

Закончив проделку, Гермес возвратился в грот, нырнул тихонечко в колыбель и запеленался.

Обиженный Аполлон ворвался в грот, обличая мошенника. Гермес внимательно выслушал притязания Аполлона, посасывая палец.

— Эй, младенец, — гневался Аполлон. — Я тебя свергну в катастрофический Тартар! Познаешь несчастье, приبلудный сын!

Гермес невинно посасывал палец, рассматривая Аполлона лазоревыми глазами, декламировал:

— Насчет приبلудного сына... зря ты намекаешь, о сын Латоны. Подумай, если еще не исключена у тебя такая возможность, о сребролукий брат мой! Поразмышляй: твоими ли коровами я могу быть занят? Мне бы почаще прикладываться к соскам мамы да поудобнее расположиться в колыбели, — так разубеждал Аполлона хитренький Гермес, заботливо заворачиваясь в пеленки.

Коровы были возвращены.

Так сблизились два брата — покровитель искусства Аполлон и Гермес, покровитель воров.

Так возникла эта дружба на века.

Прекрасна Семела, дочь царя Фив, Кадма.

Бледна, а брови черны и треугольны, а волосы заплетены в пятнадцать тонких кос, унизанных жемчугом. Достояна Семела, да стеснительна. Начинается ночь — и клянется тучегонитель исполнить любую просьбу Семелы, только бы она не колебалась в желаниях. Клянется Зевс — отдается Семела.

Но внушает Гера царице коварную просьбу, и говорит Семела:

— О Зевс, явись через девять месяцев во всем величии эгидодержавного царя Олимпа.

Попросила Семела.

Зевс явился.

Не настолько неумысел был бог, чтобы не подозревать последствий подобного явления.

Алая молния изгибалась в оголенной руке владыки. Другая рука щелкала пальцами, исторгая грома. Величавое зрелище представлял Зевс.

Запылал дворец Кадма.

Запылала и Семела. Начались роды.

Где она, Семела?

Так, более или менее феерически, заканчивались все любовные авантюры Зевса.

Где Даная? Где Европа? Где Леда? Где Антиопа? Где Латона? Алкмена? Деметра? Ио?

Поздно получил Зевс бессмертие.

По просторам вселенной еще гудят легенды о любовных интригах вседержителя, но Зевсу-то известно, что это легенды — и только.

Люди и боги льстят легендами владыке.

Худо Зевсу.

Повелевать — этот род деятельности не приносит плодов, если повелевать без определенной цели. А цели-то Зевс и не мог определить.

Выходя из пещеры, Зевс не одарил взглядами куретов, ибо приступил к окончанию плача.

Пьяного, Зевса притягивал Тартар.

Мрачен Тартар.

У медных герметических ворот поставлены сторукие гекатонхейры. Они открывают ворота Тартара, четверо сторуких гекатонхейров открывают четыреста замков, лязгая четырьмястами бронзовых ключей.

Круино пьян Зевс.

Покинули владыку колебания мысли, свойственные плачущим, ибо Зевс прекратил плач.

Наклоняется Зевс над бездной, волосы бороды перепутаны, усы раздуваются; веки — как раковины моря, уши раскачиваются, как два десятивесельных корабля.

Хорошо Зевсу.

Всеми капиллярами он ощущает власть и прелесть бессмертия.

— Эй, отец Крон! — гудит вседержатель. — Заставил я тебя отрыгнуть моих братьев и сестер?

— Заставил! — быстренько отзывается Крон из ущелья.

Смрад в ущелье.

На длинных осклизлых стеблях качаются над ущельем гигантские головы змей. Их раздвоенные языки, как две руки, пошевеливают пальцами.

Пауки пританцовывают в ущелье; их туловища громоздки, как у гиппопотамов, сквозь слюдяную кожу просвечивают кровеносные сосуды.

Есть и жабы, но жабы на дне, их не видно, жабы оживленным копошащимся ковром заполнили дно и ворочают жабрами, не квакая.

На краях ущелья восседают весельчаки циклопы.

У них один глаз посередине лба, нежно-зеленый, разграфленный, как арбуз. Циклопы разрывают баранов, пожирают их с шерстью, кишки только швыряют вниз — пища поверженным титанам, соратникам Крона.

Прошла власть титанов.

Властвует Зевс. Помогли тучегонителю захватить власть циклопы.

— Так веселитесь! — гудит циклопам Зевс.

Циклопы веселятся, пожирая баранов. Другая форма веселья им неизвестна.

Черные крабы поднимают клешни над бездной, клешни позванивают, как поднятые пилы.

— Эй, отец Крон! — гудит Зевс.

Обрюзгший, заплесневелый Крон. На левой ноге обрывок ремешка перегнившей сандалии. Лязгая тремя обломками передних зубов, вылезает Крон и бреет эгидодержавного сына, бреет благоговейно, из уголков рта до земли тянутся слюни, прямые, как струны.

Хорошо Зевсу.

Он получил все подтверждения полноты своей власти и полезности этой власти для богов, народов и рас.

Боги, народы и расы передают легенду о Зевсе из уст в уста.

II. ГЛАВА ПРЕДЫСТОРИЙ

У Медеи белое лицо и продолговатые глаза египтянки, ибо племена, предворяющие колхов, явились из Египта и Малой Азии.

Сестры Медеи похихикивали за глаза: двадцать четыре года девице, а не сумела еще познать мужчину и материнство. В данном возрасте женщины-колхи умудрялись обзавестись десятком детей, овдовев трижды. Ме-

дея не дразнила царей обещаньями. Но, если отваживались цари предлагать себя, отвергала непреклонно.

Похихикивала и Халкиопа, обленившаяся тупица, вечно что-то пережевывающая кобыла. Она многообещающе зазывала мужчин во дворец, никого не обижая. О том, как невинна Халкиопа, весьма подробно известно было мужской части населения Колхиды.

Муж Халкиопы, Фрикс, умер десять лет назад. От малярии. Не исцелили Фрикса лекарственные растения, от растений лицо Фрикса иссохло и почернело, как египетский пергамент.

Когда Фрикс умер, когда был тщательно выполнен обряд похорон, когда в гробницу загнали двенадцать лошадей и трех рабов-киммерийцев, когда возле тела Фрикса положили меч в золотых ножнах и серебряную вазу, когда тело Фрикса было уложено в глиняный кувшин и перевернуто в кувшине на левый бок, когда рабы взвыли над гробницей Фрикса и принялись аккуратно колоть собственное тело ножами, размахиваясь беспредельно широко, будто с целью самоубийства, когда Халкиопа, выражая соболезнование самой себе, легонько царапала щеки и, запуская пальцы в прическу, делала вид, что волосы вырывает, — Медея убежала во дворец, а в толпе осуждали: до чего неотзывчива девчонка.

Медея прибежала во дворец и приказала рабу принести медный ящик, зеленый уже. Ящик принадлежал Фриксу, — несколько дощечек, навощенных, испещренных надписями.

На первой дощечке было написано какое-то число.

На второй дощечке было написано:

«Дедал богат. Зачем он прибыл в Колхиду? Зачем возводил эллинский дворец Зету? Зачем возводил храм Гекаты, святилище, подобное святилищу Дельф? Исподлобья поглядывают колхи на святилище, сплевывая втихомолку. И собственных богов колхам предостаточно. Для чего им еще боги Эллады? Зет ввел повинность: посещать святилище. Посещают. Один раз в полугодие, предварительно вливая во внутренности полкувшина вина.

Зачем Дедал прибыл в Колхиду? Недостаточно его имя прославлено в Элладе? Мало в Элладе зданий, на бронзовых барельефах которых начертано «Дедал»? Зачем Дедал привез в Элладу своего племянника Тала?

Дедал изобрел бурав и топор. Но Тал изощреннее пользовался этими инструментами. Дедал изобрел геометрический орнамент для украшения ваз, но в Греции знамениты вазы Тала с геометрическим орнаментом. Так насмехается время над механическими первооткрывателями.

Дедал — математик. Он создает скульптуры богов и героев, предварительно рассчитывая все четыре измерения каждого ноготка и ресницы. Тал вырубает скульптуры из цельной глыбы камня, скульптуры, небрежно отесанные; люди останавливаются возле скульптур Тала, по правильным же скульптурам Дедала проскальзывают безразличным глазом. Внимателен Дедал к племяннику, ибо предчувствует в нем гениального художника. Поэтому и привез Дедал юношу в Колхиду. Ведь в Элладе трудно Талу погибнуть случайно. Вся Эллада следит за Талом.

Не любил тебя Дедал, Медея. Ибо ты умна и красива. Таких не любят — никогда. Для настоящей любви вся мысль должна быть легка и подла. Твой ум и красота обрамляли бы имя крупнейшего скульптора Эллады.

Я знал, для чего привез Дедал племянника. Я наблюдал за Дедалом.

Тогда вы загорали на побережье, ты и Тал, прыгали по песку, обнаженные, боролись, дурачься. Вы были слишком молоды, эти невинные игры Дедал не мог воспринять всерьез, наблюдая из-за скалы. Но он подбежал к Талу, рыча с наигранной яростью, якобы от ревности. Он повел Тала на скалу, многословно упрекая. Он столкнул юношу со скалы.

Так умер Тал.

Дедал желал возвыситься в твоих глазах, ибо якобы из-за ревности к тебе убил Тала. Так он объяснил Зету, оправдываясь; Зет был польщен. Но ты отказала Дедалу. Не казни себя, Медея. Не из ревности убит мальчик».

Медея уронила табличку на колени.

На третьей табличке было написано:

«Сын Афаманта и богини облаков, Нефелы, я, Фрикс, родился в Орхомене, в Беотии. Но изменил Нефеле Афама́нт. Он женился на Ино. Возненавидела Ино пасынка.

Ничего я не сделал Ино. Разве только подарил мне Гермес золотого овна. Не срезал я шерсть с барана и не продавал, не подрывал я торговлю Ино. И не способен я к земледелию. Нравились мне предсказания и леген-

ды; легенды я заучивал, а людям предсказывал будущее, и не было человека обиженного: Фрикс предсказал неправильно.

И я предсказал: Ино подговорит орхоменянок. Исушат женщины семена, заготовленные для посева, прахом взойдут поля Орхомена. Разразится голод, а меня поведут на жертвенный алтарь как прорицателя. Но не получит Ино златорунного овна.

Как я предсказал, так и произошло.

Когда все приготовили к жертвоприношению, я, наблюдая за жрецом, определил, насколько хил и неразумен он, и сказал ему:

— Подожди минутку. Разреши мне перед смертью побеседовать с богиней облаков, моей матерью Нефелой.

И я запрокинул голову, глядя на небо. И неразумный жрец запрокинул голову. Я схватил серебряную пряжку жреца и ударил его. Выпали зубы у жреца. А потеряв зубы, жрец не мог разразиться криком. Я спрыгнул с алтаря и, оседлав овна, покинул родину.

В Колхиде я предал овна освежеванию, преподнес шкуру Зету, а Зет благосклонно предоставил мне убежище. Позднее Дедал выковал из меди механического дракона, чтобы сторожил руно.

Нет человека во вселенной, не любопытного к тому, куда направит его судьба завтра. Но ни один человек во вселенной не подозревает, что знание будущего — губительно.

Горе мне: я до мельчайших подробностей предугадывал собственную судьбу.

Горе мне: я предугадывал, на чем ложе предастся блюду Халкиопа, шерстяное ли, шелковое одеяло будет ее блюду прикрывать. Я предугадывал, что никогда не явлюсь обнаружить ее предательство, ибо стыдно. Я предугадывал каждый жеманный жест Халкиопы, когда она оправдывалась, опуская веки лживо. Я предугадывал, Медея, что ты прочтешь эти таблички в день похорон, поэтому к тебе обращаю таблички.

Сыновья, приписываемые мне, — сыновья не мои. Поэтому посоветуй Зету снять с них привилегии моих сыновей. Посоветуй и мальчикам не покидать родину ради бреда о родной моей Греции. В их жилах нет ни грамма эллинской крови, достаточно им довольствоваться Колхидой.

Потомки Афаманта не смирятся с потерей златорун-

ного барана. Ведь за такого барана можно приобрести целую область Греции.

Эпигоны Афаманта построили город Иолк.

Но бездарен был Эсон, царь Иолка. И умный Пелий отстранил Эсона от управления. Управлять не тот обязан, кому принадлежит власть, но тот — кто способен. Родил Эсон Язона. Пелий подозревал, что Язон, возмужав, объявит себя претендентом на управление. Поэтому Пелий задумал умертвить Язона, что было бы справедливо: избавило бы Иолк от кровопролитий, неизбежных при борьбе за власть. И вот Эсон прозрел. Он объявил — Язон умер, записал младенца в списки умерших граждан, тайно переправив его в Спарту. Запомни это, Медея.

Через два десятилетия объявился в Иолке Язон.

Сбросив с плеч шкуру пантеры, сказал Язон Пелию:

— Этот город построил мой дед. Я обязан управлять Иолком, а ты — незаконен.

И сказал умный Пелий:

— Разве жители Иолка не спят спокойно? Разве не накормлены потомки жителей? Домашние животные разве подымают от эпидемий? оливы обугливаются? ячменные лепешки превращаются в глиняные? Или судьи регулярно вонзают копья в печень старцам? Или твой отец обезглавлен за обман и кровь с его бороды слизывают собаки? Укажи на несправедливости, юноша, и я с благодарностью препоручу тебе управление.

Язон твердил:

— Власть необходима — мне. Я желаю приступить к патриотическому объединению Греции, а как приступить, не владея ничем?

Пелий рассмеялся:

— Ты наивен, мальчик, и наивен великолепно. Только так не свергались цари. Итак, мой добросердечный совет: направляй свой парус в Колхиду: Фрикс умер, овен — принадлежность вашего рода. Пока ты будешь странствовать, я состарюсь окончательно. Тогда мы произведем обмен: ты мне — барана, я тебе — Иолк. Если не получится так, всегда разыщешь царя, способного продать свое государство.

— Но пройдут годы! — возмутился Язон.

— Но пройдут годы и для меня. Можешь предложить более разумное — предлагай.

Язон был беден, поэтому — бессилен. Пелий понимал его безопасность. Язон поразмыслил и выразил согласие. Что мог еще выразить Язон? Пелий предложил по-

строить корабль, собрав героев Греции. Первую сумму выложил Пелий. Он был убежден, что Язон погибнет, странствуя. Пелий посоветовал сообщить героям, что золотое руно делажу не подлежит, ибо является принадлежностью рода Язона, принадлежность же рода — священна. Разгоряченный собственной доброжелательностью, Пелий запамятовал, что Иолк тоже принадлежность рода Язона.

Много величайших героев откликнулось на призыв Язона: Реракл, Калаид и Зет, сыновья Борея, Кастор и Полидевк, сыновья Зевса и Леды откликнулись. Пузатый Мелеагр, осатаневший от охот и дебошей матери, Мелеагр, царь Калидона, подарив царство матери, — откликнулся. Идас и Линкей; кормчий Тифий, которому было безразлично, куда плыть, лишь бы — вдыхать воздух моря; высокомерный Клитий; благородный Теламон; Орфей, изгнанный из всех царств Эллады, ибо ни один царь не мог выдерживать его гипорхемы. — много величайших героев откликнулось на призыв Язона.

Только царь Фессалии Адмет не откликнулся. Он прикинулся полоумным. Когда Кастор и Полидевк явились призвать Адмета, он запряг осла и котенка и направился пахать поле, используя вместо плуга медную тарелку.

— Окончательно ополоумел Адмет, — посожалел Кастор.

Но не так ополоумел царь Фессалии, как это казалось. По отбытии героев ему представлялась возможность жениться на дочери Пелия Алкестиде. Укротитель зверей, рассеянно запрягающий в колесницу льва и медведя, не так уж ополоумел Адмет.

Десятивесельный корабль построил Арг и назвал «Арго». При назначении предводителя, естественно, выбор пал на Геракла. Но Геракл ощутил в интонациях Язона обиду. Но предводителем выбрали Язона».

Медея перевернула двенадцатую табличку.

«Я предугадывал, Медея, все: когда у собаки возникнет простуда, когда у Эета возникнет прыщик на нижней губе, в какой час родится мой сын, якобы мой. Развлечения? Изумительное развлечение у меня было: я расчесывал гребнем усы — то к подбородку, то к векам. Страсти? Изумительные страсти, заранее предугаданные! Мечты? О чем я мог мечтать, зная доподлинно, что

осуществится, что — нет? Жизнь моя — жизнь водоросли: видимость передвижения, когда колеблется вода, но корень водоросли недвижимо погружен в дно.

Ты полюбишь Язона, ибо небогата Колхида юношами так пропорционально сложенными, так храбро направляющими свой парус между Симплегадами.

Тебе предстоит ждать Язона десять лет.

Не подумай, Медея: не предскажу ничего больше, иначе твое существование будет мучительно и безнадежно».

Медея ждала Язона.

Она ждала героя, а девушке, ждущей героя из легендарной страны, все юноши вокруг представляются невзрачными и обыденными.

У дворца Эета гавань, она миниатюрна, для одного судна. Возле гавани квадратная роща: низкие пальмы и каштаны. За рощей — заросли самшита. Цветут каштаны. Кроны каштанов уставлены желто-белыми вазочками.

Медея лизнула лист каштана. Сладок лист, как лист липы.

Скиф ожидал Медею.

Алый череп Скифа пылал, как факел.

Скиф никогда не называл своего имени. Он однажды нацарапал на дощечке: «скиф». Так и окликали его. Скиф был нем. Но разговор с ним был возможен: Скиф умел внушить собеседнику свою мысль.

Скиф был царем четырехугольной Скифии, расположенной между Доном и Дунаем.

Соседние племена — меланхелены, будины, андрофаги, тавры, меоты — боялись Скифа. Скифа опасались даже цари Ассирии. Даже цари Урарту. Они помнили случай разграбления Скифом Тейшебаини.

Облегченные войлочные кибитки Скифа шли быстро. Воины Скифа насыщались кровью первого убитого врага; насытившись, преисполнялись доблести, пощады не знали. Головы убитых бережно водружались возле ног царя, количество голов определяло степень отваги. Снятие кожи с убитых — практиковалось. Ни одна кожа так не мягка и не прочна, как человеческая. Покрышки для колчанов, утиральники, плащи — эти предметы из человеческой кожи знаменовали героизм.

Сам Скиф цедил вино из черепа царя меотов. На голове Скифа остроконечный башлык из войлока, украшенный золотыми кружками, на запястьях золотые браслеты, шею обрамляет золотой массивный обруч, украшенный по концам изображениями двух конных скифов. Ложе царя облицовано пластинками слоновой кости.

Много рабов у Скифа. Они ослеплены, чтобы не убежали.

Много женщин у Скифа. Много дочерей и сыновей, но который ребенок его — Скиф и не пытался разузнавать. И состарился царь, властвуя.

Он не целясь попадал из лука в кольцо, стреляя с колена.

Много собак у Скифа, но была одна собака величиной чуть меньше медведя. Это она, большая собака, зацепив зубами за одежду царя, принесла его в столицу возле Дуная.

Тавры выкрали ненавидимого Скифа; язык царю — вырвали: тщательно подготовили царя к жертвоприношению. Уже наточил жрец бронзовый нож. Избивали Скифа тавры, по плечам и ключицам били цепями; по тем частям тела, под которыми сердце и печень.

Но собака, пробежавшая за ворами от нижнего течения Дуная до Крыма, собака прошла неторопливо к жертвенному алтарю, и расступились тавры в замешательстве. Собака подняла связанного Скифа легко, как прутик, и побежала, не проявляя торопливости.

Опомнились тавры: приспособив луки, столько раз выстрелили, что собака покрылась опереньями стрел, как птица. Но бежала собака, не проявляя торопливости.

Тогда, не оседывая коней, организовали тавры погоню. Но как долго можно проскакать на одном коне, да еще не оседланном, да еще галопом?

Она добежала до нижнего течения Дуная и упала, выронив Скифа, истекая кровью. Собака шла по степным тропам, протоптанным турами да байбаками, торчащие стрелы цеплялись за бурьян, бередя раны.

Тогда изуродованный в плену Скиф повынимал стрелы из ран собаки, наложил на раны лекарственные травы и листья. Двадцать четыре стрелы насчитал Скиф. Тогда взвалил Скиф собаку на плечи, пошел, тяжело ступая, прихрамывая.

Много собак было у Скифа, но до Таврии побежала одна собака. Много женщин было у Скифа, но из всех

чувств после его похищения они проявили одно — чувство облегчения.

Много воинов было у Скифа, но кто из воинов пошевелил пальцем во имя освобождения вождя?

Столица не ликовала, хотя Скиф был узнан.

Не разматывали перед шагами Скифа рулоны ковров, не наигрывали на музыкальных инструментах; не исполнялись ни пляски, ни песни. Никто не убил быка, никто не поднес царю кобылье молоко. Так столица встречала царя, воздвигшего столицу, обучившего три поколения скифов обращению с оружием, ибо каждый скиф был воином. Скиф не шел, он переставлял ноги; приподнимал и переставлял ноги, как приподнимают и переставляют глиняную бочку вина.

Войлочные двери задвигались перед царем. Ни один плод не был сорван для Скифа. Рычали собаки. Прежде они опасались богатых царских одежд, нынче — рычали высокомерно и торжествующе, сознавая, как царь — нищ. Ведь никто лучше собак не ощущает разницу между царем и нищим.

Мальчишки, тщательно прицеливаясь, кидали камни в Скифа, некрупные камни, ведь крупные кидать мальчишкам — не под силу. Это были жизнерадостные мальчишки, среди них — сыновья и внуки Скифа. Это была замечательная забава — кидать камни в Скифа, и мальчишки ликующе взвизгивали, попадая. Ведь никто лучше мальчишек не ощущает разницу между царем и нищим.

Скиф передвинул собаку со спины на грудь, чтобы камни, направляемые в спину, попадали не в собаку, а в него. Скиф шел, придерживая собаку руками снизу, как вязанку хвороста, окунув подбородок в собачий мех.

Так понял Скиф, насколько лучше иметь одну преданную собаку, чем целую державу, расположенную четырехугольником от низовья Дуная до Дона.

Даже древние войны смущались при приближении Скифа; придавая глазам деловитое выражение, поторапливались улизнуть.

Новый царь был не более юн, чем Скиф.

Не был царь важен, однако важничал. Он приобрел золотые бусы — подражание Скифу — символ обладания землями Скифии, женщинами, табунами, воинами, собаками. Не был царь умен, однако — умничал. Он даже обучился глубокомысленно подпирать ладонью лоб. Новая профессия порождает новые жесты. Это был брат

Скифа по материнской линии, один из полчищ братьев, имена которых Скиф не знал.

— Не думаю, что теперь ты — царь! — остроумно выразился брат, и совет старейшин подтвердил.

Когда-то Скиф разогнал старейшин, ибо их разум не превышал размеры и мощь разума клопа, пролежавшего две тысячи лет в гробнице.

Брат положил собаку перед братом.

— Теперь царь — ты, — сказал Скиф, немо глядя на брата огромными глазами, но никто не заметил, что Скиф не произносит слова, говоря.

— Не трепещи. Попытки возвращения власти — не будет. Лучше обладать одной преданной собакой, чем державой негодяев. Одна просьба: излечи собаку, царь, и я покину пределы царства. Я разыщу одного человека, достойного, чтобы ему служить. Ни один человек не имеет права командовать многими людьми. Он обязан служить пользе хотя бы одного человека.

— Путано ты рассуждаешь, — приступил к умничаньям царь. — Ложью насыщены твои рассуждения. Ни один царь, потерявший власть, не умиротворялся. А ты потерял власть, ибо моя власть скреплена клятвой: глиняный ковш мы наполнили вином, примешали к нему кровь, уколов шилом руку, погрузили в чашу меч, стрелы, дротик и секиру, призвали в свидетели богов и выпили смесь из вина и крови. Мы соблюли закон, и царь — я.

— Излечи собаку. И я буду соблюдать закон.

— Понимаю! — провозгласил царь с выражением, будто совершил открытие, в корне изменяющее судьбы вселенной. — Понимаю: пока я буду лечить собаку, ты возмутишь воинов и меня заменишь.

— Не возмущу я воинов. Не заменю тебя. Ибо такой благородный царь, как ты, незаменим в такой благородной державе. Излечи собаку, — так уговаривал Скиф брата.

— Э, — произнес царь. — Ты — хитрец, но — и я! Поглядим, как ты запоешь, когда я вылечу собаку саблей.

Но царю не посчастливилось услышать песню Скифа.

Собака дремала, болезненно подрагивая. Владыка царственно вынимал саблю из ножен, вынимал замедленно: какое впечатление произведет на Скифа это замедленное вынимание сабли. Но и вынуть саблю не посчастливилось царю. Царь вынимал саблю — окончательно вынул ее Скиф. Это состоялось мгновенно: Скиф ударил царя по запястью, запястье, сломанное, повисло,

слезы брызнули из умничающих очей царя. Скиф окончательно вынул саблю из ножен брата и разрубил его надвое, как дыню: половинки распались, каждая на своей ноге.

Старцы онемели.

Скиф угрожающе поднял саблю.

— А теперь, негодяи, объявите.

Не много минут истекло, а все воины столицы собрались возле дома Скифа. И собрались все женщины столицы, исполняя песни и пляски под звучанье музыкальных инструментов. И все жители собрались, влача корзины плодов и ягод. И мальчишки собрались, и много было среди них сыновей и внуков Скифа, и они взгромоздились на плечи взрослых, ликующе повизгивая в предвкушении зрелища возвратившегося отца и деда. И собаки собрались, невиновато размахивая хвостами.

Столица ликовала.

Раздавались возгласы.

— Кто может излечить собаку?

И несколько десятков старух вынырнули из центра сорища. Они приблизились к собаке, взмывая, как дельфины.

Опоздали старухи.

Собака умерла.

Все царские украшения Скиф зарыл в Азовское море. Скиф нырял, раздвигал камни дна, зарывая под камни войлочный колпак царя, браслеты, драгоценные пряжки. Только массивный золотой обруч не зарыл Скиф и днадему из электрона: сплав золота и серебра.

Диадему Скиф подарил Медее.

Он пришел в Колхиду, пришел к Медее. Никто не был удивлен. Все поняли: так должно. Вначале поговаривали: вот раб Медее. Позднее — только иноземцы зарились на золотой обруч Скифа, обрамляющий шею; но, глядя в огромные глаза добровольного раба, отступали, пятясь.

Скиф ожидал Медеею. Алый череп Скифа пылал как факел.

Этот кораблик, двухвесельный, однопарусный, построила Медеея под руководством Скифа, назвав кораблик «Скиф». Скиф угрожал, чтобы назвала «Медеея». Но

Медее важно поднимала палец: мол, она постигла тайны кораблестроения, окончательно известно ей, что кораблю имя «Скиф».

Скиф обучил Медее врачеванию и различным языкам юга и востока, ибо, совершая набеги на различные области, познавал язык этих областей. Скиф обучил Медее и морским ритуалам.

Он — команда корабля.

Она — капитан.

— Свежая провизия? — осведомилась Медее строго.

Скиф кивнул.

— Парус?

Кивок.

— Быть буре?

Скиф кивнул. В безмятежную погоду их корабль не плывал.

— А боги? Благосклонны?

Скиф махнул рукой: к кому благосклонны боги! Скиф тронул рукой корму: корабль благосклонен.

Скиф отвязал канаты и поднял якорь.

Вдоль побережья Черного моря Колхида образовывала продолговатый треугольник.

Тучи группировались по расцветке: синие — слева — двумя квадратами. Черные — справа — более разнообразные по форме, с тяготением к овалу. Желтые — длинные, как стебли водорослей, — пересекали черные и синие группировки. В центре — красные — образовывали несколько зазоров и клякс.

Внезапно в черной группировке возникла маленькая молния. Она разломилась, на изломе образовались три тонкие прямые молнии; они перерезали синюю группировку и вонзились в красную. Тотчас тучи раздвинули туловища: между ними торжественно, как нежно-голубое знамя, развернулось небо.

Оно мгновенно почернело.

Заскрежетало.

Море облегченно вздохнуло. Напряжение предгрозы прошло. Разразился ливень.

Скиф придерживал руль. Медее, хохоча, высовывала лицо из помещения на корме, утепленного войлоком. Гроза! Это Зевс гневался на Прометея.

Что такое безлюдье? Когда человек осознает, что данная природа — безнадежна, природа получает наименование: безлюдье.

Скалы белели, как скелеты.

Вдалеке синели контуры Кавказа — оттопыренные синие локти с белыми налокотниками снега. Желтозем выжжен. Растения сгорают, не имея сил выбраться на поверхность почвы. Можно ли здесь разыскать след человеческой ноги? Разве безумец или самоубийца отважился бы возвести вот здесь жилище. Ни птицы. Ни червя.

Знал Зевс, какую выбрать страну для наказания Прометея.

Работящ Гефест. Он добросовестен. Единственный сын Зевса и Геры, он при рождении оказался хил и хром. Озлобилась Гера, швырнула Гефеста в море, как огрызок яблока. Такой сын знаменовал перед богами неполноценность материнства богини брачных союзов.

Неизвестно, как рос Гефест в море, достаточно ли было его молодому организму сырой рыбы, мяса крабов и водорослей; известно только, что вместо пресной воды он догадался употреблять лимфу рыбы.

Волосат Гермес, лоб не шире мизинца.

Не хитроумен Гефест. Безобиден кузнец. Простил он Гере, что зашвырнула его в море, как огрызок яблока. Приютили боги на Олимпе уродца. Выделили ему кузницу. Трудись, Гефест, выковывай для Олимпа кубки, золотые треножки на колесиках, чаши для пиршеств.

Раздувай, Гефест, прокопченный труженик, единственный труженик Олимпа! Несложны орудия твоего труда: печь и раздувальный мех, тигель, наковальня, молот и клещи, да бронзовое цилиндрическое долото, просверливающее камень, несложны орудия труда, а какой дворец выковал отцу из бронзы, серебра, золота!

Иногда боги, предчувствуя дразги между Герой и Зевсом, приглашают Гефеста на пиршество. Тогда Гефеста прополаскивают в благовонной ванне: обоняние богов не переносит аромата копоты и пота. Удовлетворен кузнец приглашением, ведь на пиршестве он — равен богам; ковыляет Гефест на хилых искривленных ногах вокруг пиршественного стола, веселя всех.

И Зевс прекращает дразги.

Разве не ты, Гефест, выковал обручальное кольцо для Прометея, а теперь — цепи?

Твоя кузница трудолюбива. Она сутками выковывает предметы, указанные богам.

«Ты выковываешь плуг для пахаря и панцирь для воина, убивающего пахаря. Ты влюблен в собственное трудолюбие, ты и сам превращен в орудие кузницы, которой безразлично, что выковывать, — пылал бы горн!»

Так думал Прометей, ведомый Гефестом к скале:

«Когда я вынул огонь из горна твоего, ты ведь видел, Гефест, что я вынул, но сделал вид, что не видел! Ты доброжелателен, кузнец, ведь желал ты, чтобы люди пользовались огнем, но почему ты сообщил Зевсу о вынудом огне? Друг ты или делал вид, что друг?»

Так думал Прометей, а Гефест, ковыляющий сзади, виновато лепетал:

— Друг я был тебе, друг и есть! Ах, если бы мне смерть — принял бы ее за тебя, Прометей, но увы мне — я бессмертен. А Тартар — страшит! Да, я исполняю волю Зевса, но как — плача!

Гефест забежал вперед, показывая Прометею свое волосатое, плачущее лицо. Прометей махнул рукой: иди, мол, назад, на место. Гефест повинился.

— Да, я выковал для тебя цепи, — всхлипывал Гефест, — но пойми: я не желал выковывать их, но увлекся. Ведь я — кузнец; редко удается кузнецу выковать такие искусные цепи.

«Когда на Земле был холод и мор; когда не существовало человека, который не раб, — о, как многообещающе и убежденно воззывал ты, Зевс, богов и титанов противоборствовать Крону!»

Какие плоды сулил, какие злаки предполагал, воззывая противоборствовать Крону!

Злаков ли жаждал, плодов ли? Власти жаждал ты, Зевс, только власти!

Вспомни, эгидодержавный ныне, как человек и титаны, терзая об окаменелую почву необутые ноги, восстали против Крона!

Что ж! Крон в Тартаре. Солидарные с ним титаны в Тартаре. Но не приписана ли победа твоим тощим молниям? Не поделена власть между прихлебателями и суесловами, сестрами твоими, братьями по утробе? Как им вылизывать ступни твои льстивыми языками?

Не появляйся на Олимпе, титан, если язык твой нектаром не смазан!

Доверял тебе человек, Зевс.

И я — виновен в этом.

Это я первый провидел обман твой, но восклицал: слава!

Это я вынул божественный огонь: обучив человека употреблять мясо не сырым, утеплив его жилище — именем твоим, Зевс!

Это я укротил молочный скот и привел его в жилище человека — именем твоим, Зевс!

Это я соорудил колесницу, запряг в нее обузданных коней в помощь передвижению человека.

Это я внедрил в человека надежду, впервые за много тысячелетий. Это я укротил дикого быка, вовлек его в ярмо, чтобы люди пользовались им, обрабатывая почву. Это я изобрел первый корабль и увенчал его парусом, чтобы человек востока и юга имел возможность общения. Это я внушил человеку счет, чтение и письменность, приобщил к искусствам, о чем и не подозревал человек, тысячи лет прозябая. Это я познакомил человека с металлом, с его добычей и обработкой. Это я показал человеку лекарственную мощь растений, и человек преодолел болезни.

Все это я осуществил именем твоим, Зевс, и возблагодарил человек — тебя.

Так во веки веков: титан, помогающий богу в борьбе за власть, искренен и опасен. У него слишком много деяний, а это — опасно: бог, возведенный во владыки, желает, чтобы ему не только приписывали деяния, но и внушали, что эти деяния он совершает самостоятельно.

Так покарал ты меня, Зевс!

Только не увлекайся, тучегонитель!

Ты справедлив: за все, что я совершил именем твоим, — позор мне и цепи!

Нехотя приковывает Гефест Прометея к скале.

Нехотя и плача:

— Глубокая скорбь угнетает меня, Прометей!

Старается Гефест расположить руки титана поудобнее на скале, чтобы стоять Прометею много веков у скалы — поудобнее.

Ни звука не издал Прометей, когда Гефест, поколебавшись, пронзил его грудь железным стержнем.

— Как я скорблю о тебе, Прометей! Но, если я не проделаю это, другой проделает, а меня принудят скорбеть о самом себе.

Медея и Скиф наблюдали, как суетен Гефест, как искренне поражен скорбью, хотя слова его — высокопарны.

Отговаривал Скиф Медею от этого зрелища, но как женщину отговоришь?

— Дело исполнено, Зевс! Порадуйся, отец! — Гефест яростно сошвырнул молот со скалы.

Но раздался вкрадчивый голос владыки:

— Ты обязан был отложить молот. Почему — отшвырнул? Как разъяснить это движение? Не протест ли?

Гефест высморкался, выгадывая время.

— Я утомился, работая молотом. Отдохну, сходя со скалы.

На Олимпе, очевидно, удовлетворены. Во всяком случае, Олимп молчит. Зевс видел, что действительно Гефест утомился нести молот на плече, еще поднимаясь на скалу, он привязал к молоту веревку и поднимался, волоча его.

Кровь падала на раскаленные камни, камни забрызгивая; затвердевала, пузырилась, крошась.

Медея и Скиф приблизились к титану. Медея ухватила бурдюк с вином. Она приложила палец к веку Прометей. Титан приподнял веки.

— Мы принесли тебе пищу. Хорошая пища: зеленый лук и шашлыки бараньи, горный чеснок и вино из винограда.

Прометей рассмеялся:

— Варвары, наивные безумцы, я благодарен, однако — уходите. Уходите, не возвращаясь.

Когда легендарный корабль «Арго» подплывал к побережью Колхиды, над парусами проплыл орел. Это был орел Зевса. Он деловито направлялся клевать печень Прометей. Печень орел клевал бесподобно, а направление на Кавказ определять не обучился. Впереди орла летел почтовый голубь, указывающий направление.

Аргонавты увидели орла, и благородный Теламон воскликнул:

— Мы освободим Прометей!

Промолчал Язон.

Клитий высокомерно приподнял подбородок. Он опроверг Теламона, продолжив якобы его восклицание:

— ...чтобы обесмыслить наш легендарный поход за руном, ибо нас испепелит ненависть Зевса.

Он всегда был прав, этот Клитий.

Он всегда произносил до того справедливые и честные слова, что выслушивать его было больно.

III. ГЛАВА КОЛХИДЫ

Постарался Дедал. Дворец Эту он соорудил в форме девятиконечной звезды. На остриях звезды — башни из белого известняка, они треугольны, четырехугольны, пирамидальны. Кварцевые прослойки в известняке мерцают зеленью. Стены — из целых плит красного гранита. Прогал для ворот облицован эллинским мрамором, ворота окованы медью. От ворот восемнадцать колонн белого мрамора — в два ряда — образуют портик. Остановились возле одной из колонн, остановились слева и справа, увенчанные бляхами — на локтях, на коленях и на груди. Бляхи позвякивали. Восемнадцать фонтанов — около каждой колонны. В струях подпрыгивали разноцветные рыбки; цветы, громадные и только красные, росли прямо из мраморных колонн.

Ничему приучился не удивляться Язон, однако любопытствовал.

Он заложил руку за голову, поджидая Эета, заткнув за пояс посох мира — трость из кости слона, украшенную у рукоятки резными виноградными гроздьями, колосьями злаков.

Так в первый раз увидела Язона Медея.

Герой напоминал статую, какими Дедал оккупировал Колхиду, только это была загорелая статуя, со смысленными глазами, движущимися мускулами. В Колхиде таких юношей — не попадалось.

Появился Зет. Вернее, не Зет, а носилки, несомые двенадцатью обнаженными рабынями (ни фигового листочка, — первый удар по воображению иноземца). Все внимание Язона переключилось на рабынь. Заранее подготовленные слова приветствия улетучились.

А Зет был старичок тщедушный, как былинка, на бледно-зеленом стебельке его тельца не произрастало ни волоска. Когда созревала необходимость появиться, Зет появлялся на носилках под многоугольным балдахинном. Под балдахинном он приспособил медный рупор, преобразовывающий хилые звуки речи царя в мощные.

— Иноземец! — взревел балдахин.

Язон мысленно представил человека, обладающего таким голосом, и ему стало плохо. Чтобы сосредоточить-

ся, направил Язон оба корабля своих глаз по розовым изгибам тел двенадцати рабынь, однако не сосредоточился, наоборот — более рассеялся.

— Давай сюда свою палочку! — проревел голос,

Из-под балдахина высунулась железная рука (Дедал две недели трудился над изготовлением руки), рука сжала трость, и трость рассыпалась, как оброненный букет маленьких цветов. Не трус был эллин, а улыбался кисло, припоминая мучительно свою тираду — приветствие, тщательно заученное на корабле.

— Твое неподражаемое царство... Твое царственное неподражайство... — промямлил герой.

Балдахин загрохотал, как пятнадцать колесниц:

— Положи, эллин, изощренный язык свой на плечо свое. Пускай язык отдышится чуть-чуть. Сегодня, когда солнце начнет заходить, когда оно будет различимо над землей на высоте, не превышающей рост царя Эета, забирай своих разбойников и приходи во дворец. Устрою пир.

Язон перепутал все возвеличивающие эпитеты:

— Извини, о царственнейший из величествующих. Сообщи, пожалуйста, какой твой рост, чтобы мы высчитали, когда приходить.

Балдахин развернулся кашалотом, двенадцать юных рабынь, грациозно ступая обольстительными пальчиками, унесли Эета.

Математику и астрологию изучил только Линкей.

Исходя из размеров руки Эета, приблизительно и с недоумением описанной Язоном, Линкей высчитал: если пропорции тела у царя соблюдены, рост Эета равен семи метрам. Выдающихся великанов наблюдали греки, но и выдающиеся не вырастали выше трех метров.

Затосковали герои.

— Он один передавит нас, как комаров, — признался честный Теламон.

— Ну, не как комаров, а как зайцев передавит, — размышлял охотник Мелеагр.

— Кто знает, — неопределенно высказался Полидевк, — возможно, ему и неизвестны правила кулачного боя.

Колайд и Зет, два юных гвоздика с лошадиными челюстями, уже успели украсть где-то корзину бараньего мяса. Они с веселыми восклицаниями вползли на ко-

рабль, но загрустили, подперев лошадиные челюсти ладонями.

— Что же делать? — спросил последовательный Идас.

— Нужно выпить, — подумав, заключил младенец Кастор. Эта продуманная формулировка снискала Кастору славу одного из самых способных молодых философов Эллады. Невзирая на свои девятнадцать лет, невинную девичью талию и ясные серебряные очи, этот младенец успел прославиться в Элладе как смелый перспективный пьяница, обжора и обожатель женщин.

Клитий выжидал, что скажет Язон, чтобы мгновенно и во всеуслышанье подтвердить его мнение.

Линкей прикидывал, где же должно оказаться солнце, чтобы точно соблюсти время пира, прикидывал, но не прикинул; и герои затосковали окончательно и бесповоротно.

Между тем на берегу собрались колхи.

Мало отличались колхи от греков, разве что чище: греки втирали в кожу оливковое масло, колхи вымывали грязь при помощи глины и пресной воды.

Колхи побогаче принесли сосуды; таких сосудов и в Греции — хоть отбавляй. Зато сердоликовые и стеклянные бусы привлекли внимание греков.

Кавн выменял запасной панцирь на четыре нити бус и быстренько понес бусы Библиде. Только таким путем он избавлялся от притязаний Библиды, своей единокровной сестры.

Уж кого менее всего хотели брать в плавание, так это Библиду. Кавн убегал от Библиды, примыкая к аргонавтам. Библида влюбилась в Кавна, и любовью отнюдь не сестринской. Ни одна посторонняя женщина так не любила Кавна, даже невеста. Любовь Библиды была обречена; тем более она любила Кавна.

Ничего не умел Кавн. Только наигрывал на кифаре, подражая Орфею. Так думал Язон: подражая. Но знал Орфей, что великий поэт — Кавн.

— Поэт обязан быть авантюристом, — внушал Кавну Орфей. — Только величайшая наглость в искусстве создает величайших артистов. Стеснительность означает забвение. Все артисты паясничали, но паясничали от отчаяния, от сознания своей необходимости и непонимания этой необходимости миром. Великой славе кроме великих мелодий необходима осознанная серия великих скандалов. Это — печальная, но непререкаемая истина.

Кавн согласно кивал, но скандалам не способствовал. Худо ли так энергично рассуждать Орфею, гибкому, как плеть, великолепному гимнасту, умеющему беседовать увлекательно и с рабами, и с учеными, и с царями!

Болезненный и мнительный, Кавн мечтал отделаться от Библиды. Он рассказал свою историю аргонавтам чуть не плача.

— За подобную наивность нужно выпить! — заулыбался Кастор. — Мой отец, Зевс, разве не женат на собственной сестре? В Египте, к примеру, цари больше ничего и не делают — регулярно женятся на сестрах!

Но Кастор мгновенно погасил улыбку, увидав, как страдальчески опустил бледное лицо Кавн. Геракл молниеносно ударил Кастора пальцем по носу, а Полидевк уже надевал кулачные ремни, чтобы защитить брата, когда Орфей сказал:

— Не печалься, Кавн, ты поедешь с нами.

А чтобы избежать недоразумений, объявил, что ни одна женщина не ступит на борт корабля, именуемого «Арго».

Очень обиделся Кастор:

— А Эмпуса? Как же мы с Полидевком — без кормилицы?

Язон знал: не в кормилице дело, дело в том, что кормилица приобрела для Кастора четырех прекрасных рабынь. Не было рабынь для Язона, он и сам ратовал за отплытие без женщин, только эллина оскорбил безапелляционный тон Орфея.

— Ты что же, фракиец, — взвился Язон, — распоряжаешься? Моли Зевса, что мы тебя, фракийца, взяли на корабль эллинов, но не распоряжайся.

Орфей медленно приблизился к Язону.

Назревала ссора.

Полидевк опять надел кулачные ремни. Как ни странно, у Полидевка возникло необъяснимое желание побить Язона, хотя в такой ситуации ему было бы сподручнее побить Орфея.

Тогда к ссорящимся подошел рыжий Теламон и сказал внятно:

— Прекратите. Ведь официально Библида — моя невеста. Я люблю ее — и оставляю ее. Орфей прав. На военном корабле — женщины — обуза.

Рухнула Эмпуса, разузнав о таком решении, рухнула на палубу, ворочая кобыльими очами, ухмыляясь умильно. Двуногий слон, она обгрызала ногти, хитренько по-

глядывая на героев. Она прекрасно сознавала: созови все население Иолка — всему населению не отодвинуть ее скалистое, пузатое тело.

Кормилица осталась на корабле, но без прекрасных рабынь.

Когда корабль отплыл так далеко, что ни один гребец не отважился бы направить одинокие весла к берегам Иолка, обнаружили Библиду. Она упряталась в глиняную бочку с вином, прикрыв бочку сверху щитом Идаса. Так и стояла много часов по горло в вине, так и лязгала зубами простуженная Библида.

Перед пиром Калаид и Зет ухитрились уворовать восемь баранов. Так прекрасно поладили вкусные животные и гвоздики: бараны прибежали за братьями на корабль, не бляя.

Перед пиром Эмпуса привела двух непонятных девочек для диоскуров. Девочки стыдливо прикрывали тряпицами очи, но отдались Кастору и Полидевку без нудных уговариваний, без кокетства, безвозмездно.

Иноземцы им были любопытны.

Медея обезумела.

На этом повествовательная часть путешествия аргонавтов закончилась.

Медея обезумела, выдав Язону тайны устройства механических драконов царя Эета.

Вышагивая по своей темнице — по внутренностям храма Гекаты, — Медея не без удовольствия припоминала спектакль, скрупулезно и гениально разыгранный Язоном.

На этот раз колесница Эета прибыла под черным балдахинном. Правил колесницей Абсирт, брат Медеи, скудомный царевич. Его лицо было удлинено, как лицо шуки. Призвание Абсирта — лошади. Не будь он царевичем, лучшего конюха в Колхиде не сыскали бы и в самых отдаленных пещерах и рощах.

Поле Ареса уже огибали толпы колхов. Колхи большими плодами свисали с окружающих деревьев, колхи лягушками прыгали по окружающим горам, предвкушая зрелище.

Орфей внушал Кавну:

— Ты богато философствуешь, Кавн. Еще ни один философ не изменил положение людей; если изменил — к

худшему. Существуют истины вечные: любовь, смерть, зачатъе, зерно, соль. Никто не в силах поколебать эти истины. Любое философское течение — ложно. Ни единым, даже самым задушевным, словом не превратишь клопа в зерно пшеницы. Ум — это прежде всего мелодия, образ. Ни одному художнику еще не были свойственны рассуждения отвлеченные, только — сравнительные. Одна скульптура Тала полезнее, чем миллионы силлогизмов Аристотеля. Всякая философская концепция — ложна, ибо она заковычивает художника, а мир — многообразнее любой концепции. Ни один человек не сумел познать себя (даже себя!), уж не говоря о мире. Задача художника — запечатлеть: как видит его зрачок, как слышит его ухо, как ощущает его кожа; тогда художник — живет и дышит, а серьезные размышления ему приписывают читатели, зрители, слушатели.

Тогда из пещеры выбежало два медных быка. Из ноздрей быков свисали треугольные знамена пламени. Быки — выли. Они бежали неумолимо на Язона. Но Язон знал: стоит легонько ударить быков по кончикам рогов, механизм сработает, послушные быки сами впрягутся в плуг.

Колхи ликовали, когда Язон, делая вид, что впрягает быков, пошевеливал руками. Театрально погоняя быков копьем, Язон пропахал борозду, бросил в борозду двести зубов дракона и, невозмутимый, направился к берегам Фазиса, на виду у многоголосой толпы, — утолить жажду.

Он бесстрастно созерцал, облизывая влажную ладонь, как на борозде вырастают вонны: вот показались красные наконечники копий, вот вынырнули медные шлемы, как скороспелые мухоморы, вот — напряженные металлические лица воинов, и — сползла земля с их геометрических плеч. Язон знал: если в эту секунду швырнуть на середину борозды камень, воины выпрыгнут из борозды и приступят к взаимострелению.

Не выдержал Теламон. Когда воины выпрыгнули из борозды, обдавая друг друга черными брызгами земли, Теламон обнажил меч и побежал помогать Язону.

— Назад! — обозлился Язон. Герой не имел ни малейшего желанья делить славу с кем бы то ни было. Эллины вынырнул в центре побоища, оглядываясь осмотрительно: безмозглые солдаты могут случайно задеть мечами.

Механическая армия сражалась по заранее задуманной Дедалом программе, сосредоточенно, плавными движениями клинков и копий поражая друг друга.

Язон неутомимо бегал от воина к воину. Его доспехи полыхали, оружие, приподнимаемое и опускаемое под одобрительные вопли колхов, — полыхало.

Все воины пали, последние двое — пошатываясь, уже по инерции, и шевелились на земле, соображая: окончательны ли разрушены их механизмы?

Устои государства Эета заколебались. Оно, государство, было уже достаточно колонизировано греками, но не до конца. Еще умел Эет напугать иноземцев механическими игрушками. Сегодня царь понял: Медея выдала тайны игрушек, она, больше некому.

По невидимому мановению железной руки Эета четырехста вооруженных колхов двинулись на греков. Остальные, прыгивая с деревьев, сбегая с гор, подбирая сучья и камни, — поддерживали агрессию четырех сотен. Греки приготовились погибнуть. Они встали спиной к спине — двенадцать стебельков — против урагана в двенадцать тысяч баллов. Чья-то нетерпеливая стрела угодила в Идаса. Идас упал. Стрела торчала из горла.

Тогда на середину поля неторопливо вышел Скиф. Он повелительно поднял руки. Толпа замерла. Скиф повернулся к эллинам — бегите.

Скифа заковали в тройные цепи и положили в подвал храма Гекаты. Медею лишили прав наследства и назначили пожизненной пифией в храме Гекаты. На всякий случай заключили в храм и Абсирта, чтобы охранял Медею.

Корабль аргонавтов оцепили лодками и запеленали сетями. Эет требовал выдачи Язона и его казни в трехдневный срок. Два дня прошло. Приближался вечер третьего дня.

А в тот вечер, когда Эет принимал иноземцев, был дан пир. Чтобы не очень вводить незваных гостей в заблужденные относительно желанности их появления в Колхиде, Эетом был дан рыбный пир, пир — оскорбление для высшего сословия греков, к которому принадлежали герои. Они называли себя «едоками мяса».

Рыбный пир, к огорчению Эета, не произвел оскорбительного впечатления: рыба жареная, вяленая, маринованная, соленая, вареная, икра, студень рыбий, рыбы хрящи, молбка на продолговатых блюдах, приправленная копнами зеленого лука, головками лука фиолетового, рыба, приправленная соком фруктов, яблочным соусом,

рыбьи мозги, рыба печень, подаваемая без приправы, в собственном масле, башни лепешек, желтых и коричневых, овощи в корзинах, вина в бурдюках и сосудах, украшенных ручками в виде зверей. Сам Эет под алым балдахинном, несомый двенадцатью рабами, завернутыми в черно-белые ткани; только руки, придерживающие посылки, оголены, — ирония Эета не добралась до сознания эллинов; изголодавшиеся мореходы, они с пристальным вниманием поглощали оскорбительную пищу «едоков рыбы».

Эллины даже развеселились! Женщины Колхиды не имели права появляться на пирах Колхиды; и не было разнузданных разговоров.

Полидевк спел песню. Пародируя Орфея, он прижал к животу глиняный кувшин и запел низким голосом.

Пой, кувшин, пой!

Как плыли в Колхиду, мы, герои, — пой, кувшин!

Позади остров Лемнос, позади полуостров Кизик, впереди берега Мизии.

И сказал предводитель Язон: пора пополнить скудные запасы пищи и пресной влаги.

Так сказал Язон, а думал Язон о другом; о чем думал Язон — пой, кувшин, пой!

— Ты сломал весло, — сказал Язон Гераклу, — не кажется ли тебе, что кораблю необходимо весло новое?

Геракл понял намек, он высадился в Мизии, возле города Пергама; пошел Геракл в лес, разыскал в лесу пихту, вынул с корнями дерево, как вынимают соломинку из океана; принялся Геракл вырезать из пихты весло, с любовью и прилежанием.

Никому не сообщил Язон, что Геракл в лесу.

Пой, кувшин, пой!

Когда засияла утренняя звезда, прозрачная звезда утренней свежести, отплыли аргонавты, не подозревая, что Геракл в лесу. А Геракл в лесу вырезал из пихты весло, с любовью и прилежанием.

И отсутствие Геракла заметил Кави и сказал Теламону; и сказал Теламон:

— Ты умный предводитель, Язон. Сначала ты сказал нам: кто не умсет шевелить мозгами — обязан шевелить веслами. Ты умно пошевелил мозгами, Язон: отделался от Геракла, и — некому состязаться с тобой в избытке славы.

— Эй, вы, — заюлил Язон. — Геракл по велению Зев-

са возвращается в Грецию, чтобы совершить подвиги, числом — двенадцать, а вы — на меня!

Поверил честный Теламон, что Язон о другом не думал, а думал Язон — о другом.

Пой, кувшин, пой!

Медея обезумела.

Приближался третий вечер третьего дня.

Медея металась по своей религиозной темнице, примеряя диадемы, браслеты, ожерелья. Она облюбовала золотые серьги: на щитке — чеканное изображение колесницы со скачущими конями, на колеснице — богиня Ника; она управляет конями. По сторонам скачущей колесницы — два крылатых гения. На двенадцатимиллиметровом щитке это изображение. Подвески серег украшены сложным орнаментом: филигрань — тончайшие напаянные проволочки и зернь — подобные каплям пара шарики — образовывали различные узорные цепочки, сплетенные из золотых паутинок.

Медея металась по своей религиозной темнице. Храм Гекаты. Он опоясан стеной. Толщина стены — около восьми метров. От входных ворот начинается мощеная дорога к храму. Вдоль дороги, с обеих сторон, статуи из бронзы. Это — священная дорога, она ведет к храму, а храм на высокой двойной террасе, в центре священного круга, обрамленного оливковыми деревьями.

Медее не доверили главное помещение.

Ее заточили в примыкающее, в котором из-под пола выступала расселина скалы, извергающая одуряющие испарения.

Раньше здесь жил прорицатель Мопс.

Днем, одурманенный испарениями, прорицатель впадал в бредовое состояние, издавал неясные восклицания, — в общем, прорицал. Храм посещался без энтузиазма, колхи посмеивались деликатно, не вникая в прорицания Мопса.

Работал Мопс не более часа в сутки, обрюзг, разжирел, не умывался, подремывал на медвежьей шкуре; и — умер.

Что произошло этим вечером — потом никто не помнил.

Армия колхов бодрствовала на берегу.

Поблескивали медные шлемы. В сиреневом воздухе вечера — костры.

Теламон запомнил: он грыз яблоки, рассеянно сплевывая косточки на пьяного Кастора.

Библида запомнила: она примеряла какие-то украшения, купленные Кавном. Кави регулярно отвлекал влюбленное внимание сестры.

Тифий запомнил: на руле образовались колонны кристаллов соли, он хотел отполировать руль, да забыл.

Полидевк и Линкей чертили планы Диоскурии, города, который они мечтали построить в Колхиде. И Полидевк, и Линкей обожали строительное дело. Собственно, их мало волновало руно Язона. Они мечтали построить город.

Язон запомнил: он переоделся в одежды колха и проник в храм Гекаты. Чтобы Язон разглядел ее красоту, Медея зажгла двенадцать факелов, а золотос руно положила возле расселины скалы.

Язон запомнил: Медея была так прекрасна, что у него задрожали колени и губы; он взял руно, а силы воли уйти — не доставало, пока слабоумный Абсирт, пробудившись, не прошептал чудовищно тихо чудовищно нелепую фразу:

— Извини меня, Медея, но ведь руно — золотое!

Царевич и выкрал руно в священной роще, под испепеляющими взглядами страшного механического дракона, испугаться которого у Абсирта не хватало разума.

Когда прошептал царевич, Язон машинально, по привычке воина, бросил копье в сторону шепота.

— Ты убил его! — вздрогнула Медея.

— Ладно, поедешь с нами! — сказал Язон.

— Он — мой брат! — отступила Медея.

— А я — твой муж! — задохнулся Язон.

Что произошло позднее — никто не помнил. В сиреневом воздухе вечера пылали неподвижные костры.

Эмпуса запомнила: вокруг «Арго» проскальзывали светлые, вечерние рыбы, а потом на дне моря запузырились маленькие фонтанчики, а потом со дна моря поднялись гигантские водяные грибы.

Вот что запомнила Эмпуса. Но если бы кормилице доверили писать мемуары, она запомнила бы и не такое.

Каким образом остался в Колхиде пьяный Кастор, а не Линкей, каким образом не осталась в Колхиде с диоскурами Эмпуса, каким образом очутился на корабле Скиф — никто не помнил.

Как просочился корабль между Сциллой и Харибдой?
Как промелькнул мимо острова сирен?

Герои опомнились только тогда, когда судно понесло
в сторону Ливийской пустыни.

IV. ГЛАВА ЛИВИЙСКОЙ ПУСТЫНИ

Десять дней мы шли по Ливийской пустыне, десять
дней и еще два дня.

И на двенадцатый день мы увидели караван. Верблюды
плыли, как желтые лебеди, кивая головами, крупными,
как у быков, продолговатыми, как у змей.

Караван возник на двенадцатый день. Купцы из Малой
Азии везли рабынь, пальцы девочек унизаны жемчугом.
Между верблюжьими горбами воздвигнуты глиняные
бочки, зелено-коричневые, наполненные водой. Когда
верблюд прихрамывал, грузные брызги воды взмывали
над бочками, брызги — овальные белые рыбы.

И мы нагрянули на караван — лихорадочными ладонями
задержать брызги.

Это был мираж.

И тогда рабы поставили корабль на дюны и сказали:
— Дальше ни шагу.

И тогда Орфей заплакал.

Это было удивительно. За двенадцать дней мы увидели
первые капли влаги. Орфей плакал беззвучно, неприкаянно,
и кифара за его спиной подрагивала, струны подрагивали,
дребезжа. Удивительно: плакал Орфей.

Иронический фракиец, Орфей не плакал, даже когда
умерла Эвридика. Он замер. И не было ни одного существа
на земле, не сочувствующего молчанию Орфея.

Тогда пошел Орфей на юг Пелопоннеса, к пещере Тэнара,
через которую пробрался к берегам подземной реки Стикс.
Вода Стикса недвижна. Ни устья, ни истока. Нет у воды
дна, ничто не проживает в Стиксе — ни рыба, ни амeba.
Вода холодна: если погрузить палец на долю секунды,
палец сведет судорога.

Тени умерших перевозит через реку Харон.

На земле Харон был палачом. А у кого на земле более
трудовая биография, чем у палача? Даже кузнец задувает
горн, даже раб серебряных рудников отдыхает ночью.

Редко снимал одежды Харон; дремал — пугливо, при-
держивая у бедра широкий меч — орудие труда.

Вот почему Аид поручил Харону занятие нетрудное — тени умерших перевозить. Если бы тела умерших — не осилить Харону, тени тел — легко.

Два зуба сохранилось у Харона. Они в глубине рта, как две задержавшиеся перелетные птицы. И ноздри, и щеки — бульдожьи. Добросовестно исполняет обязанности Харон. Все же — работа.

А какое количество лет слоняются тени умерших по Аиду, постанывая от безделья? Даже Сизифу завидуют, Сизифу, бездарно вкатывающему на возвышенность камень, тотчас низвергающийся к подножию. Все же — работа.

Ведь люди на земле так безнадежно загромождают свое существование работой, что и в Аиде, без работы витая, по работе постанывают.

Тогда Орфей подправил кожаный ремень, поддерживающий кифару. Запел фракиец. И не была песня печальна — мощна и громогласна, как удары кубков из бронзы; только рефрен песни — печален; если вся песня печальна, трудно поверить ей, ибо, когда печаль монотонна, она рассчитывает на сочувствие; трудно ею проникнуться.

Мощно звучала песня; и, когда шепотом, почти без мотива, выговаривался рефрен, весь Аид содрогался от скорби; тени умерших плакали, положив лицо на ладони; плакал Харон, прислонив ладони к вескам, слезы мерцали на его бульдожьих морщинах.

Плакал весь Аид, и даже царь Аид положил подбородок на грудь чуть не плача.

Плакала Персефона — жена Аида, не от печали по Эвридике, нет, от печали по себе: каждое полугодие Персефона умирала, но для нее Аид не пел.

Плакала трехликая богиня Геката, слезы стекали по всем ее трем лицам, и приятельницы ее, Эринии, с бичами и змеями, плакали.

Не плакал только бог смерти Танат, но был задумчив горбоносый Танат, в черном застиранном плаще.

Тогда сказал Орфей Аиду:

— О великий царь! Предопределена жизнь смертного. Со временем и я сойду в твоё царство, уже не добровольно. Не было человека на земле, уклонившегося от общения с тобой, Аид! Дай же Эвридике еще попользоваться жизнью, ведь ей только девятнадцать лет. Никуда не денется Эвридика — она возвратится, Аид.

Тогда сказал Аид Орфею:

— Я возвращу тебе Эвридику, поэт. Но я не могу вернуть ее безусловно. Иначе вся вселенная сойдется в Аиде, выключившая свои человеческие потери. Вот условие: выводи Эвридику не оглядываясь. Оглянешься — в этот миг она вновь принадлежит Аиду.

Вот — условие. Вот — Эвридика.

Повел Орфей Эвридику.

Тихо в царстве теней.

И все тени передвигаются поодиночке. Даже не парно. Это на земле они общались, или казалось им, что они общаются. Или казалось им? Одинокие тени, они ритмично шелестят конечностями. Или казалось им, что они содружественны, соратники, собутыльники, атлеты, цари?

А у выхода из Аида, у пещеры Тэнара, мурлычет пес Цербер, о трех головах, и каждая удовлетворенно мурлычет.

Что-то не слышно Эвридики.

Не отстала?

Не блуждает в сумерках застенчивая, перепуганная девочка?

Не оглядывайся, Орфей.

«Эвридика?» — шепчет Орфей.

Отзыва нет.

Не оглядывайся, Орфей.

Но Орфей оглянулся.

Бледная тень жены, тихо охнув, удалилась.

В Аид.

Существует ли на земле человек, умеющий направлять стремление своего паруса не оглядываясь? Даже если грозит крушение и пучина?

Друг мой, соратник, собутыльник, атлет, царь мой, любимая!

Как предать равнодушию все, что у тебя за спиной?

Так умер Кавн.

Голова лежала на камне, открыты полные губы, зубы немного раздвинуты, будто безмятежно насвистывает сквозь зубы.

Рабы сказали:

— Дальше ни шагу,

А что дальше?

Язон приказал рабам продолжать передвижение. Он даже помахал бичом. Рабы зароптали и отодвинулись от

Язона. Такого еще не случилось, но в пустыне могло случиться и не такое.

Тогда Орфей сказал рабам:

— Мы давно не идем, а делаем шаги, сделаем еще несколько шагов. Иначе — гибель. Так — надежда.

Медея сказала Библиде:

— Пойдем, его уже нет. — а тебе жить.

— Необходимо? — Библида оскалилась. — Ты говорила, Медея, что дело не в том, что — жить, а в том, как — жить? Идите. Мы впервые будем вдвоем. Идите, Медея.

Язон отвернулся.

Медея кивнула. И побрела.

Эмпуса постояла, наклонив голову, насколько могла Эмпуса наклонить свою львиную голову, сложила на животе лапы с обгрызенными ногтями, двинулась Эмпуса, поникнув, тяжело ступая, как двуногий слон.

Теламон подбежал к Библиде, поулыбался, бледный, небритый, моргая воспаленными веками, дрожа, стащил с мизинца перстень, зачем-то подарил, решительно сел рядом, хотел что-то произнести, взмахнул локтями, нелепая голая птица, и побежал, припадая на обе ноги, рыдая.

Теламон умер вечером.

Десять дней и еще два дня мы шли по Ливийской пустыне.

Уже различимы очертания Пелопоннеса.

Уже Линкей басил мрачно:

— Вижу: на берегу две женщины и ребенок. Они машут веткой оливы. Они видят нас!

Герои устроили бешеную пляску на палубе.

Кави, запямятовав, даже обнял Библиду, она, перепуганная, замерла, ожидая, что Кави — опомнится, счастливая, закрыв глаза, ожидала.

Внезапно задымился ветер. Он превратился в устойчивый вихрь. Корабль понесло.

Сутки несло корабль. Куда? Его вышвырнуло на берег. «Арго» увяз в глине, обильной водорослями, илом, не сдвинуть его, отчаянье, и, значит, близилась гибель.

Тифий не сошел на берег. Он вцепился в кормовое весло. Очевидно, кормчий все еще управлял кораблем. Он кашлял, оттопыренные уши двигались в такт кашлю. Его рябое лицо пылало, передергиваясь. Ему нечего было делать на берегу. На суше Тифий терял жизнеспособность, потеряв море.

— Воспаление легких, — определила Медея. — Перенесите кормчего на солнце.

Теламон и простуженный Мелеагр перенесли Тифия, положили на песок, и он затих.

Так умер Тифий.

Язон сидел у берега, поигрывая бичом, подтянув колени к подбородку.

Аргонавты потерянно плутали вдоль берега. . .

Мрачный Линкей не проявлял минимального желания никуда смотреть: ни вперед, ни назад. Он один мог что-нибудь увидеть своим всепроникающим взглядом, но общался с окружающими:

— Я уже умер.

Все уснули.

Когда солнце накалило веки, Скиф начертил на песке какой-то план. Волоком, за ноги, он подтащил к чертежу «уже умершего» Линкея. Линкей оживал вяло. И план рассматривал рассеянно. Внезапно Линкей потянулся за прутиком и лениво поправил что-то в плане, одарив Скифа моментальным, но выразительным ледяным взглядом. Оба вытянулись, и оба заулыбались, Линкей — язвительно, Скиф — любовно.

Тогда соорудили каркас для корабля, связав жерди и доски.

Язон сказал:

— Корабль понесут рабы. Сложите вещи на корабль.

Рабы взвалили корабль на плечи.

Скиф пошел рядом с Медеей.

Язон сказал:

— Ты разве не раб, Скиф? Почему идешь с героями?

Скиф поднял брови, с безграничным сожалением оглядел Язона, пошел к рабам.

Медленно, но решительно Линкей пошел за Скифом.

Зажав распухший нос платком, приспособившись к плечу жердь и пузатый Мелеагр. Он задыхался, насморк вызывал слезы. Орфей, за ним Кавн пошли за Скифом. Свободны оказались Язон, Медея и Клитий, что-то нашептывающий Язону.

— Так, — процедил Язон и пошел вперед, помахивая бичом.

Тогда рабы опустили корабль.

— Так? — разъярился Язон, подымая бич.
Захирикал Клитий:
— Это упал Мелеагр.
Так умер Мелеагр, царь Калидона.

Двенадцать дней мы шли по Ливийской пустыне.

Язон твердо ступал, обмотав грудь и плечи золотым руном, которое не осилил, приподнимая, чемпион кулачного боя Эллады Полидевк.

Ты гордилась, Медея, выдержкой мужа. Ты шла, беременная, постоянно твердя себе, что необходимо родить на тринадцатый день, в саду Гесперид.

Линкея хватились на седьмой день.

Скиф ушел разыскивать и возвратился на десятый день. Он положил свою жердь на плечо и пошел. Его лысица пылала, соперничая с солнцем Ливийской пустыни.

Так умер Линкей.

Калаид и Зет попросили Орфея рассказать о пребывании на острове Лемносе. На пути в Колхиду аргонавты попали на остров Лемнос.

Рабы и герои окружили Орфея. Они расположились на дюнах, кто на спине, кто на животе, кто на корточках. Они заранее улыбались. Один Язон залег поодаль.

Орфей запел:

Кому неведом остров Лемнос? Поднимите ладони!

Виноград и яблоня, олива и фи́га обрамляют остров Лемнос.

Триста женщин процветает на острове и тридцать мужчин. Следовательно: тридцать женщин обладают мужьями, у остальных — одинокое ложе.

Пой, кифара, пой!

Царица Лемноса, царица Гипсипила, юна и податлива. Но, как ни юна, как ни податлива Гипсипила, ее ложе — одиноко. Ни один из мужей не отважился подойти к ее ложу.

Зорко наблюдают жены за супругами, направляя на них очи рабынь-шпионок. Ничтожное отклонение в сторону чужого ложа — опасно; побивают жены мужей домашней утварью и другими предметами обихода.

Пой, кифара, пой!

Тогда созвала Гипсипила двести семьдесят незамужних жен, и они обсудили это.

И постановили: это несправедливо, что у двухсотсемидесяти ложе — одиноко.

И царь Фоант, неспособный приподнять и кружку с кипящей водой, скрепил новый закон печатью: устранить святость единого ложа, устранить побивание мужей домашней утварью и предметами обихода, ибо это — болезненно.

И двести семьдесят женщин распространили новый закон по Лемносу.

Не много говорили они, но широко распахивали рот, словно глашатаи.

Пой, кифара, пой!

И редчайший муж теперь не привлекался к ложу Гипсипилы, и редчайший муж не полакомился овощами из огородов двухсот семидесяти.

А ложа тридцати законных жен стали одиноки.

Тогда созвала вечная дева Полуксо тридцать законных жен и сказала:

— Есть закон. И по закону мы не в силах наказать мужей за измену родне. Но где закон, по которому мы не в силах наказать мужей за измену родине?

Разразилась ночь.

И тридцать лемниенок, движимых патриотизмом, изрубили тридцать изменников-мужей бронзовыми топорами с двумя лезвиями, топорами, которые называют еще «лабрис».

Так на острове Лемносе остался единственный мужчина — царь Фоант, неспособный приподнять и кружку с кипяченой водой.

Пой, кифара, пой!

Тогда приблизились к острову аргонавты, узнали о событии, удивленные приятно.

— Не допустим аргонавтов! — так решительно приказала царица Гипсипила, увивая ложе гирляндами цветов, красных и синих.

— Допустим аргонавтов! — так возразила вечная дева Полуксо, патриотка. — Герои защитят Лемнос от внешних врагов.

Что за враги у Лемноса — никто не догадался, но подержали.

Облачились аргонавты в пурпурные одежды.

Полидевк впервые в жизни снял кулачные ремни.

Хорошо Язону у Гипсипилы, хорошо Полидевку пере-

бирать овощи на разных огородах, ведь любознательен Полидевк чрезвычайно. Хорошо Линкею, менее мрачен Линкей, хорошо пузатому Мелеагру, похудел Мелеагр, хорошо серьезному Идасу. А у Зета и Каланда, у двух юных гвоздиков с лошадиными челюстями, — самый шумный успех.

Нехудо и Кастору. Вечная дева Полуксо оказалась не так вечна, погреба у девы — обильны, сама дева — любвеобильна.

Пой, кифара, пой!

Только Тифий охраняет корабль, ибо уши у Тифия оттопырены, ибо Тифию не перенести разлуки с рулем. Да Теламон описывает круги вокруг своей официальной невесты Библиды; рассматривает Библиду Теламон, как муравей грандиозную живопись Дедала.

На седьмой день возмущенный Геракл решительно пошел по селениям лемнинок. Он выскивал героев, сердито расспрашивая:

— С какой целью мы плывем? Совершать подвиги?

Всех героев, как ягодки, по одному подобрал Геракл.

Парус поднят! Вперед, в Колхиду!

Пой, кифара, пой!

Язон сказал:

— Постеснялся бы, фракиец, при Медее завывать о Гипсипиле.

Орфей поднял иронические вороны глаза, треугольное лицо большой птицы:

— Постеснялся бы, Язон, использовать податливых царяц.

— Я — эллин, герой, а у героя — все правильно. Ты же — фракиец, иноземец, не имеешь права оскорблять героя.

— Я — иноземец. Только и ты запомнил. Ты — грек, потому что проживаешь в Греции. Но пеласги не твои ли предки? Не твои ли предки карийцы, долопы? Это позднее вторглись греческие племена — ионийцы и ахейцы, дорийцы и эолийцы. Не приходили разве в Грецию италы и персы, иллирийцы, фракийцы и малоазияты? Воображаешь, что твои предки удачно избежали сближения с этими племенами? Я — фракиец. Удачно ты намекнул, эллин. К прискорбию, не обучили меня фракийскому наречию. Обучили языку эллинов; но на этом языке мои песни поет вся Эллада. О том, как ты отва-

жен, герой мир узнает из моих песен. (Не груби, герой.)

Язон отпрянул, цедя ругательства. Он понимал, что судить его будут по песням Орфея.

— Погляди на Язона, — сказал Орфей Скифу. — Чем он примечателен? Один из пиратов, снарядившийся за приключениями. Однако ему повезло: с ним Орфей. Язон упомянут в песне. Для меня приключение — материал для песни, для него — бессмертная слава. Но мои песни забудут, ибо затеряются таблички, на которых они записаны. Останется только имя. Но имя останется и от него. Почему?

— Не затеряются твои песни, Орфей! — сказал Язон. — Когда я объединю все государства Греции в одно государство — Язонию, — я предаю тебя казни, но сохраню твои песни.

— Не сомневаюсь! Но только всеобъемлющее государство Язония осуществится ли? Мизинчики-цари ведь не спрыгнут с престолов, когда Язон предложит им легендарный план. Оружием забряцают цари! Воображаешь, герой, скольких соплеменников вы изуродуете, умертвите?

— Зато прочие будут проживать в могущественном государстве Язония, повелевающем вселенной.

— Желает ли вселенная, чтобы ею повелевала твоя страна? Кто — прочие? Безумцы и калеки, они будут взрывать виноградники легендарной Язонии, как взрывляли виноградники Микен и Тирифа, Пилоса и Лаконики, Афин, Фив, Орхомена! А в результате — падет Эллада, как пали египетские царства.

— Эллада не падет, если только этого желает чужеземец Орфей.

— Эллада падет через пятьсот лет!

— Эллада не падет!

— Ну — через тысячу лет!

— Фракиец! Злорадатель родины! Какопакрид!

— Эллада падет, ибо чрезмерно богата рабами и царями! Ибо рабов ненавидят цари! Взаимно! Ибо ни одно из государств — не вечно. Эллин, — остерегайся! Эллада падет и не возродится. Ни одно из государств не возродилось дважды. Остерегайся.

Мы шли по Ливийской пустыне.

Мы шли двенадцать дней; на тринадцатый день мы прибыли в сады Гесперид.

Дочери Атласа, Геспериды, врачевали нас.

Они отремонтировали корабль.

Мы благополучно переплыли море и прибыли в Грецию, в Иолк.

Иолк не ликовал.

Мы ожидали, что предпримет Язон.

Мы, то есть те, кто прибыл в Иолк, это: Язон, Медея, Скиф, Зет, Калаид, Орфей, Клитий, Эмпуса.

Геракла мы покинули на берегу Мизии, возле города Пергама. Кастор и Полидевк покинули нас в Колхиде. Они строят город Диоскурию. Идас погиб в Колхиде. Кавн, Линкей, Тифий, Мелеагр, Теламон, Библида погибли в Ливийской пустыне.

В садах Гесперид Медея родила дочь.

Ее назвали Майя.

V. ГЛАВА ИОЛКА И СПАРТЫ

От Спарты к морю вела деревянная дорога. Наложены доски на бревна и прибиты.

Медея шла только час, а до гавани еще четыре часа; шла — условно, Медея — бежала. Расцарапаны щеки, ноги — босы, веки — опухли.

За Медеей шла Эмпуса. Она действительно шла: каждый шаг Эмпусы равнялся трем стремительным шагам Медеи.

— Девочка, на сандалии, занозишь ноги! — рычала жирная Эмпуса, в каждой руке она держала по сандали.

Это была грузовая дорога. От моря к Спарте везли незначительные товары. Большой торговли Спарта не вела. Не потому, что пренебрегала торговлей, — опасалась выявить свою ресурсную и продуктовую несостоятельность.

Контролируя покоренных, Спарта создала в Мессении тысячи наблюдательных пунктов и сторожевых постов. На перевалах Тайгета, на высоте 1400 метров, солдаты Спарты успешно и храбро ликвидировали продукты Мессении. 300 лет терроризируя Мессению, 300 лет Спарта не имела возможности воевать, обладая самой организованной и обученной армией в Элладе.

По дороге продвигались колесницы, запряженные волами и лошадьми. Скуден груз колесниц — меховая одежда, легкое вооружение.

На высоких деревянных колесах илоты тащили баржу. В подражание волам, они обязаны были мотать головами и мычать.

Разглядывая скудный груз колесниц и баржу, грузженую булыжником, Эмпуса вспоминала дороги Аттики.

Эмпуса обожала все грандиозное: от празднеств до архитектуры Афин.

В молодости она с огромным уважением разглядывала повозки, числом — тысячи, перевозящие белый мрамор гэр Пентеликона и лиловый — Элевсина. Она специально возила Кастора и Полидевка в горы Пентеликона, тайком, чтобы не провели эфоры Спарты. Целое утро, до полудня, созерцали они двадцать пять рядов каменоломен. Потом поехали на юго-восток Аттики. Двое суток созерцали обнаженные красноватые скалы Лаврионских гор, опускались в знаменитые серебряные рудники. Они опускались на глубину до 120 метров, где штольни образовали целый город протяженностью в 150 километров. Иногда штольни достигали метра вышины, но в местах, металлом бедных, напоминали узкие лазы, по которым можно проползти лишь лежа, на локте. Здесь не только трудились, но и проживали тысячи рабов, погребенных заживо.

Иолк не ликовал.

Когда изрядно ободранный корабль «Арго» причалил к пристани, набережные не сотрясались от приветственных кликов населения.

Один Эсон выбежал навстречу героям. Седенький, он плакал, стоя по колено в воде, придерживая у живота правой согнутой рукой щенка.

Язон обнял отца и, ничего не разузнавая, не переседываясь, побегал во дворец Пелия. Двадцать стражников царя прокрались во дворец за Язоном. Незаметно.

Язон швырнул золотую шкуру.

— Вот руно, — выдохнул он облегченно. — Я — царь Иолка.

Пелий внимательно разглядывал героя.

— Ты прав. Руно — вот! Но почему царь Иолка — ты?

Пелий недоумевал.

— Насчет руна мы договаривались. Но не с тобой, а с мальчишкой, выдававшим себя за Язона. Ты разве тот мальчишка?

— Я не мальчишка! Я — Язон! Орфей подтвердит! Клитий! Калаид! Отец!

— Отец подтвердит,— кивнул Пеллий.— Позовите отца этого человека.

Привели Эсона. Он еще плакал и прижимал к животу щенка.

Пеллий протянул Эсону дощечку.

Эсон взял дощечку двумя руками, щенок упал на камни, взвизгнув.

Пеллий сказал:

— Поклянись, Эсон, что расписался — не ты. Что документ этот составил не ты.

— Документ составил я, — всхлипнул Эсон.

Пеллий взял дощечку и огласил монотонно:

«Я, Эсон, сын царя Кретея, клятвенно заверяю граждан Иолка, что мой сын Язон умер сразу же после рождения».

— Язона, — сказал Пеллий, — не существует,

Язон обнажил меч и кинулся на Пелия. Но двадцать стражников, притаившихся в полумраке помещения, навалились на Язона сзади. К лопаткам загнули ему руки. Язон притих. Но только стражники отпустили его, герой ухватил первого подвернувшегося за ноги. Он ухватил стражника за ноги, поднял его и обрушил на голову Пелия. Потом Язон ухватил золотое руно и прикрыл им четырех стражников одновременно. Пятнадцать стражников обнажили мечи, но — поздно. В проеме дверей появились Калаид и Зет. Негодуя. Четыре медных треножника оказались в руках у Бореадов. Мгновение — и пятнадцать стражников лежали мертвые.

Пеллий оповестил воинов. Сотня откормленных металлических эллинов окружила дворец. Сотня мечей, отполированных кровью врага и зверя, замерла у выхода из дворца. Пеллий присел на бочку с овощами, выжидая.

И вдруг сотня мечей вздрогнула. Это вошел в толпу Скиф. Просторный коридор образовал Скиф, две телеги без препятствий проскакали бы по этому коридору бок о бок.

И вдруг возле выхода из дворца упало десять воинов. Почти одновременно. Это хитрый Клитий, стреляющий так быстро из лука, что движения рук его были незаметны. Упало еще десять воинов. Еще десять.

И остальные воины, прикрывая в ужасе глаза ладонями, побежали. Это страшная Эмпуса, пошевеливая пальцами с обгрызенными ногтями, размахивая неряшливой львиной головой, наступала на толпу слева. Она наступила на толпу одной ногой, потом пошла по толпе,

доисторический слон, пошла, подминая толпу, наступая на опрокинутые головы.

Когда Язон, Каланд и Зет вышли из дворца, они увидели незабываемое зрелище. Сто тел лежало на площади. На ступеньках дворца сидели Скиф и Клитий и заботливая Эмпуса погружала пеплос в овощной рассол, смывала с товарищей брызги крови, принадлежавшей отборной сотне Пеллия.

Медея пелсенала Майю.

Язон прислонился лицом к мачте.

— Проклятая эпоха!

— Эпоха ли? — сказал Орфей. — Нет, не эпоха. Нет эпох благословенных, нет проклятых. Но замыслы каждого человека несоизмеримы с замыслами каждой эпохи. А ты замышляешь о большой славе и о большой власти.

— Разве ты — не замышляешь?

— И я. Но моя слава — не моя, она — слава моих песен. Моя власть — не моя. Власть моих песен! Поэтому я пойду на все, чтобы осуществить и славу, и власть. Не мою, — повторяю, — моих песен. А твоя слава и твоя власть — твоя и только твоя, Язон. Вот почему для тебя — проклятая эпоха.

Медея шла уже два часа. До моря — еще три часа.

Стемнело.

Пролетел филин.

Филин поймал зайца. Он выследил потерявшего бдительность зайца и убил. Ни одно существо животного мира не пожирает пищу так отвратительно, как филин. Не отнимали у филина зайца, но торопился филин; лихорадочно съедал мясо на груди зайца, отдирая большие куски, проглатывал куски, напрягаясь, как змея. Жаден филин, а насыщается быстро, быстрее любой птицы, любого зверя. Он поклевал еще мозг зайца. Жаден филин, а бережлив. Он заворачивает оставшееся мясо в шкуру — предохраняет от высыхания.

Завтра сожрет и шкуру.

Итак, в Иолке образовалось два царя.

Царь Пелий управлял Иолком.

Язон считал, что царь — он.

Пелий понимал, что не имеет смысла создавать Язону популярность. Поэтому он позабыл уничтожение своей сотни, но армию держал наготове. Пелий не запретил жителям общение с кораблем «Аргю». Поэтому с кораблем никто не общался, разве некоторые мальчишки, выращающие мечты о подвигах, да некоторые рыбаки, снабжавшие корабль провизией моря.

Эмпуса беспрепятственно курсировала по базару. Базарные толпы отскакивали от ее брюха, как одуванчики.

Выяснив, что никакие опасности не угрожают благополучию Меден, Орфей упаковал свою кифару. Он отправился в долину Кефиса, к своему другу Прокрусту, небезызвестному негодяю, умнице и разбойнику.

Умный Пелий предложил Клитию должность главного лучника, и Клитий соблазнился. Дальнейшая служба у Язона — бесполезна.

Зет и Калаид ускакали в Афины.

Горько было Скифу расставаться с Медеей. Но Скиф стал обузой. И сознавал, чем стал. Отбыл Скиф на остров Крит. Пригласил Дедал; он строил лабиринт.

— Скиф, ты можешь омолодить себя, — отговаривала Скифа Медей. Отговаривала, сознавая, что Скиф — обуза. Скиф отказался от омоложения. Достаточно ему было собственной жизни.

Скиф отплыл на Крит, но Дедал не увидел Скифа. Скиф исчез.

Говорили: Скиф захватил управление Лемносом, изгнав царицу Гипсипилу; но не таков был Скиф, чтобы вторично стать царем; Скифа видели в Египте в цепях раба; но не таков был Скиф, чтобы вторично стать рабом; Скиф спрыгнул с корабля в море и утонул; но не таков был Скиф, чтобы разыгрывать самоубийство. Он сумел бы умереть в одно мгновение, приказав себе умереть.

Скиф исчез.

Корабль «Аргю» переправили в Милет.

Небогаты владения Эсона.

Глиняная хижина, поставленная на каменный фундамент.

Шестнадцать олив, черных и белых. Так как оливы сажались на расстоянии двенадцати метров одна от другой, сажались рядами, а расстояние между рядами равнялось двадцати метрам, то нужно было владеть огромной площадью земли, чтобы посадить олив много.

Между оливами рос ячмень.

Небогато ужинали гости в доме отца Язона. Ячменная похлебка, ячменные лепешки на молоке, чуть смоченные маслом, — высушенные на солнце, козий сыр, белые оливки в уксусе, да несколько вяленых рыб, да чашка сушеных фиг.

Ферет, царь Фер и Амфаон из Мессени, дядья Язона, зажгли по светильнику, фитили дымили.

Язон шагал по хижине, как по палубе, размахивая длинной вяленой рыбой.

— Вы-то понимаете, что Грецию объединить необходимо?

Дядья кивали.

Язон развивал:

— Фессалия — самая выгодная область, откуда мы пойдём. Через Фермопилы мы проходим в Беотию, захватываем Дельфы. Дельфийский оракул предсказывает паденье остальным областям.

— Продумано замечательно, — перебил Фер. — Но Пелий...

Язон поджал тонкие губы.

Полнолуние.

Рычали собаки. Изредка лаяли.

Черепичные крыши озарены так ярко, что различима каждая черепица. Не развеивается дым над крышами. В Иолке укладываются рано.

Пьяный столяр напевает у изгороди. В его бороде — стружки. Напевает столяр о чьей-то замечательной любви. Странно: чем беднее и невзрачнее народ, тем замечательнее легенды его.

У Медеи уже двое детей. Годовалый Икар сосет уголек своего годовалого мира.

Семилетняя Майя помогает укладывать вещи. Скучно количество вещей у семьи Язона. Вздрагивающими пальцами Язон торопливо обвязывает колесницу льняными веревками. Секунда промедления угрожает казнь.

Вчера, ближе к вечеру, Медея омолодила Эсона. Из целебных трав она сварила волшебное зелье в котле из меди. Она перерезала ножом горло Эсону и вылила старую кровь, зелье — влила в рану; было заметно, как зелье наполняет кровеносные сосуды. Жители Иолка пришли наблюдать. Поначалу они содрогнулись, позднее — возликовали. И приносили они полугнилые бревна

вековых олив, и на бревнах появлялись цветы и корни. Немало омоложенных олив посадили в этот вечер жители Иолка. Они окунали в зелье больших баранов и угоняли нежнорунных блеющих ягнят.

Ближе к окончанию ночи, когда Медея заснула, когда зелье уже не действовало, когда Язон, взволнованный, с вниманием разглядывал дорогу, тогда прибыли дочери Пелия, тайно, в кольце одиннадцати рабов: они шепотом умоляли Язона позабыть обиды, и Язон позабыл, и рабы унесли котел.

Еще ближе к окончанию ночи, когда побелело небо и стало влажным, когда солнце уже подняло над горизонтом два пальца и на пальцах уже краснело два ногтя, когда пришел скромный Клитий со всеми лучниками Иолка и объявил, что по причинам, не лишенным интереса, дочери зарезали Пелия, но не омолодили, когда Язон воскликнул облегченно: «Прекрасно, я — царь!» Когда Клитий, не повышая голоса, опроверг это опрометчивое восклицание: «О да, прекрасно, царь — я, Клитий», когда пятьсот лучников подтвердили, что и вправду царь не озлобленный убийца Язон, а миролюбивый и добросердечный Клитий, когда Язон обвинил Клития во всех пороках, когда Клитий, рассеянно разглядывая третий палец восходящего солнца, прошептал, стесняясь и сожалея, что, если Язон и его семья не уедут из Иолка в драгоценную и давно приглашающую Язона и его семью Спарту, если они по какой-нибудь малозначительной или малоизвестной причине не разрешат себе удовольствия уехать до той секунды, когда солнце поднимет над горизонтом седьмой палец, он, Клитий, оберегая легендарную и единственную дружбу и оберегая население Иолка от неминуемого зрелища казни твоей, Язон, и твоей семьи, он, Клитий, вынужден будет окружить вашу хижину и поджечь ее, и скорее всего, что в таком случае сгорит все имущество и все жители хижины, когда Язон, онемев от ненависти, разбудил Медею, а Эмпуса грузно побежала разыскивать Эсона, который после омоложения, разрумяненный и черноволосый, семнадцатилетний, то разрубал бревна, то обнимал белые камни, то, смущая Язона, мучительно раздумывавшего, как же отныне называть отца, более молодого, чем он, сын, более целеустремленного, чем он, сын, когда приползла Эмпуса и слезы выливались из кобыльих очей кормилицы, когда Эмпуса сообщила, что разыскала Эсона, он — повесился, когда по белому влажному небу забегали зеркальные зайчики, а

солнце подняло свой шестой палец, украшенный алым ногтем, — тогда Язон начал упаковывать колесницу, вздрагивающими от ненависти и оскорбления пальцами окутывая колесницу льняными веревками, завязывая узлы.

Разнообразные дома соорудил тучегонитель: дома для умалишенных и дома науки, дома здоровья и дома инвалидов, дома управления и дома просвещения, публичные дома, дома развлечения и дома-тюрьмы; разнообразные дома соорудил тучегонитель, только дом любви соорудить позабыл.

Где, Медея, твой дом?

Где служители дома твоего, в снежно-белых одеждах, с высокими светильниками в обнаженных руках?

Все дома твои ограблены, все светильники твои поломаны, ты сама, босая нищенка, убегаешь неясно куда, к морю, а зачем к морю? Все светильники твои, как соломинки, поломаны.

Отец твой умер, Колхида твоя порабощена, твой брат убит.

Где, Медея, муж твой, дети твои?

Муж твой, отчаявшись, предал и предан сам, дети твои тобой будут убиты — дети твои, твой последний дом надежд.

Что их ожидало в стране, в которой позабыли построить дом любви?

Прежде в Спарте было два царя: царь-военачальник (во времена мира осуществлял дела гражданские) и царь религии, царь-жрец.

Но Креонт обнаружил в себе характерные черты двух царей одновременно и проявил их на народном собрании. Оказалось: царь-жрец излишен. Этот нерадивый вождь воззрений за двенадцать лет религиозной деятельности произнес только семь речей, далеких по своему образу от убедительных.

И тогда царь Креонт взял бразды у монастроений. Он произносил речи со скоростью двенадцати молний, сияющих над счастливой землей, и с блеском ста двадцати молний, взмывающих на тонких красных крыльях над океаном.

Он произносил речи поодиночке и одновременно: война, посадка олив, спортивные игры, справедливость, лю-

бовь, домашние животные, проблемы Олимпа, строительство храмов, погребение, противозачаточные средства — все понимал Креонт и все терпеливо разъяснял гражданам Спарты.

Он вызвал Полидевка и четыре часа обучал его правилам кулачного боя. Он пригласил Орфея и шестнадцать часов разъяснял ему размеры песен, переставляя созвучия. Орфей вышел из дворца бледный и вялый и, не задерживаясь, не оглядываясь, ушел из Спарты в долину Кефиса, к разбойнику Прокрусту. По крайней мере, Прокруст был откровенным разбойником.

Прошло восемнадцать лет. Коллегия эфоров, состоящая из пяти человек, проводила, по обычаю, эту ночь вне дома.

Эфоры сидели возле дворца и наблюдали небо.

Законы Спарты гласили: если в эту ночь падала звезда и ее, падающую, замечало не менее трех эфоров, царь-жрец подлежал неминуемой замене.

Креонт волновался. И — напрасно.

В августе звезды падают семьями.

В эту ночь царь-жрец Лаодок скоропостижно скончался. . . от болезни сердца.

Богатые похороны устроил Креонт Лаодоку. Городской рынок закрыли на восемь дней. Маляры, столяры, плотники, слесари, гончары, мукомолы — никто не трудился. Тело Лаодока уложили в гроб, любовно залили медом. Периеки, считавшиеся гражданами Спарты, но не допускавшиеся к гражданской жизни страны, в основном — земледельцы, но с изрядной прослойкой ювелиров и золотых дел мастеров, периеки обязаны были сопровождать гроб, и сопровождать серьезными вздохами.

Илотам, крестьянам Спарты, рабам, но без официальных цепей, илотам было крайне необходимо обнаруживать неизбывную скорбь и придавать глазам своим и жестам своим страдальческое выражение, возникала у илотов насущная потребность разрывать на себе бороды и уши, вообще — лица, всхлипывать, выкрикивать пронзительные слова, чтобы не опозориться перед потомками покойного, умытыми ливнями слез, вздымающими вопли так высоко, как не сумели бы вздымать голодные и обиженные вопли семь тысяч свиней, не получающих любимые помои семь тысяч дней, избиваемых семикилограммовыми гвоздями семь тысяч дней, избиваемых семикилограммовыми гвоздями семь тысяч ночей (илотам

положена форма: во все времена года — островерхие шапки из кожи собаки, накидки из козьего меха с дырами для рук; после похорон илотам полагалось определенное количество ударов палкой: не за невыполнение чего-либо — чтобы помнили, что они — илоты).

Остальные спартиаты шли за гробом четырехугольной колонной, авангард — царь и эфоры.

Плечом к плечу с Креонтом шагал молодой человек с выправкой военачальника — Язон. Он шагал плечом к плечу с царем: он пожертвовал царю драгоценное руно и пообещал жениться на горбатенькой дочери царя Главке.

Язон претендовал на звание второго царя Спарты.

— А я? — спросила Медея.

— Что — ты?

— Да, что — я?

— Ты — ничего.

— Как — ничего?

— Да так вот — ничего.

Язон уже занимался увлекательными делами Спарты, он беседовал — царственно.

Приблизительно такой же разговор состоялся у Медеи и с Креонтом, и с горбатенькой Главкой, и с дочерью Майей. Характер дочери был ясен. Она бегала за Язоном, как собачонка, разве не лаяла. Язон мимоходом обронил однажды:

— Майя, это — мама.

И Майя подбежала к горбатенькой Главке и запела обрадованно:

— Мама!

И тогда зашевелилась ненависть.

Медея еще раз остановила Язона.

— Я поняла: я — твое первое увлечение. Наконец, тебя пленила зрелая, горбатенькая любовь...

— Медея! — предостерег Язон.

— Ах, извини! Но согласись: Главка немножко, ну, чуть-чуть, калека, — Медея лицемерно заплакала.

— Медея! — растерялся Язон.

— Я согласна! Я согласна быть твоей официальной любовницей: кто поверит, что можно целовать это горбатенькое тело? Но — оставь меня в прекрасной Спарте. Я буду рассказывать по утрам двоим возлюбленной калеке легенды Колхиды. Оставь меня и оставь Икара.

— И — умница! — сказал Язон серьезно. — А Икара мы определим в агелу. Он будет равным в государстве равных.

Да, нет ни бедных, ни богатых. Все — нищие. Деньги Спарты — железные пластинки — специально вымачивали в уксусе, чтобы хрупкие и ломкие денежные знаки ненадолго задерживались у граждан. Золото и серебро — священная собственность государства. За хранение этих металлов спартиат наказывался казнью.

Все нищие.

Медея прикинула в уме: в Спарте 8000 свободных граждан. В геруссии — совете старейшин (в совет избираются граждане, перешагнувшие за 60 лет), в геруссии — 28 геронтов. Велики семьи геронтов, округленно: семья — 10 человек. 5 афоров и 2 царя — 70 человек. Итого — 350 человек — двадцатая часть населения — существуют отнюдь не в нищете. Они употребляют вина и пищу в размерах желаемых. Их дома из белого камня и возле прудов, чтобы всегда в изобилии — свежая влага и рыба.

Внимательно читайте таблички Спарты и внимайте им.

— Каждый дом каждого спартиата возведен при помощи топора, молотка и пилы.

Мало пахнут свежим деревом дома из белого камня.

Каждый спартиат питается в общей столовой. Три раза в день черная похлебка.

Мало пахнут черной похлебкой копченые кабаны и амфоры с вином и медом.

— Запрещается въезд чужеземцам. Они способны выведать военные тайны Спарты. Расшатают чужеземцы моральные устои, — Спарта!

Страна молотка, пилы и топора!

Страна черной похлебки и общих столовых!

Страна трусов!

Действительно, легендарен корабль «Арго». Были авантюристы — Язон! — но не трусы; мелкие мошенники с лошадиными челюстями — Зет и Калаид! — но не трусы; кровосмесители — Библида! Негодяи — Клитий! Алкоголики — Кастор! Сводницы — Эмпуса! И сообща — убийцы — но не трусы!

Поглядим, Язон, сколько ты поцарствуешь в этой стране со своей горбатенькой зайчихой.

Икара определяют в агелу, — воспитание в духе спартанских войн. Познание музыки, — военное хоровое пение прививает мелодику.

Тебя, Икар, обучат законам Спарты.

А законы эти — неисчислимы. Ты будешь участвовать в апеллах и обсуждать законы.

Икара определяют в агелу.

Все четыре времени года он будет ходить необутый, в легком хитоне. Он будет засыпать на постели из тростника; тростник нарежет сам. Он будет самостоятельно добывать пищу, обворовывая земли илотов, а попадетсЯ — накажут бичом, не за ограбление — чтобы проявлял более хитроумия.

Тебя, Икар, обучат копьё и мечу.

Потом переведут в следующую возрастную группу.

Устроят состязания: возмужал? готов к войне? Группу разделят на два отряда. Один — загонят на остров, окруженный рвом с помойной водой, — защитники; другой отряд — нападающие на остров по узким деревянным мосткам.

Применять оружие — запрещено. Бей локтями противника, сбрасывай с мостков и держи за волосы, пока не захлебнется в помойной воде, разгрызи врагу живот и подари кишки агеларху — религиозные реликвии, ожерелья славы, оторви современнику ухо и дуй в дыру, как в мундштук музыкального инструмента, вынимай у сверстников глазные яблоки, набери полный подол этих фруктов, подари агеларху — великолепный десерт после тощей похлебки.

Будь готов к празднику Артемиды.

Тебя будут сечь зелеными лозами ивы, ты не выразишь ни стога, ни полстога; ты будешь улыбаться, иначе — общественное презрение тебе и родителям твоим.

А выпускные экзамены!

Ты покинешь пределы города, будешь добывать пищу изощренным грабежом, отсыпаясь ночью и появляясь днем, как голодный ангел. Ты убьешь илота, хотя бы одного захудалого илота, иначе твое возвращение к родителям будет осыпано пеплом позора и горя.

Потом тебе выдадут кожаную каску, и кожаные поножи, и маленький меч и до шестидесяти лет будут обучать обязательному несению армейской службы.

Где Колхида твоя, Икар?

Ах, Икар, в Колхиде — варвары. Они разрывают печеных баранов пальцами. Они хлебают бочками напитки семидесяти семи дьяволов под воловьи тимпаны певцов. Кровавая месть. Воруят жен. Сквернословят.

А тебя обучат правильным грамматическим выражениям. В апеллах ты будешь правильно грамматически выражать свое мнение криком «да!» на таком согласном народном собрании.

Медея рассмеялась.

— Дарю твоей возлюбленной самый красивый пеплос Эллады. Правда, он отравлен, и, надев его, твоя невеста мгновенно умрет.

Язон погрозил пальцем:

— Даришь, а жалеешь, что даришь.

Когда Майя убежала с подарком, Эмпуса беззвучно навалилась на Язона и беззвучно запеленала его. Вошел Икар. Он междометиями попытался выразить свое изумление, но не успел. Медея вонзила ему в горло кинжал.

Одеревенелую, в обмороке, вынесла Эмпуса Медею из дворца.

А над Спартой уже раздавались вопли; страшный пеплос умертвил Креонта, Главку и маленькую Майю.

Мерцало море.

Маячили гигантские стеклянные тучи.

Очертания их были красны.

Медленно звенели цикады.

Напряжение прошло.

Медея легла на песок, на спину.

Она заплакала.

Она плакала очень тихо и очень долго.

Эмпуса вынула занозы, перевязала ноги, надела Медею сандалии.

Очертания стеклянных туч почернели.

Эмпуса вздохнула, подняв кобыльи очи к тучам.

— Где-то мои Диоскуры? Хватает ли Кастору девочек? Вина? Пищи? Не шалит Полидевк?

— Вечно ты об одном и том же, — сказала притихшая Медея.

— Да, вечно, — сказала кормилица. — Ибо ничто не вечно — ни государства, ни расы, ни законы, один человек — вечен; его слезы, его пища, его мудрость.

VI. ГЛАВА ЭПИЛОГА

Государство можно превратить в сад, можно — и в конюшню.

А какой это сад? Кобыльи дрязги эфоров, дискуссии кобыл на тему: кто из жеребцов жарче? И — вереница ломовых лошадей, грузовых тружеников. А скакуны? Грациозны, как вишневые прутьики, но кто из них не опадает

на ипподромах, влача колесницы, оскаливаясь в сражениях?

Таково было положение в Спарте.

Твое пребывание, Медея, в государстве Спарта было безрассудно, как безрассудно золотое кольцо в носу у свиньи.

Еще недавно земля зазеленела во второй раз. Не очень-то и недавно — в сентябре. Тогда на равнинах раздавалось мычанье скота. Гудели быки; пылая ненавистью, ударяли друг друга рогами; рога стучали, как сучья.

Декабрь.

Кашлял Борей. Снежинки организованно объединялись в огромные сугробы. Крестьяне оказались отрезанными даже от соседей — так богат был декабрь снегами. В прудах затвердела вода, мальчишки проскальзывали по прудам, прогибая пленку льда. Они останавливались посередине прудов, подолгу разглядывали растительность и камни дна: лед был узок и прозрачен.

Земля замерзала.

Она была бледна. Только возле ключей чернела. Снег свисал с деревьев многоугольными тряпицами. Запоют петухи, но не улавливает слух топанья стад, не выглядывают лица из хижин; разведен в хижинах бедный огонь; прядут лен, сушат козью шерсть, мастерят примитивные силки для ловли птиц. Одна забота: мякины на корм быкам положить в ясли, в стойла козам и овцам — сучьев с листвою, свиньям — желудей разных сортов.

Язон потерял все: отца, соратников, предоставивших ему свое товарищество, но эллин расценил товарищество как событие, умаляющее его героизм. Ныне — поздно. Погибли друзья, к живущим — нет возвращения. Поздно Язон задумал проявить нежность к Медее, к Медее, задымленной в домашнем хозяйстве, как медный котел. Язон понял, что потерял Медею, понял — что потерял. Но — поздно понял, к Медее — нет возвращения.

Где Язония твоя, герой? Титул царя Эллады? Как бешеное животное изгнали тебя эпигоны Креонта: твоё существование компрометировало честь Спарты.

Честь Спарты. Понял ты, Язон, щепетильность ее, мощно помахивающей бичом, увитым благовонными гирляндами фиалок. Понял, но поздно.

Жители Эллады! Если вы увидите одинокого морехода, направляющего свой парус в Малую Азию, и, опознав Язона, проговорите, богобоязненно сплевывая через плечо: это Язон! — вы поступите несправедливо.

Это несправедливо, что прошлые поступки и помыслы — ключ к дальнейшему пониманию человека.

Северный Ледовитый океан можно испарить, на территории его выращивая цитрусовые и злаки, соорудив жилища для населения. Но неизвестно, что в таком случае произойдет с Африкой. Не превратятся ли джунгли в сугробы, а Сахара — в дремучее море? Потому и существует Земля, что обладает математически правильными соотношениями воды, суши, атмосферы, течений. Эти соотношения — как сообщающиеся сосуды. Вливая влагу в один сосуд, мы вливаем и во второй.

Можно испарить одно качество человека, но неизвестно, в какой мере подействует это на остальные. Человек мало изменяем. Разве в самом отдаленном прошлом испытывали горе или хохотали не таким же образом, как позднее? Правда, бывали государства, запрещающие печаль, прививающие гражданам безграничную бодрость. Такова была Спарта.

Вот почему у Язона из одного сосуда испарились прошлые проступки и помыслы и еще неясно было, насколько влага второго сосуда заполнит первый.

Направляя парус в Малую Азию, Язон хотел взглянуть на корпус корабля «Арго», разлагающийся где-то возле Милета, погрязший в прибрежном студенистом иле.

Царь Соломон обладал перстнем, на котором было выгравировано: «И это пройдет».

Трогательное изречение. Все проходит, но и все остается. Рана заживает, но рубец — остается. Слезы исчерпываются, но рубцы от слез остаются, невидимые, они — из разряда внутренних рубцов. Изможденный организм откормить — возможно, только помнит организм об измождении и напомним.

Медея омолодила Эсона.

Но память семидесяти прожитых лет Эсон — сохранил, это она, память, принудила Эсона повеситься.

Вот почему отказался от омоложения Скиф. Человеку положена одна жизнь, вторая — не под силу. Когда человек ощущает, что утратил самое ценное в жизни, а прозябать — не под силу, он обязан расстаться с жизнью.

Блуждая вдоль побережья, недалеко от Милета, Язон созерцал побережье. Человек действия, он внезапно утратил интерес к действию. Он созерцал раковины, обломанные раковины моря. Перламутр переливался. Многие раковины содержали пурпур. Если бы Язону сообщили: в одной из раковин жемчужина — это не взбудоражило бы в нем инстинкта искателя, как раньше. Угрюмый, небритый, размышляющий ни о чем, Язон созерцал побережье. Чайки блаженно покрикивали, утоляя утробу рыбой.

Вдруг взгляд Язона задержался на какой-то надписи на песке. Неуверенными, задыхающимися буквами кто-то начертал на песке: «Мой милый». Средней величины буквы.

Язон содрогнулся.

— Мой милый!

Чья рука начертала эти два слова, трогательных и банальных, как напевы цыган?

— Мой милый!

Кому посвящены эти слова, задыхающиеся наивные вопли? Чья рука чьей женщины опубликовала тайну несчастья? Это не рука неимущей женщины, принадлежащей к «едокам рыбы», так как рыба — важнейший продукт питания бедноты: бедные женщины не обучены грамоте. Это — знатная рука, сословия «едоков мяса».

Что же ты, Язон, «едок мяса», блуждаешь вдоль побережья? Чья рука поднимется начертать «мой милый» для тебя?

Может, в жизни все проще, и даже для «едоков мяса» имеет первичное значение простейшее сочетание слов:

— Мой милый!

Так обнажается истинная сущность двух: один — любит, второй делает вид, и тот один удаляется на побережье, вычерчивая на песке:

— Мой милый!

Задыхающиеся буквы, их необходимо уничтожить. «Едоки мяса» обязаны поглощать свое безмятежное мясо; эти слова предоставьте нам, «едокам рыбы». Это наша обязанность: блуждать по побережьям, вычерчивая единственное — «мой милый!». Наш внутренний мир не развит, это мы, люди чердаков и подвалов, лелеем свою незыблемую собственность, состоящую из двух слов:

— Мой милый!

Это — наше тайное имущество, ибо нам некогда заучивать ваши проникновенные оды и гимны, нам некогда хихикать на ваших феерических представлениях — если мы

не наловим рыбы, рука нашего рода ослабнет, не сумеет удержать прут, чтобы начертить два слова:

— Мой милый!

Так рассуждал Язон, вот уже два месяца как перешедший из разряда «едоков мяса» в разряд «едоков рыбы».

И все же: чья рука совершила кощунство, начертав слова чужого сословия? И, если уж отважилась рука на кощунство, почему так легкомысленно воспроизвела надпись на песке? Ничего не удерживает песок, все начертанное на нем предается забвению. Или рука лихо-радочно выводила слова, чтобы предать забвению «Мой милый!»?

Может, последние поступки Медеи — прощанье, сожаление об отсутствующем на самом деле Язоне, о существующем на самом деле противоположном Язоне; может, и назвала эти поступки Медея задыхающимся: «Мой милый!»

— Меня зовут Язон. Я сын царя Иолка Эсона.

Так представился герой, однако внешний вид его не подтверждал сказанного. В одежде, забрызганной грязью, поцарапанный, он производил впечатление бродячего акробата, если бы не царственная осанка, сохранившаяся, невзирая на несчастья.

— Войди в дом, — сказал рыбак Аргун.

— Ты не веришь? Я тот Язон, который добыл золотое руно.

— Да, — сказал Аргун. — Ты мне известен. Мы, колхи, тебя проклинаяем: ты нарушил клятву, данную Медее. Будь ты опознан мной на побережье — был бы умерщвлен. Ты попросил приюта. Войди в дом.

Они вошли.

— Я усну; так убить удобнее — ночью. — Язон скривил тонкие губы.

Аргун пояснил без гнева, как ребенку:

— Ты попросил приюта. Пользуйся им. Вот ложе. Ты ведь болен, Язон, — только больной склонен к подобным размышлениям.

Они удили рыбу.

Они умещались в узенькой лодочке, выдолбленной из цельного ствола пихты. Язон впервые сидел в бедняцкой

лодке, сидел напряженно, опасаясь опрокинуться. Не был обучен Язон и насаживать наживку; червяков и личинок пасаживал на его крючок Аргун. У Аргуна — круглые, вытаращенные глаза, белки глаз в прожилках, борода произрастала странно как-то, немного ниже провалившихся щек.

Почему-то рыбу не удовлетворял крючок Аргуна. Хоть бы одну сардину вынул Аргун, профессиональный рыбак, хоть бы величиною с мизинец.

Язон вынимал рыбу ежеминутно.

Громадных, жирных тунцов подхватывал сачком Аргун, снимая с крючка Язона, швырял на дно лодки. Язон ловил рыбу впервые.

Язон опасался, что Аргун обижен, но рыбак не обнаруживал признаков обиды. Он одобрительно кивал, помогая герою вынимать очередную рыбу.

— Ты никогда не размышлял, зачем ты живешь? — задал вопрос Язон, внезапный даже для себя.

— Зачем? — Аргун снисходительно кивнул. — Это у вас, героев, есть возможность рассуждать, зачем жить, а мы обсуждаем — как жить, как выкормить сына.

— Что-то не видно у тебя сына, — подозрительно сказал Язон.

— Мы не желаем омрачать дух гостя. Сегодня вечером жена родит сына.

— Родит сына? Почему же — омрачать?

— Ей сорок лет, а в сорок — трудно.

— Так пойдем к ней.

— Нельзя. Обычай не позволяет. Мы недавно поженились, а женатый колх не имеет права показываться на глаза старшим. Там — родители. Да и чем я могу помочь? Я не знаю этого дела. Ничего не изменится — буду я там, не буду.

— Как имя твоей жены?

Аргун припоминал некоторое время.

Язон, изумленный, наблюдал за ним.

В Греции высоко ценили имя. Этот малоазнат не помнит имени собственной жены. Язон присвистнул про себя. Он, Язон, тридцать четыре года посвятил единственной цели — прославлению своего имени. Этот печальный рыбак даже имя жены — забыл.

— Вспомнил? — Язон даже заговорил шепотом.

— Да. Ее зовут Натела. Но мы не придаем значения именам. Она — жена, и ясно. Мы и не зовем друг друга по именам.

Ни единой рыбы не вынул Аргун,
Язону улов был безразличен.

— Ты говоришь: мы мало действуем? Да, это так. — Аргун поджаривал рыбу на угольях очага. — Но мы не позволяем себя обижать. Человек, обидевший наш род, будет обижен трижды.

Аргун приволок остродонный кувшин вина.

— Я не пью вино, — сказал Язон.

— Вот как! — Аргун вытаращил базедовые глаза. — Мне сорок лет, и тридцать четыре из них я пью вино. Тебе тридцать четыре — и не пьешь?

— Вино туманит мозг. Человек забывает собственное имя, опьяняясь.

— Нет, герой. Это собственное имя туманит мозг, и человек радостно забывает его, принимая к вину.

Проползла кошка в дальний угол помещения, крича.

— Кошка тоже рожает, — улыбнулся Аргун. — Прямо — день рождений.

Аргун произнес тост. Если между словами этого тоста вбить гвозди — получилась бы добротная дорога, по длине равняющаяся дороге от Афин до Спарты.

— Ну, будь здоров! — Язон отхлебнул неизведанный напиток.

— Взаимно!

Два человека насыщались рыбой.

— Живи и здравствуй, Аргун!

— Взаимно.

Аргун говорил. О чем говорят колхи? О товариществе и пользе обычаев, что на свадьбу необходимо подарить быка и десять одеял, что собственный дом — необходим, а отнимут — колх поднимает оружие, и весь его род поднимает оружие, и никакие штрафы не способны остановить оружие. А у эллинов штрафы останавливают оружие.

— Будь здоров, Аргун!

— Взаимно!

Все, о чем говорят колхи, говорил Аргун; столько слов наговорил колх, что если эти слова выпрямить, проконопатить и просмолить — получился бы добротный десяти-весельный корабль.

И тогда Язон сказал:

— Был в Элладе поэт. Орфей. Он был сдержан и невозмутим. У него было треугольное лицо большой птицы.

Я не понимал Орфея. Когда я подготовил свой парус к отбытию из Эллады, нагрянула орда ближайших родственников Креонта. Они преследовали меня. Они меня растерзали бы на части, а те части — еще на части; так терзали, не оставили бы ни жилки. Но пришел Орфей. Он тронул струны своей кифары. Его песня была величавая и печальна. Так величавы и печальны хищные птицы, восседающие на остриях скал. И я впервые дрогнул. Я понял Орфея. Он пришел защитить меня — меня, друга ли, врага ли — безразлично; меня, последнего из живущих, который участвовал в легенде его юности. Эта легенда уже была передана миру — вся, она — закончилась, и Орфей защищал меня, защищал свою легенду от самого себя, от мира, от забвения. Это была последняя песня Орфея. Орфей знал, что значит защищать легенду. И я дрогнул впервые в жизни; я торопливо расправлял парус, впервые гонимый страхом за свою судьбу. Орфей ударял по струнам.

Зачарованные птицы, ночные и дневные, и звери оставляли полет и бег.

Зачарованные деревья прекращали шелест: платан и дуб, сосна и ель, кипарис и тополь. Насторожили деревья листья-уши; так внимательно прислушивались деревья к песне, что ни один лист не отстранился от ветки.

И зазвенели тимпаны, и раздалась возгласы. Это родственники Креонта увидели меня и побежали на меня, пьяно раскачиваясь, нацеливая тирсы. Они бежали на меня, но увидели Орфея. Поэт отвлек их внимание. Вакханалия приблизилась к нему. Взвизгнули опьяненные женщины:

— Это Орфей — женоненавистник!

Умерла Эвридика, и Орфей отринул женщин. Он приступил к созданию последней легенды своей юности. Невозмутимый фракиец, Орфей был самым ранимым, самым незащищенным и смущенным в мире. Только благодаря непоколебимой воле он удерживал невозмутимость на своем лице большой птицы.

Моя воля была сломлена. Я удалился, оробев.

Тогда женщина с мясистым носом кинула тирс в Орфея. Но замедлил тирс полет, прикорнул к сандалиям Орфея, будто выпрашивал оправдание.

Тогда другая женщина, с грудями, колеблющимися, как двое повешенных в зимнюю непогоду, кинула камень в Орфея. Но замедлил камень полет, приземлился возле сандалий Орфея, извиняясь.

Заревели вакханки, подпевая Орфею. Этот рев, дребезжанье тимпанов, истерический визг оскорбляющих слух флейт заглушили голос певца. Навалилась вакханалия на Орфея; смердило чесноком, сырой рыбой и винным перегаром.

Так умер Орфей.

Его тело разрывали на части, передвигаясь в сторону расположения вод Гебра; мясистая вакханка придерживала голову поэта за полуседые окровавленные волосы, размахивала его головой, как кувшином, диктуя остальным последнюю песню Орфея.

— Цып-цып-цып, — Аргун призывал кошку, только что избавившуюся от бремени.

— Ты неправильно говоришь. Надо: кис-кис-кис.

Но кошка подошла к Аргуну.

Но вбежал мужчина с неряшливой бородой и сообщил: рожден сын.

Аргун сразу же отправился куда-то: познавать свое состояние в данный момент.

Кошка подошла к Язону, крича.

— Ты совсем еще маленькая мама, — сказал Язон, поглаживая кошку.

Подозрительное поведение; такое поведение у собаки, когда у собаки несчастье: кошка лизала пальцы ног Язона, отбегала на шаг, оглядывалась — не последует Язон за ней? Оглядывалась жалобно.

Забавное животное.

Кошка удалилась в темный угол помещения; возвратилась. Она держала в зубах котенка. Уложила котенка на пальцы ног Язона, крича. Язон осторожно придвинул котенка пальцами — ближе к очагу. На хилой шее тяжелая голова, слепая; тело розовое, кожа голая, просвечивают зеленоватые ребра; лапки голые, как у лягушонка, движения лапок — лягушачьи. По телу котенка ползают крупные муравьи, тело содрогается от укусов.

— Вон оно что, — Язон вынул головню из очага, направляясь в темный угол помещения.

Армия муравьев атаковала беззащитные, содрогающиеся тела котят. Язон снял муравьев. Кошка благодарно взглянула на Язона и пошла к выходу, прогуляться.

— Подожди, — сказал Язон. — Кто же будет выкармливать котят?

Он понял: кошка не уразумела материнских обязанностей; кошка недоумевала, почему человек задержал ее. Язон опрокинул кошку на бок, отстранил шерсть от сосков; двумя пальцами ухватив котенка, приблизил его рот к соску.

— Покорми, покорми ребенка, — уговаривал Язон кошку, порывающуюся прогуляться.

Котята звучно чмокали, разгребая лягушачьими лапками шерсть на животе матери.

Язон утомился. Он выровнял козью шкуру, морщинившуюся на ложе. Он хотел спать. Но кошка взяла котенка зубами и прыгнула на ложе. Тем же способом она переправила на шкуру и остальных. Она возлегла на котят, озабоченно поглядывая на Язона.

— Ну ладно, пользуйтесь, — Язоном опять овладело безразличие, внедрившееся в него в течение последних месяцев. Кошачье семейство оккупировало его ложе. Ну ладно, Язон взял одежду из меха медведя и вышел из хижины.

Солнце заходило.

Солнце было зеленым.

Оно погружалось в море, зеленая окружность, разрезанная надвое диаметром — горизонтом. Семь лучей насчитал Язон у солнца, семь зеленых лучей, направленных в небо.

Таким образом солнце погружалось миллионы лет. По-разному наблюдали солнце миллионы людей. Язон наблюдал безразлично.

Кипарисы немо возвышались над побережьем, как нырятьщицы в пышных купальниках, поднимая над головой руки со сдвинутыми ладонями, подготовленными к прыжку. Урожай лавра был собран. Ряды кустарников лавра просвечивали под лучами зеленого солнца, как чертеж, выполненный зелеными линиями.

Один луч погас.

Упал второй луч, будто подрубленный клинком Посейдона.

Герой направлялся к морю, вынимая из песка исцарапанные ноги. Песчинки мерцали зеленым. Это мерцала слюда, входящая в состав песчинок.

Третий луч падал медленно, как длинная доска, плашмя. Прильнул к дюнам.

Погас третий луч.

Издали раздался голос Аргуна.

— Язон! — протяжно кричал Аргун. Голос был невнятен. И малореален, как наблюдаемый издали массив леса.

Кричали ночные птицы.

Они кричали тревожно, бодрствующие стражи ночи. Вот о чем они кричали: ночь опасна, безумен человек, не остерегающийся ночи; самое важное — не блуждать по ночам, не вникать в пасмурные замыслы ночи, внушить себе на ночь безобидные сновидения; ибо утро — возникнет; как бы ни была ночь опасна и печальна, утро — возникнет, оно поднимет красные стволы лучей. Мир природы вздохнет облегченно и мощно.

Вот о чем кричали хищные птицы, мудрые оруженосцы ночи.

Шестой луч погас. Он укорачивался, как влага в узком прозрачном сосуде.

А вдоль побережья блуждал краб. Его вышвырнуло на песок прибоем. Он позабыл, где жилище, он отчаянно стучал клешнями, вздымая клешни к солнцу, как бы призывая солнце в свидетели своего отчаяния. Он приучился обитать в море, совершая подвиги во имя своей крабьей утробы. Один из выдающихся крабов моря, он предпринимал попытки перехитрить прибой, подползая к черте прибоя, прыгал в море, но прибой поднимал краба и возвращал на песок, за черту. Что представлял килограмм краба по сравнению с миллионами тонн прибоя?

Седьмой луч, последний, мигал, угасая.

Тогда Язон побежал. Он увидел возле прибоя корабль, погруженный в студенистый ил, разлагающийся корабль «Арго». Язон задался целью: добежать до корабля, пока не погаснет седьмой луч, последний. Не добежал Язон. Когда эллин был в трех скачках от корабля, луч мигнул, как умирающая планета, и погас.

Южная ночь наступает мгновенно.

Язону вновь стало все безразлично.

Тщательно запеленавшись в медвежий мех, Язон уснул под кормой корабля «Арго» — легендарного коня юности героев Эллады.

Ночью корма рухнула.

Так умер Язон.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Я. Гордин. Литературные варианты исторических событий — что это такое?</i>	3
ДЕРЖАВИН ДО ДЕРЖАВИНА	8
СПАСИТЕЛЬНИЦА ОТЕЧЕСТВА	57
ДВЕ МАСКИ	144
ГДЕ, МЕДЕЯ, ТВОЙ ДОМ?	230

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОСНОРА

ВЛАСТИТЕЛИ И СУДЬБЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1986, 296 стр

План выпуска 1986 г. № 145

Редактор *Ф. Г. Кацас*

Худож. редактор *А. С. Орлов*

Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*

Корректоры *Е. Я. Лапкин* и *Ф. С. Флейтман*

ИБ № 3127

Слано в набор 24.04.86. Подписано к печати 9.09.86. М 42546. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,54. Уч.-изд. л. 16,53. Тираж 30 000 экз. Заказ № 249. Цена 1 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3



